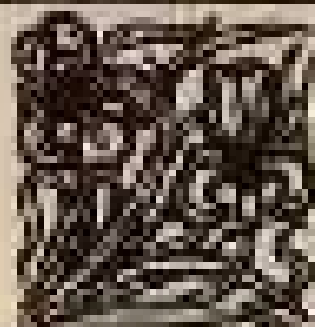


АНТАНАС ВЕНЦЛОВА

ВЕСЕННЯЯ РЕКА



В ПОНСКАХ
МОЛОДОСТИ

Антанас Венцлова

ВЕСЕННЯЯ РЕКА

Как мало шума производят подлинные чудеса! Как в общем просты основные события жизни! О моментах, которые я хочу передать, можно рассказать так мало, что мне нужно снова пережить их в грезах... Антуан де Сент-Экзюпери

Книга детства

ОГОНЕК ОЧАГА

Человек приходит из сна. Он просыпается не сразу и еще не понимает, что сон кончается и начинается явь. На ресницах еще виснет сладкая дрема, но вокруг уже слышатся звуки, новые и поразительные. Качаются деревья. Летят облака. Улыбаются или злобно морщатся люди. Вокруг — непонятный мир.

Изба кажется невыносимо большой — ни конца ей, ни края. По углам таятся тени, они съеживаются и снова расползаются, как подошедшее хлебное тесто. На дворе темным-темно. Становится зябко, неприятно, и хочется зареветь.

Но беззвучно горит огонек очага. Это он загоняет в углы темные тени. Это он освещает лица людей, и они веселеют. Огонек — я понимаю это гораздо позже — разложен на куче камней, которая и называется очагом, над пламенем висит чугунок, поначалу он безмолвствует, потом принимается булькать, попискивает, как-то чудно скульпит. Изредка к нему подходит кто-нибудь из женщин, мешает поварешкой или, зачерпнув варева, дует, осторожно пробует. Чугунок пытит, шипит и жалуется. А я сижу на коленях у сестры и гляжу, как весело трещит огонек. Искры щелкают и скачут, разлетаются по избе и гаснут на твердо утоптанном полу. Сестра не то поет, не то приговаривает:

Те-ре-ре-ре-рерь!

Не пролезу в дверь...

Брошусь в дымволок —

Ушибу пупок,

Выкинусь в окно —

Разобью яйцо...[1]

Смысла слов я еще как следует не улавливаю. Знаю, что такое окно, что такое дымволок, но где лежит это яйцо, которое можно разбить, мне не ясно. Широко открыв глаза, я гляжу в чернеющую в потолке дыру.

Со двора входят люди. Они огромные, в сермягах, в заячьих треухах. Они топчутся у порога, от клумп откалываются плотные ломти снега. Потом снимают сермяги, и первым ко мне подходит отец. Я его уже знаю. И хорошо и страшно, когда он приближает ко мне лохматую голову и лицо со щекочущими заиндедевевшими усами. Он берет меня на руки. Я иду охотно — мне уже надоели объятия сестры и ее песенка про дымволок, которую я слышу десятки раз каждый божий день. Отец поднимает меня, даже не поднимает, а подкидывает и ловит руками. До того хорошо — как будто снова возвращаешься в теплый сон, где летаешь, падаешь и никак не можешь упасть на землю. А отец звонким, приятным голосом выкрикивает:

Вот большой мужчина,

Мужчина-молодчина...

Потом он опять отдает меня сестре, а сам — крупный и большой — шагает к столу. Там, взяв в охапку большой круглый каравай, разрезает хлеб. Мама между тем разливает по глиняным мискам похлебку. Похлебка дразняще пахнет, дымится, вся изба наполняется ее запахом.

Отец спускает подвешенную под потолком на проволоке лампу, снимает стекло и вытирает его пальцем. Выкрутив фитиль, берет из очага горящую щепку, подносит к лампе и зажигает. Пламя взлетает вверх. Отец подкручивает фитиль, надевает стекло. Лампа озаряет избу желтым унылым светом, в котором все-таки видны головы людей. Я уже малость их различаю. Люди сидят за широким деревянным столом. Они крестятся, берут ложки и хлебают из двух мисок — старшие сидят на одном конце стола, младшие на другом. Рядом с отцом сидит тетя Анастасия, мама, дальше — сестра Забеле (Кастанция держит меня на коленях), братья Пиус и Юозас. Отец о чем-то рассказывает, все слушают, изредка вставляя вопросы. Тетя Анастасия ругает моих братьев, навалившихся на миску. Мальчишки брызгаются, колотят друг друга ложками по лбу. Наконец отец принимается молча шарить у пояса — вот он снимет ремень! Это движение, видно, хорошо понятно всем, и за столом снова тихо.

Вечер, люди топчутся по полу, галдят, отец пристраивается вить веревки. Кудель мало-помалу тает, вьюха ходит быстро, и на нее накручивается тонкая веревочка. У отца в зубах висячая с длинным чубуком трубка, из нее с пыхтеньем валит дым. Иногда дым добирается даже до меня, ест глаза и горло, и я кашляю. Мама говорит:

— Бросил бы ты свою смоктелку — видишь, дышать нечем...

— Ничего, легкие крепче будут... — говорит отец и снова пыхтит, а когда трубка гаснет, идет к очагу, роется в догорающих головешках и прикуривает от уголька или кладет в головку кусочек пылающего торфа.

После ужина я перехожу с рук сестры на мамины. Мама пахнет молоком, как тетя — яблоками, а отец — еловой хвоей. На руках у нее мне тепло, уютно, я не боюсь темноты, притаившейся по углам.

Мама напевает песенку. В ней мало слов. Песенка тоже какая-то уютная. Мне чудятся зайчата, бегущие по полю, барашки, кудрявые и мягкие, добрые утята и рябые курочки. Я снова возвращаюсь в сон, из которого недавно явился, и не знаю, где лучше — во сне или наяву. Глаза смежаются, и я погружаюсь в теплое, тенистое царство сна.

ПОЖАР

Много позднее я понял, что случилось на самом деле. Об этом событии долго рассказывали все — отец, мама, Кастанция, тетя Анастасия... Для всех это было бедой. А для меня — что-то неожиданное и даже радостное...

Кастанция держала меня на руках. Я глядел, как в старом нашем садике вылетают из летка в колоде пчелы и с жужжанием взмывают в воздух.

— Пчела кусается! — кричу я, размахивая рукой. — Пчела плохая!

— Нет, пчелки хорошие, — говорит мне Кастанция, — они принесут сладкого-пресладкого меду...

За изгородью вдруг что-то засветилось. Кастанция закричала, из избы выскочила тетя Анастасия. Мы уже были в переднем дворике, и я все вертел головой, стараясь разглядеть, что творится там, где стоит дом Кастантаса Бабяцкаса. День погожий, — наверное, весна, может, осень, небо — синее, спокойное. И все чаще слышать, как во дворе Бабяцкасов кто-то кричит, громко и все одно и то же:

— Спасите, горим! Спасите, горим!

Вдруг сквозь листву деревьев я увидел, что из окон избы Бабяцкасов валит дым; вылетают длинные красные с белым языки и лижут соломенную крышу. Снизу, из-за дороги, где стоят деревенские хлева и сенные сараи, уже бегут люди, торопливо взбираются на наш пригорок и незнакомый, длинноволосый без шапки человек кричит:

— Багор где? Куда багор дели?

Что такое багор? Но вот появляется отец, он тащит длинную палку с каким-то железным крюком на конце.

— Вот багор! — кричит он. — Только тут багром не справишься!

На пригорок, где стоят наша и Бабяцкаса избы, прибежали женщины с деревянными ведрами. Ведра болтались на коромыслах, а коромысла качались на плечах у женщин. Из ведер на сухую тропу плескалась вода. Какой-то человек повалил изгородь нашего садика со стороны Бабяцкасов. Теперь женщины тащили воду напрямик через садик. Когда опрокинули в огонь ведро, вверх ухнули клубы пара и дыма. А пламя струилось по крыше, выложенной большими зелеными лепешками мха, и вскоре вся изба побагровела, затопленная пламенем.

— Глядите, чтоб не перебросилось! — кричал отец.

— Может, бог даст... Ветра-то нету... — успокаивала мама, снимая с изгороди давно высушенное белье.

А мне было страшно весело. До того все это было неожиданным и красивым, что я только боялся, как бы Кастанция не унесла меня отсюда. Светло, даже в глазах рябит, а теплынь,

как у очага. И впрямь Кастанция повернулась и понесла было меня вниз по тропинке вдоль избы, но я закричал и заплакал:

— Не хочу, не хочу...

— Ну и храбрец ты у нас, — сказала Кастанция и, отойдя подальше от пожара, снова остановилась. Над ее плечом я увидел, как рухнула крыша и вверх взлетел рой искр. Это еще красивее, чем когда дом просто горит.

А люди все носились вокруг. Бабяцкене плакала, держа в охапке перину, давно вытащенную из огня, а Андзюлявичене тараторила с кем-то:

— Поглядели мы в окно — а дымищу-то!.. Думаю — хлеб Бабяцкасы пекут. А мой-то и говорит: «С вечера ж не ставили, что они там пекут?»

— Что уж тут поделаешь! — говорил отец. — Надо только глядеть, чтоб другие избы не загорелись...

Когда крыша обвалилась, огонь вроде спал. Мама, кажется, только теперь увидела, что неподалеку стоит Кастанция со мной на руках.

— Чего тут глаза вылупили? — вроде рассердившись, прикрикнула она на Кастанция. — В избу идите!

— Да он не хочет... — попыталась отвертеться Кастанция.

— Не хочу, не хочу! — крикнул и я.

Но кто меня послушает? Несмотря на крики, меня затащили в избу и усадили на кровать. Ужас как нехорошо в полутемной избе после светлого двора. Почему-то меня одолела дрема. Увидев, что я тру кулаками глаза и зеваю, Кастанция сунула мне под голову подушку, накрыла ноги какой-то тряпицей, и я тут же заснул.

В КОРЫТЕ

— Нет, — сказала мама, — сегодня уж непременно выкупаем этого ребенка, а то все некогда да некогда... Ребенок-то вторую неделю в корыте не бывал...

Я забрался за жернов и сижу там, затаив дыхание. Потом высунул голову, огляделся. Мама поставила к очагу скамеечку, принесла из сеней корыто. Плеснула кипятку — моет, оттирает тряпкой. Да, видно, меня опять засадят в это корыто.

А я туда не хочу. Правда, посидеть в теплой воде да всласть пошлепать по воде руками — неплохо, но не приведи господи, если мама начнет намыливать голову и лицо!..

— Куда этот ребенок делся? — спросила мама у тети, которая подкладывала под котел новые поленья.

Не знаю, то ли тетя на самом деле меня не разглядела за жерновом, то ли притворилась, что не видит, но ответила:

— А пес его знает... Может, в поместье убежал или даже на Часовенную горку...

— Никуда он не убежал, — сказала Забеле, чистившая картошку. — Залез за меленку и

сидит. Думает, никто не найдет...

Я зажмуриваюсь, думая, что теперь-то меня уж точно никто не увидит. Но вот мамыны руки берут меня под мышки и легонько приподнимают. Ничего не поделаешь, все снова пойдет, как в прошлый раз! От судьбы не уйдешь!

Разумеется, так хитроумно рассуждать я тогда не мог. Но чувствовал, что надвигается что-то неизбежное. Мама, видно, поняла мои опасения.

— И чего ты боишься, как дурачок? Будто тебе что сделают? Выкупаю, и самому приятней будет.

— Не хочу! — закричал я и — в слезы.

— Хватит, хватит, будет тут реветь как теленок! — стыдила меня тетя. — Такой большой парень — ну просто срам!

В это время мама налила в корыто воды, горячей и холодной, сунула палец, попробовала и добавила еще кружку.

— Вода будто квасок. Плескайся на здоровье...

Она сняла с меня через голову безрукавку и рубашку, снова взяла под мышки и, приподняв, посадила в корыто. Нет, пока ничего страшного не было, и я перестал реветь.

— Говорила ведь я? — сказала мама. — Вот выкупаемся, как большие, чего ж тут хныкать!

В корыте на самом деле хорошо. Я шлепаю по воде руками, а мама пригоршнями черпает воду и льет мне на спину, на грудь, на голову. Теплые струйки текут по телу, и мне до того хорошо, что, кажется, сидел бы тут хоть два дня.

Забыв, что бывает потом, я даже засмеялся — до того хорошо в корыте! Ясно, мама ведь хочет мне добра, она своего сына не обидит. Но не тут-то было! Гляжу — мама берет со скамеечки рядом с корытом кусок мыла. Намыливает мне голову, плечи, грудь. Потом, положив мыло на место, принимается руками намылывать голову... Пока еще полбеды. Терпеть можно. Но вот она мылит лицо, уши, шею. Хуже всего, конечно, лицо. Не только перестаешь видеть, что делается вокруг, но мыло еще набивается в глаза, а оно кусачее! Кажется, вот-вот задохнешься, и начинаешь вопить сильнее, чем до купанья.

— Мама, задохнись! Задохнись! — ору я во все горло и так бьюсь, что чуть не опрокидываю корыто.

— Ничего, не задохнешься! — смеется мама. — И не скачи тут у меня! Всех купала, пока были малые, и никто еще не задохнулся. Неужто оставлять с грязным носом? Да и шея такая, что впору горох сеять... Хорошо ли ходить таким? И в голове, не приведи господи, еще живность заведется...

— Не заведется! — ору я, весь в мыле, и сам едва слышу свой голос.

— Заведется не заведется, а выкупаю, и все, — говорит мама. Она меня уже не мылит. Зачерпнув горстью воды из корыта, она умывает лицо, нос, рот, и я чувствую, что опасность миновала. Я больше не реву и даже смеюсь.

— Ну, не говорила я? — спрашивает мама. — Смех один! А ты уж — задохнись!

Нет, ясно, мама у меня хорошая. Вот и теперь она больше не скребет ногтями мою голову, а льет на нее теплую воду. Вода, правда, течет по лицу, по носу, но это уже пустяки. Я больше

ничего не боюсь. Мамины руки снова прикасаются к спине, к груди. Потом она ставит меня на ноги. Тетя придерживает, чтоб я не вывалился из корыта, а мама, взяв в руки тряпицу, трет мне спину. А ведь хорошо человеку быть чистым! Теперь я это отлично понимаю. Кастанция уже несет чистый рушник. Его набрасывают мне на голову, и я не вижу, кто меня вытирает. Рушник подогрели у очага, он шершавый, по это тоже не пугает.

— Бэ-э, бэ-э, — дразнит меня Забеле, вспомнив, как я недавно верещал.

— Перестань! — ругает ее мама. — Видишь, ребенок совсем не кричит. Хороший мой мальчик...

Я стою на сухой скамеечке. Мама надевает чистую сорочку.

— Мой сыночек теперь чистый и красивый, как куколка... — говорит она.

Сравнение мне не очень-то нравится, но я ничего не говорю.

РАДУГА

Впереди широкое, необъятное поле цветущего льна. В глазах синь и от неба, и от этих крошечных цветочков. Тетя побрела по льну, а я сел на меже и смотрю, как она, нагнувшись, полет.

— Печет, как на сковороде, — слышу я мамин голос. Она забралась в лен еще дальше, я ее не вижу и начинаю думать, кто и что печет на сковороде. Нет, никак не могу понять. — Послушай, вроде гроза гремит.

Тетя выпрямляет спину и, приложив ко лбу ладонь, смотрит вдаль.

— Пожалуй, и не допдем! — говорит она. — А другим разом ходить в Концы — опять целый день проходишь...

Я не понимаю, о чем они говорят, тетя и мама. Мне есть хочется, но я раскладываю камешки, которые мама принесла и высыпала передо мной.

На краю неба вдруг что-то сверкает... Немного погодя наверху грохочет, трещит, словно окованная железом телега прокатилась по небесам туда, к нашей избе.

— Нет, пора домой собираться, — слышу я голос матери. Она появляется на краю поля, поправляет передник, повязывает голову красно-зеленым платком. Снова мама кажется мне самой красивой на свете, и я, протянув к ней руки, кричу:

— Кушать, мама, кушать!

— Пойдем домой, там поешь... — говорит она и берет меня на руки. — Проголодался, мой маленький...

Бросает работу и тетя. Мы бредем и бредем по меже. Я понимаю, что домой, но за пригорками да кустами избы не видать. Мне уже кажется, что пошли не в ту сторону, но я ничего не боюсь — знаю, что с мамой и тетей не пропаду.

— Глянь-ка, а ведь не успеем, — говорит мама. — Словно ночь наползает.

Я не знаю, что это наползает. Вдруг набегают холодный ветер, шелестят тополя на меже,

шумят так, что даже не по себе становится. Солнце скрывается, поля мрачнеют, а на голову падают первые капли. А мы идем и идем, все быстрее и быстрее. Мама тащит меня за руку, потом пускает вперед, но я бегу, наверно, не торопко. Тогда тетя хватает меня на руки, правда, ненадолго, — видно, я тяжеловат. Мы выбираемся на дорогу, по которой ветер крутит песчаные вихри. И тут же на дорогу обрушиваются такие хлесткие капли, что песок мгновенно оседает. Снова полыхает по всему небу молния, гром бухает рядом, где-то у нас над головой. Мама и тетя крестятся. Мы посреди поля, а туча уже прямо над нами, льет, по словам мамы, как из ведра, и у меня за воротом мокро и холодно.

Перед нами несколько высоких деревьев. Они шумят и стонут, листья дрожат и, сорванные, несутся по полю. Но вот мы уже и под деревьями.

— Спаси и сохрани, спаси и сохрани, — бормочет тетя, непрерывно крестясь и шевеля губами; так она делает, когда молится.

А ливень все бушует. Вода хлещет с неба прямо потоком. Сквозь водяную завесу не видать ни изб, ни деревьев деревни Гульбинавас, ни льна, хоть мы еще не так далеко от поля. Мама стоит под деревом, и я всем телом ощущаю ее ногу, к которой прижимаюсь изо всех сил. Мамина рука у меня на голове, и я не боюсь ничего — ни дождя, ни грозы. А дождь льет ливнем. Я смотрю во все глаза и вижу, как ниже нас на дороге бурлит только что возникший ручей, как скачут и пузырятся дождевые капли, как мутный поток хлещет с пригорка на дорогу, а с нее — вниз, на луга. Луг сразу превращается в болотце — в ложбину бойко натекает рыжая, глинистая вода, и кажется, вот-вот на пашне разольется озеро. Интересно и страшно.

Мама ничего не говорила, только гладила ладонью мою мокрую голову и еще сильнее прижимала меня к себе. Я стучал зубами — не от страха, скорее от того, что промок до костей. А дождь все клокотал и клокотал, и казалось, конца не будет тому клокотанью. Пылали молнии, с коротким страшным треском ломалось небо, словно разверзаясь над нами. Вдруг что-то резко щелкнуло, будто Пиус бичом, и нас ослепил огненный шар. Мы испуганно присели и увидели, как раскололся тополь шагах в десяти от нас и половина его рухнула наземь.

— Господи, смилуйся! — услышал я тетины слова и увидел, что она снова поспешно и часто крестится. А мама еще сильнее прижала меня к себе.

Гроза пошла на убыль так же неожиданно, как и началась. По земле постукивали уже лишь редкие капли. Ручей, низвергавшийся с пригорка, обмелел. Но луг за дорогой по-прежнему был залит водой и под порывами ветра то и дело покрывался рябью. В воде скоро отразился клочок прояснившегося неба. Тотчас засверкало все вокруг, гроза погромыхивала уже где-то далеко над Акмянай... Мы вышли из-под деревьев мокрым-мокрехонькие. По лицу у меня струилась вода, и от радости, что все обошлось и мы все трое живы, я фыркал и смеялся.

— Еще бы малость, и могло прямо в наше дерево... — сказала мама, снимая с влажных волос промокший платок.

— На все божья воля, на все... — сказала тетя, и ее губы снова беззвучно зашевелились. Видно, она все еще молилась.

Мы поднялись на пригорок. Отсюда среди зеленых садилов уже виднелись серые наши дома. Почему-то они страшно манили меня. Да еще мне снова захотелось есть.

— Глянь, — сказала мне мама и остановилась, — глянь, какая радуга.

Я остановился и поглядел в сторону озера. Там исполинской дугой изогнулась в небе удивительная разноцветная лента. Один ее конец, казалось, пьет воду из нашего озера, а

другой уткнулся где-то в Акмянинай, у ветряной мельницы Вайчюлиса, куда папа меня однажды брал с собой. Я тут же забыл про грозу и ливень. Сотни вопросов лезли мне в голову: из чего сделана эта лента, почему она так называется, может, потому, что дождя больше нет и мы рады... Но и мама и тетя торопились домой. Ну что ж, обо всем этом я расспрошу при случае, скажем, когда они сядут пряхсть лен. Тогда у них времени хоть отбавляй, и они охотно пускаются в разговоры. Я снова пошлепал впереди них босиком, скользя по глинистому проселку.

А радуга на продвинувшейся вдаль, но все еще посверкивающей, погромыживающей туче сияла просто удивительно. Так бы и бежать к ней по лугам и пашням — хотя бы к тому ее концу, который пьет воду из нашего озера...

КАЧЕЛИ

Мы ни минуты не сомневались в том, что это выдумка Юозаса Бабяцкаса. Того самого, что позднее переехал из старой деревни за озеро и, устроив там кузню, до конца своих лет обтягивал колеса шинами и затачивал сошники. Был он горазд на всякие затеи. И вот как-то на той круче у дороги, что ведет из Будвечяй в Скайсчяй и еще дальше — в Любавас, мы увидели нескольких мужиков. Они ходили вокруг березы, сломанной ветром в прошлое лето, и, задрав головы, сдвинув шапки на макушку, глядели на обезглавленный ствол. Береза была старая, замшелая, стояла она здесь так давно, что даже дед Андзюлявичюса не помнил ее молодой, а вот теперь торчала печальная, покалеченная, словно солдат, вернувшийся с японской войны.

И вот Юозас Бабяцкас взобрался на ствол, привязался веревкой, чтоб не упасть, вытащил из-за пояса ножовку и принялся пилить верхушку. Что он там делает? Мы прибежали босиком, но с еще красными от холода ногами по подсохшей тропе к обломанному дереву. Скоро все выяснилось. Юозас Бабяцкас, или, как мы его называли, дядя Бабяцкас, выровнял обломанный ствол и сделал на нем зарубину.

Дело было в страстную субботу, в канун пасхи, когда над всеми избами дым стоял столбом — в луковой шелухе варились яйца, а бабы и ребятишки готовили краску для писанок.

Пасха выдалась солнечная и светлая. На деревьях уже набухали почки, бледно-зеленые и нежные. По искалеченному дереву струилась белая его кровь — березовица. Вернувшись сразу после «Христос воскрес!» из Любаваса и разговевшись, чем бог послал — увы, во многих избах мясо досталось лишь больным и детям, — вся деревня, молодые и старые, собралась на обрыве. Теперь на дерево вскарабкался молодой веселый парень — работник Асташаускаса — и звонким голосом крикнул стоящим внизу мужикам:

— Давайте сюда! Не видите, что я уже наверху?

Кто-то еще полез на дерево, таща за собой целый ворох веревок. Веревки уже связаны, и работник Асташаускаса легко зацепил большую петлю, где полагалось, — так, чтобы она не соскользнула из зарубки. Вскоре сверху на веревках свисали четыре хомута.

— Кто первый? — крикнул Юозас Бабяцкас.

В один из хомутов впрягся мой отец, во второй — сам изобретатель, а в остальные два — кажется, гульбинавасский Варнагирис, который потом уехал в Америку, и вроде бы Кярялявичюс из Будвечяй, что живет у озера. Всех разбирало любопытство, что получится, но никто больше не хотел залезать в хомуты. Даже мы, мальчишки, которые, как известно,

вечно наперед суются, теперь стояли, кто развесив губы, кто сунув в рот палец, и глазели на мужиков. А они примерялись, как сидится в хомуте, и проверяли, все ли прикручено, как надо.

— Не знают, что и выдумать в святой день, в самую пасху! — возмущалась наша богомольная тетя, позднее всех вернувшаяся из костела. — Греха не боятся...

— Что хы там бурчишь, Анастазия, — крикнул Бабяцкас, — иди-ка лучше к нам! Вот мы тебя поднимем — прямехонько на небеса! На землю и ворочаться не захочешь... Сажай сестру, Тамошюс!

Тетя Анастазия плюнула и, ничего больше не говоря, засеменила по тропинке домой. И тут началось самое интересное.

Когда все как следует уселись в хомутах и крепко уцепились руками за веревки, Бабяцкас дал команду, и мужики один за другим побежали кругом. Поначалу их ноги касались земли. Но вот то один, то другой повисал на миг в воздухе над крутизной, под которой шла дорога. Вдоль дороги стояли в два ряда высокие березы, тополя и липы. Даже в полдень сюда не заглядывало солнце, и, хотя тропки на склоне уже просохли и затвердели, на дороге по-прежнему была страшная грязь. Никто не решался ходить по ней, даже телегу из этой лужи могла вытащить разве что четверка буланых барина Аушлякаса — в деревне таких крепких лошадей ни у кого не было.

И вот, затаив дыхание, я стою в сторонке от березы среди ребятишек. Хомуты вместе со смельчаками уже отделились от земли, и люди летели, не касаясь ее ногами, одни за другими. Ужас до чего интересно и чуточку страшновато! А им, видно, нравится. Быстро проносятся раздумавшиеся лица. С кого-то уже слетела фуражка. Вздываются все выше и выше, летят все быстрее. Я слышу голоса:

— У-ха! У-ха! Эх, и летим!

— А ты еще нажми, нажми! — кричит Бабяцкас.

— Пару, мужики, больше пару! — различаю я голос отца.

На самом деле страшно, но и чертовски хочется самому влезть в хомут, схватиться за веревки и понестись кругом, кругом, слыша, как звенит в ушах ветер, видя, как кружатся избы, деревья, Часовенная горка. Да-да, и Часовенная горка, на которой стоят необыкновенно белые березы.

— Эх, ух! — кричит Юозас Бабяцкас. — У-у-ух!

— Пару, пару! — повторяет отец.

И мужики кружатся так быстро, что кажется, будто они летят как птицы, не встречая преград. А им еще больше хочется привлечь внимание всех деревенских — те стоят поодаль и не спускают глаз со смельчаков.

По небу неслись небольшие, тяжелые, еще набухшие дождем весенние тучи, но склоны Часовенной горки уже голубели подснежниками, а на солнцепеке улыбались желтые калужницы, провозвестницы всамделишной весны. Из-за туч высунулось солнце, и к нему упрямо тянулись тысячи почек, суля вскоре застлать зеленым покрывалом деревья, кусты и пажити. Сердце трепетало от радости весны, от нетерпеливого ожидания только что рождающейся, новой, никогда не виданной жизни.

А наши мужики все летели и летели по кругу. Толпа подзадоривала их, подстегивала, смеялась. Они все неслись и неслись мимо, уже кружилась голова от этого мельканья, устала

вытянутая шея, и стало страшно за отца.

Но вдруг лопнула и оборвалась веревка хомута, в котором сидел Юозас Бабяцкас. И отчетливо было видно, как он с минуты летел по воздуху прямо туда, где под обрывом тянулась черная дорога, затопленная глубокой жидкой грязью, вымешанной лошадиными копытами. Летел он неторопливо, как это бывает во сне. Но сон кончился. Я услышал, как Юозас Бабяцкас всем своим грузным телом шмякнулся в грязь, аж брызнули в стороны черные струи.

Люди на круче ахнули. Вниз по косогору с воплем пустились его молодая жена и дети, а потом и все остальные.

И тут мы увидели, что Юозас Бабяцкас вылезает из грязи. Он не походил на человека, но мы знали, что это он. Живой, здоровый, только измазанный с головы до пят. Рукой он сгребал и бросал наземь грязь с лица, с глаз. И наш испуг сменился смехом. Когда жена и соседи затащили его за руки на кручу, с него все еще стекала и отваливалась комьями грязь, но бойкие глаза Бабяцкаса уже смеялись.

— Знаете, братцы, — весело сказал он, — я-то думал, что пасху допраздную у Авраама за печкой. А вот мы вроде опять встретились...

— Конечно, в нашей деревне веселей, чем на том свете, у Авраама, — сказал отец. — Верно, Юозас?

— Известно, веселей! — ответил Бабяцкас. — И молодую женушку жалко было оставить горюшко горевать, — добавил он, окончательно рассмешив всех.

Радуюсь, что пасхальная затея хорошо кончилась, мы шумно проводили Бабяцкаса домой. А на его качелях всю эту весну, чаще — по воскресным вечерам, качались и взрослые и дети. Но больше никто не падал.

КОЛЕСО

О, как мы любили те зимние дни и вечера, когда отец, бывало, перенесет из сарая верстак и примется за свою работу! Вот и в этом году тоже происходило великое переселение. Отец, освободив угол в избе, сперва перенес вместе с моими братьями верстак. Потом они потащили пилы, струги, токарный станочек, я же бегал; из сарая в избу и таскал рубанки да фуганки, сверла да буравы, долота да стамески. Отец изредка поглядывал на меня, и по его глазам, по улыбке в краешке рта я видел, что моя работа ему по душе.

— Гляди, не урони в снег сверло или стамеску! Потом до весны не найдешь, а мне за зиму непременно надо колесо сработать. Каждый инструмент нужен, чтоб был под рукой.

И я продолжал носить инструмент — не в охапку, а по одной штуке — один фуганок, одно долотце, один бурав.

— Ну и помощник, — посмеялся надо мной Юозас, но отец одернул его:

— Не все сразу. Пускай ребенок старается. Вырастет — будет мне помощником.

От таких слов мне еще больше хотелось помочь отцу, и я без усталости бегал из сарая в избу.

Вот верстак в углу избы. Над ним висит керосиновая лампа, здесь она светит ярче, чем над

столом. От множества инструментов и брусков свежего дерева изба просто сверкает. Хорошо пахнет дубом. Отец говаривал: дуб — дерево серьезное, он идет на вещи серьезные, прочные, вечные.

На печи еще с прошлого года сохнут кленовые бруски и дощечки — осиновые, березовые; не знаешь ведь, что в дело сгодится.

Отец подкручивает винты, проверяет, крепко ли зажат кусок дерева, подправляет молотком снизу струганки да фуганки, потом проводит каждым из них по доске: настраивает свой столярный снаряд, как музыкант инструменты. Работает он не спеша, даже не выпускает изо рта трубки, болтает с женщинами, часто выходит во двор и опять возвращается. Но мы чувствуем, что приближается серьезное и ответственное дело.

Отец все чаще замолкает. Он долго прилаживает хорошо высушенный дубовый брусок на станке, зажав его меж двух железных прутьев, так, чтоб выпасть он не выпал, а только вертелся. Пиус крутит рукоятку токарного станка. Поначалу брусок аж свистит, но отец из кучи стамесок выбирает одну, на длинном черенке, с косым лезвием и, удобно приспособившись, приставляет стамеску к бруску. Дерево взвизгивает иным голосом — по правде, раньше у него и голоса-то не было, а теперь оно попискивает, захлебывается, урчит, и крохотные стружки, словно искры, далеко отлетают от верстака.

На помощь Пиусу приходит Юозас, они крутят, запарившись, меняясь, а то и оба сразу, отец же, не отзываясь ни словом, положив на верстак угасшую трубку, упорно и крепко держит стамеску, медленно скользя ею по бруску. Неровный вначале брусок постепенно округляется. После обеда его края становятся тоньше. Потом чурку снимают с веретена, зажимают в тисках и в ней долго, осторожно наворачивают буровом дыру. Дыра должна быть как раз посередине, ровная, чтоб колесо не вихлялось на оси. Но у отца глаз меткий, все он делает точнехонько. Недаром он славный на всю округу мастер.

Но ступица еще не кончена. С боков надо выдолбить четырехугольные продолговатые гнезда, в которые загоняют спицы. Гнезда должны быть одинаковыми, на равном расстоянии друг от друга. Спицы же будут из хорошо просушенного дуба, гладко обструганные рубанком, не отличишь одну от другой. Работа кропотливая, идет медленно, хотя отец работает напористо, даже жилет расстегнул, а в избе не жарко. Работает он днем, но часто и по вечерам. Бывает, я засыпаю в своем чуланчике, а в избе все еще раздаются то тоненькое попискивание ножовки, то удары молотка, и я даже с закрытыми глазами вижу доброе лицо отца, его большие, тяжелые, но такие добрые руки.

Мама и тетя Анастасия не поспевают выметать и сжигать щепу и опилки. Под верстаком набралась высокая куча стружки. Она пахнет лесом и каким-то лекарством, хоть лекарство редкий гость в нашем доме. Стружки шуршат, а если возьмешь их в руку — тут же крошатся.

Среди стружек попадаются отличные дощечки. Мои братья, добравшись до верстака, мастерят каждый свое: Пиус — ветряную мельницу, а Юозас — пильщиков досок. Отец, застав их у верстака, незлобиво поругивает, зачем, мол, таскают гвозди. Он держит их в очень занимательном ящичке, разгороженном на несколько отделений. В одном лежат длинные и тонкие гвозди, в другом — короткие и потолще, с большими шляпками, в остальных — еще какие-то. Мне ужас до чего хочется, чтоб Пиус смастерил и для меня такую красивую укладочку, какую он уже сделал для Альбинаса Бабяцкаса, но у брата нет гвоздей. Я прошу гвоздей у отца, но тот смеется:

— Гвозди я покупаю. Задаром никому дать не могу. Покупайте у меня, коли приспичило.

Долго я ломаю голову, откуда достать денег. На помощь приходит мама. Когда отец отдыхает после работы, вытянувшись на лежанке, она вынимает у него из кармана кошелек, вытаскивает оттуда копейку и дает мне. Зажав в кулаке эту копейку, я бережно, будто

драгоценность, несущая ее папе. Он берет копейку и серьезно говорит:

— Теперь — дело другое. Подавай-ка мне мои гвозди.

Я приношу с верстака ящик с гвоздями, и он, набрав щепотку самых маленьких, высыпает их мне на ладонь. Теперь дело пойдет — брат за день смастерит для меня преотличную укладочку!

А колесо понемногу рождалось. Проснувшись однажды утром, я увидел, что в тисках уже зажата ступица со спицами. Отец подбирал косячки обода, помечая, где буравить дырки, чтоб пропустить концы спиц. Но сегодня он был невеселый.

Уже несколько дней моя младшая сестренка Пятронеле, которую мы все очень любили, тяжело болела. Она беспокойно металась в свой зыбке, вся горела и ничего в рот не брала. Личико ее посинело, изредка в горлышке у нее что-то всхрипывало, изо рта шла пена. Мама то накрывала Пятронеле теплыми одеяльцами, то, вынув ее из зыбки, носила по избе, качала, прижимала к груди.

Из деревни приходили женщины, окуривали сестричку освященными травками. Микулёнене изгоняла злых духов. Никому и в голову не пришло обратиться к врачу — он ведь очень далеко. Врача не привозят даже для взрослых, а тут — для такой крохотули! Неслыханное дело! Да и куча денег ведь нужна, а их в нашем доме никогда лишку не было.

Проснувшись однажды утром еще затемно, я увидел тетю Анастасию, коленапреклоненную перед зыбкой. В ее руке горела восковая свеча. Мама, всхлипывая, сидела на кровати. Пятронеле только что умерла.

Мне казалось, что я виноват перед сестренкой. У меня была прекрасная укладочка, а у нее — нет. Почему я ее не отдал ей? Правда, Пятронеле была маленькая, ничего еще не понимала, но, вырасти она, все бы поняла и сказала: «Какой хороший у меня брат! Ему ничего для меня не жалко — даже коробку свою подарил».

В чулан вошел отец. Видно, он был на дворе, кормил скотину. Он стоял простоволосый, от него пахло сеном, в волосы набились соломинки. Увидев плачущих женщин и поняв, что Пятронеле умерла, он отвернулся к окну. По его лицу катились слезы, плечи подрагивали. Так он постоял какое-то время и, не проронив ни слова, вышел из избы.

Пока женщины переодевали Пятронеле в новую перкалевую сорочку, пока сдвигали в избе стулья и собирали из них последнее ложе для покойницы, отец встал к верстаку. Он молчал и казался сердитым. Никто из нас не смел подойти к нему. Он взял несколько сосновых дощечек, обстругал их и до обеда сколотил гробик. Женщины уложили в него Пятронеле и поставили в головах зажженную восковую свечу. Тетя Анастасия, сев рядом с покойницей, затаила тоскливый, неприятный псалом, в котором звучала какая-то великопостная, неживая, черная нота. Из деревни пришли бабы.

После похорон Пятронеле отец долго ходил сам не свой.

Наступала весна, в избе по-прежнему стоял верстак, но отец целыми днями не подходил к нему. На верстаке валялось недоделанное колесо. Только когда санный путь раскис и надо было уже выезжать в поле, в город, он наконец доделал его. Взвалив колесо на спину, он понес его по берегу озера в кузницу Бабяцкаса. Я бежал рядом с отцом. Мастер долго разглядывал колесо, выстукивал молотком, пробовал могучими ручищами, крепко ли сидят спицы, плотно ли сошлись косячки обода, и наконец одобрил:

— Хорошие руки у тебя, Тамошюс.

Услышав похвалу кузнеца, отец усмехнулся себе в усы. Я понял, что он тоже доволен своей работой. На полях уже солнышко, теплынь — самая что ни на есть весна. Надо было спешить. Отец встал к мехам, в горне запылало пламя, и Бабяцкас отрубил длинную железную полосу. Я еще никогда не видел, как натягивают на колесо шину. Забыв все на свете, я смотрел то на отца, то на колесо, то на кузнеца, который согнул железо, потом сварил его и принялся натягивать.

— Да-да, пора в поле, — посмотрев в открытую настежь дверь на небо, сказал кузнец, словно самому себе. — Весна не ждет. Прислушаешься, и вроде пашни тебя зовут...

В НОВЫЙ ДОМ

Изба, в которой я родился, стояла на круче над дорогой. Правда, когда теперь мне приходится бывать в родных местах, проходя мимо нее, я всегда удивляюсь, что круча и вовсе не круча, а просто так себе — пригорок, на который легко взобраться и ребенку и старику. Но в детстве многое выглядит иначе. Итак, наша изба стояла на круче. Была она бревенчатая, совсем уже одряхлевшая. Гнилые бревна кое-где залатаны досками, кое-где подперты кольями, чтоб не вывалились. Окна крохотные и грязные — под лучами солнца стекла загорались всеми цветами радуги, но сверканье это было обманчивым и радовало меня, лишь когда я несмысленно протягивал руки к свету, к солнцу. Дверь скрипела, плотно не затворялась, и во все щели, особенно зимой, в избу проникал холод. Посередке избы был очаг, сложенный из камней, в углу — печь, в которой пекли хлеб, вдоль стен — кровати, старые, десятки раз чиненные.

Когда выяснилось, что деревня будет переселяться на хутора, я не мог понять, почему крестьяне постарше так жалеют осевшие свои избы. В нашей избе, правда, слезы утирала только тетя Анастасия. Мама была куда веселее, наверное, потому, что она пришла сюда из дальней стороны, из деревни Видгирай. Я это знал с малых лет, мама не раз с гордостью рассказывала, какой хороший народ в ее краях, как ладно там живут, какие чудесные холсты ткут.

Пожалуй, больше всех хотел уйти из старой избы отец, хоть ему и жалко было оставлять садик, правда, крохотный — всего несколько фруктовых деревьев, которые и не плодоносили уже как следует. Он говорил, что высмотрел для усадьбы землю получше, там посадит большой сад и перенесет туда две или три колоды пчел. Пчел он любил страстно. К свадьбе он получил в подарок колоду пчел от старика Жукайтиса, своего родственника, жившего в деревне Граяуской за озером Дотамай. А теперь мечтал перенести своих пчел — у него было уже две или три колоды — на новую усадьбу.

— И что за жизнь будет на новом месте? — горевала тетя. — Кругом ни души. Словом перебраться не с кем...

— Будто мы в чужие края едем? — успокаивал ее отец. — Народ-то вокруг нас тот же... Как заведено, будем ходить друг к другу на помощь.

— Что уж там, — чуть не плакала тетя. — Горе, и только. Тут, если соли или закваски не хватило, по соседству сбегашь и займешь... А там — иди по полям куда глаза глядят, пока до кого-нибудь доберешься... Нет уж, тут лучше. Главными же сторонниками переезда в новый дом были мы, дети. Когда из Вартялинского леса стали возить бревна, мы день-деньской напрямик по полю носились от старой избы к новой усадьбе. Столько там было интересного! И изо дня в день все прибывало. Как тут не сбегать разиков пять за день на хутор и не поглядеть, что там творится.

А там, где еще вчера рядом и друг на друге лежали толстые, длинные сосновые лесины, еще издали приятно пахнувшие смолой, содранной корой, обрубленными сучьями, сегодня уже стояли высокие козлы. Работники топорами сдирали с бревен кору, разводили пилы. Потом бревно подняли на козлы, прикрепили его железными скобами, чтоб не елозило. Вдоль бревна протянули натертую углем бечевку, оттянули ее малость посередине и отпустили. По всему бревну ровнехонько отпечаталась черная черта. То же сделали и с другого боку. Потом один из пильщиков встал на землю, а другой взобрался на бревно. Оба ухватились каждый за свой конец пилы и помаленьку, не торопясь принялись раскачиваться. Видать, работа была из таких, которую нахрапом не возьмешь. И едва они принялись качаться, из лесины посыпались влажные белые опилки, пахнувшие смолой, — вроде песка, только покрупнее.

Встав под бревном, я ловил рукой опилки. Схватив меня под мышки, отец отнес в сторонку, шлепнул по мягкому месту и не зло сказал:

— Ты там не стой. Еще опилки в глаза попадут, а то и бревно свалится ненароком...

Бревна я, конечно, не боялся. Я видел, что оно намертво прикреплено к козлам. Наверху стоит человек, держится, ухватившись за рукоятку пилы, и то не свалится. Значит, и мне бояться нечего.

Еще интереснее стало, когда из камней, собранных в поле, сложили фундамент для избы и на нем появился первый венец из бревен. За всем присматривал отец, ни на шаг не отходя от работающих. Озабоченно нахмутив лоб, он ходил вокруг, что-то подтесывал, буравил, мерил, приложив к дереву ватерпас.

— Эй, мужики, тут мы чуток криво положили! — говорил он. И работники поправляли бревно, били его обухами сбоку, чтоб оно легло на свое место.

Стены избы все росли и росли. Вот уже видно, где будут двери, где окна. Эта изба будет куда просторнее старой и, что важнее всего, шестистенка. Вся новым-новешенькая!

— А тут что? — допытываюсь я, таскаясь за отцом по пятам.

— Тут будет горница, — довольно отвечает он.

— А что такое горница? — не успокаиваюсь я.

— Это чистая половина избы. И красивая. Для гостей, больных, понимаешь?

— А-а! А тут что будет?

— Тут будет чулан.

— А что будет в этом чулане?

— Ну, скажем, ты с братьями будешь спать...

Хорошо-то как, нам больше не придется спать втроем на одной кровати в избе, где полно кур, кудахчущих ни свет ни заря, где столько дыму и пыли.

— Значит, у нас будет как в поместье? — говорю я, вспомнив, как однажды мы с отцом побывали в просторной чистой кухне помещицкого дома.

— Да не хуже. Можешь мне поверить, — усмехается в усы отец.

Наконец сруб закончен и над ним поднялись стропила, стянутые решетинами, а над коньком мужики подняли венок. Это знак, что изба вчерне построена и что отцу пора выполнить

обещание — выставить рабочим «зеленого гусака». В этот день женщины хлопотали с самого утра. Мама в старой избе достала с чердака сала, колбасы, скиландиса.[2] Тетя Анастазия резала хлеб. Сам отец, сев на лошадь, около полудня уехал в Любавас. Всюду суматоха, все чувствуют, что настал самый важный час.

Пир должен был начаться с полдника. Была суббота. Удивительно голубой и ясный осенний день. Люди копали огороды, возились около изб, если только не были заняты на постройке новых домов. И вот наконец мама сняла с полки корзину, постелила в ней чистый платок, на платок уложила мясо, хлеб, два творожных сыра, комок масла.

— Мама, а я? Я тоже хочу обедать вместе со всеми на хуторе! — закричал я, чуть не плача от обиды, что про меня забыли.

— А верно ведь, — с улыбкой посмотрела на меня мама. — Чуть было не забыла главного работника. Где же твой лагунок?

Мой лагунок стоял рядом, на окне. Это выточенная из дерева неглубокая широкая кружка с плотной крышкой. Я схватил ее и подал маме.

Мама взяла ложкой кусочек масла и бросила в лагунок. Отрезала от караваев ломоть хлеба. Все завязала в платок и дала мне. Сама взяла корзину, и мы двинулись к новому дому.

О, как хорошо мне было шагать по новой, вытопанной по ржищу тропке туда, где белела новая изба, правда, без крыши, но со стропилами, решетинами, с большим венком из еловой хвои и осенних цветов на коньке! Она сияла, эта изба, словно земля обетованная, она сулила нам новую жизнь, обещала счастье.

Отец только что приехал верхом. На срубе еще кипела работа. Но когда у избы появились мы с мамой, и туканье топоров и жужжание пил — все прекратилось.

— Здорово, хозяйка! — закричали рабочие, увидев маму.

— И ты здравствуй, сверчок! — добавил кто-то из них, разглядев меня.

Наверное, по моему лицу было видно, что мне не очень-то понравилось такое приветствие. Бабяцкас рассмеялся и сказал:

— Не серчай, мужик! Знай: без сверчка нет счастья в доме.

Мама красиво разложила на досках еду, а папа выставил привезенного из Любаваса так называемого гусака. Я удивился: думал, что отец на самом деле привезет гусака, а теперь вижу — это вовсе не птица, а высокая широкая бутылка из зеленоватого стекла, полная какой-то жидкости.

Когда мужики уселись, кто на досках, кто на бревнах, я тоже отыскал себе местечко у отцовской ноги. У меня был свой хлеб с маслом. И когда рабочие приступили к еде, я тоже откусил первый кусок. Папа разливал питье в маленькие глиняные кружки, мужчины стукались ими и подносили ко рту. Выпив, они ужасно морщились. Микас Трячёкас капнул в кружку водки и, подав мне, сказал:

— А главного работника-то мы и забыли!

Ни отец, ни мама не успели спохватиться, как я уже выпил. О, горькота-то какая! В глазах позеленело, грудь сдавила страшная тяжесть — я еле отдышался.

— Сдурели вы, что ли? — испуганно закричала мама. Мужики весело расхохотались, потому что они увидели на моем лице широкую улыбку. Неужто я отстану от всех в такой важный,

значительный день, когда мы уже так скоро переберемся в новую жизнь?

ПЕРВЫЕ МОИ БАШМАКИ

Почему-то мне страшно хотелось иметь башмаки. Куда бы я ни шел, что бы ни делал — перед глазами у меня так и стояли маленькие, хорошенькие, сверкающие башмачки, такие, в каких ходят в костел дети хозяев побогаче. С весны до осени я, как и мои братья, бегал босиком. С осени до весны я носил клумпы. Клумпы как клумпы — единственная обувь в деревне. Ясно, можно и в клумпах. Но башмаки! Господи, какая красота! Идешь себе, а они сверкают, поскрипывают, — кажется, ты и красивее и умнее других. Отец обещал купить мне башмаки, когда я пойду в школу. В это я мало верил, потому что Пиус уже ходил в школу, а башмаков у него никаких нет. И я, таскаясь за отцом, частенько клянчил:

— Папа, ну купи мне башмачки.

Ему надоело меня слушать, и, однажды он буркнул:

— Скопи денег и сам купи. Вот поедem в Калварию, и можешь покупать. В лавках башмаков — завались, были бы деньги.

И я стал копить деньги. По правде говоря, разбогател я довольно быстро. Одну копейку для почину дал мне сам отец, вторую — мама и еще одну — тетушка Анастазия, вернувшись как-то с престольного праздника. Видно, ей там повезло, потому что была она веселее обычного и вместо конфеты, которую она мне всегда привозила или приносила, сунула новехонькую блестящую копейку. Еще одну копейку я нашел на дороге. На этой дороге мы подчас находили любопытные вещи — гвозди, ухнали, подковки от мужских башмаков, а один мальчик нашел даже огниво. По правде говоря, я тоже нашел там одну ценную вещь — пустую металлическую баночку с вытисненной на крышке чужеземной надписью. Когда я принес ее домой, отец, знавший грамоту, пытался разобрать, что на ней написано, но так ничего и не понял. Он сказал, что в таких баночках держат сапожную мазь. Так или иначе, но коробка стала моим банком, и в ней бренчали целых четыре копейки — капитал, какого у меня еще никогда не было.

Я был уверен, что за такие деньги легко купить башмаки — самые красивые, самые щеголеватые. И я ждал базара, на который собирался ехать вместе со взрослыми.

Уже загодя я знал, что в следующий четверг отец с матерью поедут на базар. Увидев, что я встал раньше обычного, мама спросила:

— Ну, а ты чего такой ранний сегодня?

— Так мы же на базар едем, мама...

— На базар? — удивился отец. — Что ж ты будешь там покупать? Ведь на базаре деньги нужны...

— Деньги? — удивился я. — А это что?

И я, вытащив из тайника под кроватью свою баночку, загремел копейками так, что, как мне показалось, вся изба задрожала.

— Коли так, дело другое, — улыбнувшись, сказал отец. — Садись с нами за стол, позавтракаем. А вы, дети, — обратился он к Пиусу и Юозасу, — напоите и закладывайте

лошадей.

— Все нам да нам! — поморщился Пиус. — Кто по базарам разъезжает, а кому работать!

— Как тебе не стыдно, — сказала мама. — Ты ведь ездил на базар. А ребенок еще ни разу не был.

Вскоре телега, запряженная двумя лошадками, выкатилась из двора. На мешке, набитом свежескошенным душистым красным клевером, с одной стороны сидел отец, держа вожжи, а с другой — мама с корзинкой на коленях. В корзинке, даже не трепыхаясь, лежали без звука две связанные курицы. Я сидел посередине, зажав в кулаке все свои сбережения.

Господи, до чего интересно ехать по этим полям ранней, теплой осенью! То тут, то там в небе рассыпались облачка. Одно похоже на нашу собаку, лохматое с задранной головой, другое — будто старик Зялмонас, что ездит по деревням и скупает тряпье и паклю, даже вон кнут торчит под мышкой, третье — вроде большой рыбины, бесшумно, словно в воде, скользкой по небесной шире. По обеим сторонам дороги выстроились ивы, от них протянулись на запад сумрачные тени. Поля убраны, на сером пространстве выделяются темно-зеленые лоскуты огородов около изб. В краснеющих уже садах стоят улы, деревья еще увешаны яблоками, а на пашнях в утренний час безлюдно — только кое-где видны стада, спокойно пасущиеся на пожелтевших лугах.

Уже с холмов Гульбинаваса открывается чудный вид на восток — темнеет поместье Макаушской и далекая россыпь деревень. Все это для меня внове, словно вижу впервые, хотя когда-то я здесь уже проезжал, но помню эту дорогу как в тумане.

За домом богача Куджмы и деревней Юодяляй мы въезжаем в пески, и лошадки еле тащатся шагом. Кругом скучные, однообразные поля, и меня одолевает дрема. Жмурятся глаза, я чувствую, что недоспанная перед дорогой ночь требует свое. Я хлопаю глазами, вижу еще, как отец закуривает трубку, и слышу мамины слова:

— Опять ты за свою смоктелку... Ни минуты без нее не посидишь... Святее ее у тебя ничего нет...

— Святее не святее, а будто тебе мешает. Чего ты вечно ко мне цепляешься?

Я поднимаю голову, но она тут же опускается, и я засыпаю от однообразного шуршанья колес по песку, от теплого солнца, которое вначале прохладно светило прямо в глаза, а теперь уже всю палит сбоку.

У Скаршке, где в нашу дорогу вливается другая, телега начинает катиться живее, весело грохоча по булыжнику с горки. В воздухе висит облако пыли, поднятое колесами и лошадиными копытами. Телег все больше, они выезжают из проселков на большак и, одна за другой, подчас даже в два ряда, тянутся на Калварийский базар.

Я глазею на телеги на лошадей, на мужиков и баб в телегах, на невиданные дома, на людей у плетня, глядящих на дорогу, словно прикидывая, не влиться ли и им часом в этот поток, который катится в сторону Калварии.

И тут я вспомнил про свои деньги! В кулаке их уже нет. Наверное, когда мы так долго и скучно ехали по глубокому песку, я задремал, нечаянно разжал кулак, и деньги упали в солому в телеге. А может, я их сунул в карман? Начинаю рыться, но ничего не нахожу. А может, они на сиденье, рядом, может, я на них сажу? Я привстаю с места и шарю под собой. Родители заметили мое волнение. Мне не хочется признаваться, что по своей глупости я потерял деньги, но отец сразу все понимает и говорит:

— Часом, деньги не потерял?

— Потерял, — не выдержал я и расплакался так, что мама обняла меня, как маленького, и принялась успокаивать.

Я вырвался из ее объятий, тер кулаками глаза, чтоб слезы не текли, а они все текли и текли. Мама сама помогала мне искать потерю, но увы, все напрасно...

— Что поделаешь, — сказал отец, — обойдемся без башмаков...

Я заревел еще сильнее, а мама сказала:

— Будешь еще дразнить ребенка! И не стыдно? Вот продам кур, еще сыры везу и куплю... Столько времени как просит. Надо сердце иметь.

— «Сердце, сердце»... — ворчит отец. — В нашей деревне-то никто башмаков и не носит.

— А я ему куплю, вот увидишь...

— Ну ладно, ладно, — наконец согласился отец.

Я перестал плакать, денег мне уже было не жалко. Я поверил, что сегодня моя мечта наконец сбудется.

Мы въехали в город. Здесь уже тащились телега за телегой. Краснели большие дома со светлыми, огромными окнами, гремела, дрожала бульжная мостовая, и казалось, городу нет ни конца ни края. Наконец мы отыскали место среди телег, рядами стоящих на рынке, откуда хорошо были видны высокие и белые башни костела. Вокруг все двигалось, мельтешило, гудело. Каждую телегу окружали покупатели. Они щупали кур, развязывали мешки, смотрели пшеницу и рожь, ломали и пробовали сыры, черпали мед из душистых кадушек.

Товару у нас было немного, и за какой-нибудь час мы распродали все, что привезли. Я видел, как мама завернула в уголок платка две крохотные белые денежки, а отец положил в свой кошелек вырученные за мед такие же белые, только покрупнее, да еще и две бумажки, которые, говорят, важнее даже белых. Я сидел на телеге, сначала следил за торговлей, а потом стал глазеть по сторонам. По тротуару валом валил народ, изредка появлялся кто-нибудь из наших соседей. Вот прошагал по-военному одетый в синее человек с красными полосками на штанах и с саблей на боку.

— Жандарм, гляди, жандарм, — зашептала мама, а отец добавил тихо, но зло:

— Душегуб...

Почему этого человека так называют, если он никого не губит, а чинно расхаживает по тротуару?

Наконец мы отправились в лавку, где полки были уставлены всяческими башмаками — мужскими и женскими, маленькими и большими, желтыми и черными. Проворная девушка-еврейка тотчас подала нам пару замечательных черных высоких ботинок, пахнущих кожей и какой-то едкой мазью. Мама и отец стояли, а мне она велела сесть на маленький стульчик и поторопила:

— Ну-ка, примеряй, кавалер! Ручаюсь головой, что просто к ноге прилипнут! — Веселыми черными глазами она поглядывала то на меня, то на других покупателей.

Я надел ботинки, девушка тотчас тонкими пальчиками продела шнурки и зашнуровала.

— Встань и пройдишь немножко, — сказала она. Когда я прошелся, девушка принялась расспрашивать:

— Ведь верно? Ведь отлично? А что я говорила?! Все барышни теперь глаз не спустят с такого кавалера!

Девушка мне понравилась, но другие покупатели в лавке рассмеялись, и мне стало стыдно. Я покраснел от слова «кавалер» и уже хотел, чтоб отец поскорей расплатился за ботинки и мы бы пошли к своей телеге. Меня даже обуял страх: а вдруг отец скажет, что ботинки не годятся? А вдруг он сегодня ботинки не купит и отложит это дело до следующей поездки? И когда он спросил, как сидят ботинки, я ответил, что хорошо.

— Раз так, то так, — сказал отец и принялся торговаться со старухой, стоявшей за прилавком. Торговался он недолго. Я тем временем снял ботинки, связал шнурки, перебросил их через плечо, как это делают дети хозяев побогаче, направляясь пешком в Любавас, и весело вышел из лавки. До чего же повезло мне сегодня! Теперь я тоже пойду в Любавас в своих ботинках. То есть, разумеется, я их понесу, перебросив через плечо, и только перед самым местечком обуюсь. А когда придется возвращаться домой — опять то же самое: башмаки с ног и — через плечо. Так, говорят, они куда дольше служат и выглядят красивее.

— Вот видишь, сыночек, — радовалась мама. — Видишь, какой хороший у нас отец. Обещал купить и купил.

Я поцеловал руку отцу и маме и был счастлив. Одно меня тревожило: в лавке-то я еле-еле записал ноги в ботинки. Эти несколько шагов я сделал, просто стиснув зубы — до того жала обновка. Когда отец и лавочница допытывались, хороши ли башмаки, я боялся ответить, что нет. «Раз нет, так нет!» Отец еще повернется и уйдет, а мне придется побежать за ним и вернуться домой ни с чем. Вот я и сказал, что они хороши, — только бы купили, а дома, как говорится, увидим, — может, привыкнет нога, может, разношу...

Когда мы вернулись домой, все хотели видеть, как я выгляжу в новых ботинках. В избу со двора пришли братья и сестры, и при всех я снова должен был обуться. Но теперь ноги влезали еще труднее — едва-едва я втиснул их. Попытался ходить, но ботинки до того резали и жали, что, сделав несколько шагов, я схватился за скамью, чтобы не упасть. Нет уж, их не разносить...

Отец несколько вечеров пытался растянуть мои ботинки, натягивал на какие-то самодельные колодки, потом сушил на печи. Увы, ботинки все равно были малы. Надо мной смеялись братья, отец бранился, зачем я сразу не сказал правду в лавке, ведь можно было взять и побольше номером. Увы, было, да сплыло... Мои ботинки полетели под кровать. Там они и прозимовали. Когда весной я их вытащил оттуда, они поросли голубой плесенью, стали сморщенные, неприглядные. Потом мама отдала их моему двоюродному брату — Пранасу Карпавичюсу, которому они были в самый раз. Придя босиком в костел, я видел этого Пранаса, как он шествовал в ботинках по рынку или двору костела. Но всему приходит конец. Пришел конец и первым моим ботинкам. Это я понял, увидев в местечке Пранаса снова босиком.

Утекло много воды, пока я завел новые ботинки — на сей раз уже по ноге.

«КУ-КУ!» И «КВА!»

Мы очень радовались, что старший из нас, Пиус, пойдет в школу. Школа была не близко — в Любавасе, а Любавас от нас в трех, а то и четырех километрах, или, как говорили тогда, верстах. Надев новые клумпы, обвязав онучи даже не оборами, как обычно, а пестрыми ленточками, что выткала тетя Анастазия, закинув за спину сколоченный отцом ранец, Пиус отправился в школу.

Вернулся он под вечер — хмурый, замкнутый, никому ничего не хотел рассказывать. Но дни шли, и мы наконец узнали, что брату в школе худо: учитель велит ученикам говорить только по-русски, за малейшую провинность ставит в угол, коленями на горох, пребольно бьет линейкой по ладони, таскает за волосы и выделяет такое, что и подумать страшно. В школу брат уходил в слезах. Нам казалось, что он отправляется в страну неопикуемых ужасов. Если он почему-то не уходил в школу — о, как мы веселились! Он мастерил тогда ветряные мельницы, пильщиков, вырезал из палочек крохотных смешных человечков — их можно было нарядить в тряпичные платья, и готова замечательная кукла для Забеле или Кастанции!

Приближалась зима, дни становились короче, и отец с мамой решили поселить Пиуса в самом местечке у некоего Калинаускаса, вернувшегося с японской войны. У Калинаускаса, которого и я позже узнал, в местечке была избенка, в которой он жил с женой. Оба они были люди тихие, положительные. Калинаускас день-деньской делал ложки да ковши, мог выстругать и клумпы, а его жена промышляла немудреным деревенским ремеслом — пряла шерсть, лен и за это получала от деревенских женщин то комок масла, то сыру, то кусок окурока.

Для нас начались долгие-долгие дни без старшего брата. Носимся, бывало, по избе, по двору, но не хватает нам выдумщика игр, балагура, мастера, затейника. Теперь все эти выдумки и затеи показались бы, пожалуй, немудреными и неинтересными, но тогда было дело другое. Тогда он, брат, был одним из тех центров вселенной, вокруг которых вращались наша жизнь, дела, мечты...

Бывало, просыпаюсь утром, уже на рассвете. Слышу, как за дощатой перегородкой блеет овца. Ее недавно перенесли с ягнятами из хлева, отгородили в углу избы закут и поселили в нем все это блеющее да бебекающее семейство, чтоб не замерзло в хлеву. И до того не хочется вставать! В избе еще холодно, лежанка не успела нагреться, мама только собирается готовить завтрак. Мне не терпится посмотреть, как сегодня себя чувствуют и как скачут в закуте ягнята, но вдруг я вспоминаю, что дома нету Пиуса, и в сердце снова забирается беспокойство и тоска. Я гляжу на заиндевевшее, оледеневшее окно. Еще недавно окно было в невиданных узорах, что выткал мороз, — в елках, звездочках, в тончайшей паутине. Не будь так холодно, битыми часами гляди и не наглядишься... Теперь в окно не видно ничего. Конечно, за окном бескрайние поля, заваленные снегом, сугробы, а далеко-далеко, за этими сугробами, за березами Часовенной горки, за трямпиняйским и скайсчяйским поместьями, тот далекий Любавас, в котором наш дорогой Пиус заливаётся слезами...

Я гляжу на глухое окно и снова принимаюсь за подсчеты. В окне — шесть окончин, столько и дней в неделе. Каждое утро, проснувшись, я отнимаю по одной окончине, и мне становится веселей — знаю, еще один день прошел, остались пять, четыре, три, наконец — всего два дня до субботы, когда под вечер наш Пиус непременно придет домой. Он будет идти по необъятно широким полям, по трямпиняйскому оврагу, мимо помещичьих батрацких, наконец, появится на пригорке, где наше поле смежается с помещичьим, и начнет спускаться по проселку. Хорошо, если Юозас, продув в окне дырочку, в которую видно, что творится на улице, вовремя крикнет:

— Идет! Идет!

Тогда мы опрометью, не успев ни как следует застегнуться, ни шапки нахлобучить, хорошо

еще, если не босиком, сломя голову понесемся из избы. Вопя от радости, мы встретим брата у садовой изгороди — заиндевевшего, с белыми бровями и волосами, румяного, закаленного. О, как он обрадуется, увидев нас! Сцепившись за руки, подпрыгивая, мы ввалимся в избу, и тут начнутся нескончаемые разговоры, рассказы, ликование! Мама принесет редкому гостю поесть — подогретый свекольник, кусочек селедки (в субботу мяса нельзя — пост), еще какие-то лакомства. А мы жадно будем глядеть на ранец, поставленный в красном углу, под образами, у локтя обедающего брата. Мы знаем, что в ранце — братнины книги, литовские и русские, с замечательнейшими картинками, закапанные чернилами, пахнущие чем-то городским, далеким и неведомым. Здесь его тетрадки, исписанные большими и малыми буквами, разными значками, исчерканные красными чернилами. «Это учитель проверял, сколько ошибок в диктанте», — серьезно скажет Пиус. Этот учитель кажется нам страшно ученым, вообще необыкновенным. «И поставил мне кол», — скажет Пиус, показывая нам красную палочку под писаниной.

— А что такое кол? — спрашиваю я, сгорая от любопытства.

— Пойдешь в школу, узнаешь, — говорит Пиус, отобрав у меня тетрадку и запихивая ее обратно в ранец.

Когда в избу приходит отец и зажигает лампу, начинается самый интересный вечер недели. Пиус сидит за столом, ученый, чинный, всезнающий. Он вытаскивает из ранца какие-то цветные картинки. Наклеив их на другую бумагу и посплюнув палец, он трет прилепленную бумажку. И чудо: картинка отпечаталась на бумаге, будто была на ней нарисована. Иногда Пиус извлекает из кармана большие темно-коричневые стручки и дает нам попробовать. Стручки называются хлебом святого Иоанна, они на редкость вкусные. Вкусны и фиги, которые в те времена, правда, мы пробовали всего раз-другой.

А какое наслаждение листать книги Пиуса и разглядывать картинки, которые он иногда раскрашивает цветными карандашами! Картинки-то в книгах напечатаны только черной краской, и их надо раскрасить, тогда они куда интереснее. На картинках бывают презанятные вещи: реки, костелы, арапы (это такие чернолицые люди), овцы, волы, гуси, мальчишки, бегущие за колесом, девочки, качающие кукол, как наша Забеле или Кастанция. Иногда брат начинает читать книгу, а мы ничего не понимаем, хоть слова звучат красиво.

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,—

читает брат и объясняет нам, что это значит по-литовски. Все это нам внове.

Но вечер, какой он ни интересный, пробегает быстро. Сон, хочешь или нет, всем нам смежает глаза. Родители тоже с интересом слушают рассказы Пиуса и разглядывают книги и тетради (отец хорошо умел читать по-литовски), однако приходит пора укладываться спать. Это страшно, потому что завтра родители поедут в Любавас, в костел, и увезут Пиуса, которого мы снова не увидим целую неделю, а то и две: иногда учитель задает много чего выучить или написать, и тогда Пиус в субботу не приходит из Любаваса. Засыпая, мы еще долго слушаем рассказы Пиуса — он спит на лежанке, а мы — тут же в чулане, на кровати.

Неумолимо настает утро. Оно какое-то торжественное, иное, чем обычно. С кухни доносится запах мяса, квашеной капусты.

Мы живо выскакиваем из кровати — не потому, чтоб так уж хотели есть, а потому, что знаем:

Пиус сегодня уезжает. Встает и он — невеселый, озабоченный. Он знает, что его побывка дома кончается, что он снова будет долго среди чужих, что его снова будут ставить на колени на горох и колотить линейкой по ладони, что его тетради учитель исчеркает красными чернилами и внизу поставит кол. Он нам уже с вечера сказал:

— Знайте — если я, уходя, скажу «ку-ку!», значит, в следующую субботу приду, а если «ква!» — то не ждите меня...

Проснувшись спозаранку, я с беспокойством вспоминаю слова брата. Да, страшно, если он, уезжая, крикнет «ква!» — тогда долго не видеть мне моего любимого брата, не пробовать хлеба святого Иоанна, не листать удивительных книг и тетрадей... Когда мы садимся за стол и хлебаем из одной глиняной миски дымящиеся вкусные щи, я то и дело гляжу на Пиуса и вижу, что он едва сдерживает слезы. И у меня самого с трудом лезет кусок в горло!

Мама завязывает в платок сало, каравай хлеба.

— Повезу для Калинаускене, — говорит она. — И гороху положила — пускай сварят, в который день скромного кушать нельзя. А картошка еще должна быть — в то воскресенье ведь возили...

Пиус ничего не отвечает. Хоть он и говорил нам, что ему только дома все вкусно, но, кажется, ест он сейчас без всякой охоты.

Наконец позавтракали. Отец ушел закладывать лошадей. Мы слышим — лошадки ржут, сани подъезжают к крыльцу. Мама, уже надевшая ради костела свои благоухающие наряды, вынутые из сундука с приданым, хочет закусать Пиусу теплым платком уши и голову. Он, как всегда, сопротивляется:

— Баба я, что ли? Чтоб все смеялись, да?

— Погоди, хоть сермягу возьми! — предлагает мама. — Накинешь в сани, а то еще простынешь насмерть в такую стужу...

И она снимает с гвоздя сермягу, в которой отец ездит в лес.

Дверь отворяется, в нее вваливается со двора, облако морозного воздуха, в котором появляется заиндевевшая голова отца.

— Ну, пошли, еще в костел опоздаем, — говорит он.

Пиус неохотно, словно страшную тяжесть, поднимает с лавки свой ранец. Шагает за мамой. Мы напряженно, тревожно ждем, что же он скажет. Остановившись у самого порога, натягивая на уши треух, он оборачивается, глядит на нас жалобным взглядом и вдруг безнадежно кричит:

— Ква!

Мы — братья и сестры, — услышав это роковое слово, с визгом, вопя на разные голоса, несемся к двери, чтобы догнать Пиуса, задержать его. Но уже поздно. Пиус за дверью. И тут же раздается цоканье лошадиных копыт по льду — сани выползают со двора.

ГИБЕЛЬ СДОБНОЙ УТКИ

— Господи, господи, опять этот ребенок хворает, — озабоченно говорила мама, стоя в чулане у кровати. — Опять в жару. Не знаю, за что и хвататься...

— А что такому? — успокаивала ее тетя Анастасия. — Такие, коли и помрут, так и будут летать на небеси с ангелочками. Ведь, можно сказать, на такой христианской душеньке-то и греха еще нету. — Она всегда говорила, как по молитвеннику.

— Думалось, в том году краснухой переболел, корью хворал, этим коклюшем сколько времени как маялся, так уже хватит. Да где там! Опять горе...

— Не оспа ли часом, — сказала добросердечная Адомене из деревни Гульбинавас, пришедшая за мотовилом. — Смотрите, ребенок весь в сыпуге. А я будто чуяла, что в вашем доме хворый, вот и сахарку прихватила.

Из уголка белого платка (Адомене — чистюля, и вечно от нее пахнет то ли ромашкой, то ли липовым цветом) она вынула два кусочка сахара и положила на подоконник.

— Может, мальчик чайку захочет или так пососать сладенького... — сказала она, и от ее доброго лица, от ее красивого, спокойного выговора мне стало куда лучше. Мне так хочется, чтобы тетя Адомене сидела здесь целый день, чтобы она снова положила на мой разгоряченный лоб прохладную свою руку. Она такая же добрая, как и мама, а иногда кажется даже добрее.

Мне все время не по себе. Изредка ясно различаю маму, тетю Анастасию, братьев, которых ко мне не подпускают — как бы не заразились. Иногда мне до того худо, что я перестаю соображать... Вокруг все кружится, валится, плывет. Вот мне кажется, что Бабяцкасов Альбинас, навалив полную тачку сушеных сыров, везет их и вдруг вываливает в лужу. Мне жалко эти сыры. Я кричу, угрожаю ему, чтоб он не делал глупостей. А он показывает мне язык. Я хочу надавать ему по шее, но Альбинас куда-то исчезает. В это время Андзюлявичюсова Забелюке отворяет калитку нашего огорода, и свиньи бегут в картошку. Я знаю, что они потравят картошку, и кричу на свиней, на Забелюке, но она не обращает внимания, и все идет своим чередом, пока снова все не исчезает, и я вижу печь. Там сидит кот и умывается передней лапой. Я знаю, что это к гостям. И на самом деле в избе, за стеной, набилось много незнакомого народу. Их я не вижу, но ощущаю висящую в воздухе тревогу, вызванную гостями, потому что в закуте, в углу избы, не своим голосом блеет овца, бебекают ягнята, лает пес, хотя я сознаю, что в избе его быть не может — он же привязан около хлева. Страшный гам продолжается, как мне кажется, целую вечность, но гости в мой чулан не заходят.

Не знаю, сколько времени проходит, пока я начинаю понимать, что творится вокруг.

Открыв глаза, я ищу сперва тетю Адомене, но ее уже нет. Вижу только сухонькое, сердитое личико тети Анастасии, склоненное над книгой псалмов. Тетя глядит в книгу и незвонким, унылым голосом тянет:

Глянул в окошко —

Ястреб подлетает,

Курицу цапнул,

Перья выдирает.

Так, бедный грешник,

Черт твою душонку...

Песня ее мне сильно не нравится, не нравится она, видать, и маме, потому что я слышу ее:

— Что ты тут, Анастазия, вздумала мальчика отпевать... Будто не видишь, что сегодня он уже веселее, чем третьего дня. Видать, все идет к лучшему...

— К лучшему не к лучшему, а молитва никогда душонке не повредит, — говорит тетя. — Молитвой даже хворь выгнать можно. Сила у молитвы неизмеримая. Будто не знаешь, что ксендзы говорят?

Они еще долго толкуют, даже, кажется, спорят. Мама подносит к моим губам кружку с теплым чаем, и я чувствую, как першит в горле, когда я глотаю сладкую водичку. Чай, наверное, подслащен сахаром, что принесла Адомене.

Шло время, и я сам уже чувствовал, что иду на поправку. Не так болело тело, и, кажется, больше не бредил. Все сильнее манили меня мир и его вещи. Пиус подарил мне новую коробку с выдвигающей крышкой, полную разноцветных камешков. Потрясешь коробку, и камешки в ней бренчат. А то еще вынешь эти камешки и разложишь перед собой на ветхом, в красных латках, одеяле. Или даже сунешь по нескольку штук в рот и чувствуешь приятный холодок, хотя мама и запрещает это делать и грозитя отобрать камешки.

Кастанция — шутка ли сказать! — подарила мне свою куклу с фарфоровой, покупной головой. Не желая обидеть сестру, я ее взял, хоть подарок мне не понравился: я же не баба, чтоб с куклами играть! Так что куклу я засунул куда-то на дальний конец кровати и закрыл одеялом — пускай лежит, пока не выздоровею. А потом верну сестре или отдам Андзюлявичюсовой Забелюке.

В один прекрасный день я почувствовал себя гораздо веселее. Кажется, ничто у меня больше не болит. Я лежу и смотрю в потолок, дивясь, что каждый сук в доске на что-то похож: один — на человеческий глаз, другой — на петушиный гребень, третий — на какого-то зверька, веселого и проворного, — не на ласку ли. Окно чулана оттаяло, и в него видны черные, вылезшие из-под снега лоскуты пашни и солнечное, синее небо. Братья целый день носятся по полю, прилаживают на бурлящих канавах маленькие мельницы, с Часовенной горки мне уже принесли распутившуюся вербу.

Но больше всего я обрадовался, когда однажды дверь чулана отворилась и, в длинной, до пят, сермяге, подпоясанной красным кушаком, в треухе с опущенными по-зимнему ушами, вошел отец. Он только что вернулся из города. Раскрасневшийся, веселый наверно, что-нибудь хорошо купил или продал. Маме он подал прусский платок, тете — кусок душистого мыла, моих братьев оделил длинными леденцами, завернутыми в блестящую бумагу. А мне достался самый роскошный подарок — сдобная утка. Утка эта была средней величины, так с двухмесячного утенка с головой, даже с леденцовыми красными глазами, с шеей, крыльями. Не хватало только лап, потому что их, наверное, трудно было вылепить из теста.

Утка сидела на табуретке у моей кровати, гордо вскинув свою сдобную голову, — вот-вот закрикает — и посматривала на меня своим красным глазом, красивая на удивленье. Сколько ни гляди, не наглядисься.

Подошли братья, хотели потрогать утку, но я схватил ее обеими руками, прижал к груди, и все их мольбы были тщетны — утки я из рук не выпускал. Даже ночью я спал, обняв обеими руками этот подарок, и мне казалось, что утка живая, что она, как все утки, пушистая и теплая. Проснувшись утром, я снова положил ее рядом с собой на табурет, и снова она

дружелюбно и приветливо посматривала на меня. Мне казалось, она очень довольна, что я ее так люблю и никому не разрешаю к ней прикасаться. Отец, увидев на следующий день, что утка все еще на табурете, сказал:

— Я думал, ты ее уже съел... Выходит, у тебя есть терпение, сынок, раз так долго выдержал.

— Я ее есть не буду, — ответил я, — утка ведь живая...

— Ну да, верно, она живая, — ответил отец. — Увидишь, еще и яйца будет нести...

Сидевшие за столом мои братья почему-то захихикали, но отец прикрикнул на них:

— Хорошо, что ребенок утку любит. Кто любит скотинку, из того выйдет хороший человек.

— А мы ее все равно зарежем, — спокойно и упрямо сказал Юозас, который вообще любил всякое такое — топил и вешал кукол сестер, однажды даже понес топить котят. Правда, не утопил, вернулся от торфяной ямы в слезах, но все-таки... Да уж, такой может и мою утку зарезать.

— Я тебе покажу резать! — прикрикнул на него отец. — Отведаешь ремня, будешь знать...

Я снова снял с табуретки свою уточку. Нет, ни за что на свете не отдам я ее братьям. Сунул ее к себе под одеяло и только изредка вынимал, чтобы проверить, не хочет ли она поклевать или выпить. Я кормил ее хлебными крошками и поил чаем. Я был уверен, что она и клевала и пила. А однажды Пиус приподнял одеяло на моей кровати и вытащил оттуда яйцо.

— Утка яйцо снесла! — закричал он и показывал всем находку.

Все в избе покатались со смеху. Я было поверил Пиусу, но мама отняла у него яйцо и сказала:

— Чтоб у меня не брали яйца из шкафчика! Растащите, а на пасху разговеться будет нечем.

С каждым днем мне становилось все лучше. Правда, сильно чесалось лицо, и мама ласково говорила:

— Дай, сыночек, я тебе обвяжу ручонки, чтоб не болело...

Она обматывала полотенцем мне руки, и я только много позднее узнал, что она это делала из боязни, как бы я не расчесал лицо и не остался рябым.

А моя утка жила со мной в кровати. Никому я не позволял к ней притронуться. Иногда я клал ее под подушку, но братья говорили, что она там задохнется, и я снова вытаскивал ее и сажал на табуретку. Однажды Юозас так долго канючил, чтоб я дал ему эту утку подержать, что я не вытерпел и дал. Через минуту он мне принес ее, разрезав вдоль надвое.

— Ты — дурак. Видишь, утка-то твоя из булки. А тебе кажется, что она живая. Вся уже высохла, как камень. Давай съедим ее скорее, а то еще собаке придется выбросить.

Увидев, что случилось с уткой, я залился слезами. Боже мой, может ли быть горе больше! Моя красавица, моя замечательная утка раскроена пополам, и брат режет ее на мелкие кусочки. Прибежали сестры.

— Ну и дурак, — приговаривал Юозас, показывая им разрезанную утку. — Есть тут из-за чего выть! Еще немного, и заплесневела бы, собака и та бы не стала есть. А теперь мы все ее дружно слопаем. Ну-ка, возьмем по кусочку, — предложил он сестрам.

Мне было и удивительно и досадно, что сестры брали по кусочку от моей утки и как ни в чем

не бывало совали в рот.

— Не реви, лучше попробуй, какая вкуснота, — сказал Юозас, протягивая мне утиную голову с красными леденцовыми глазами. Я попробовал. Голова утки и впрямь была вкусной, только малость жестковатой. — Ешь, ешь, — торопил брат. — Твоя утка совсем могла сгнить, хорошо, что я ее разрезал...

Так мы и съели мою сдобную, мою замечательную, живую утку! Но я еще долго ее вспоминал. А когда снова пришла тетя Адомене, как всегда пахнувшая ромашкой, я ей сказал:

— Мне такую красивую утку папа привозил из города! Она была из теста, но живая. Мы ее съели.

— Какая жалость, — сказала тетя Адомене. — Ты бы ее мне показал. Ну ладно. Наши утки на яйцах сидят. Когда высидят, ты придешь в Гульбинавас, и я тебе подарю живого утенка. Хорошо?

— Спасибо, тетушка, непременно приду.

Она снова развернула угол платка, вынула кусочек сахара и подала мне. Потом положила руку мне на лоб.

— Не говорила я, что жар спадет? — сказала тетя Адомене маме. — Видите, ребенок скоро будет совсем здоров.

— Я тоже так думала, — ответила мама. — А вот Анастазия сколько вечеров свечу теплила, все твердила, не жилец на этом свете.

— Да и мой Ляксандра, что теперь в Америке, когда-то тоже вот так — уже вроде и хоронили, а вот поправился, да еще таким силачом стал, что никто против него выстоять не мог. И теперь, говорят, самую тяжелую работу там на ихних фабриках делает, только вот писем что-то давно нету.

Мне было так хорошо слушать тетю Адомене! Голос у нее тихий, ласковый, убаюкивающий. И я все больше забывал свое горе — гибель сдобной утки.

За окнами уже маячили ветви деревьев с нежно-зелеными завязями, они звали встать поскорее и бежать в поля, где меня ждут птицы, облака, ивовые свирели. Шла весна.

ВЕЛИКИЙ ГРЕШНИК

Мама принесла мне чистую холщовую сорочку и воскресную одежду. Она, как и та, что я носил каждый день, была сшита из домотканой пестряди, но не сравнить с той — чистая и незалатанная. Я бежал по тропинке впереди мамы, веселый и счастливый — сегодня мне предстоит увидеть и услышать такое, какого еще никогда не приходилось. Мама вела меня в Любавас к ксендзу учить катехизис и готовиться к первому причастию.

По правде говоря, тетушка Анастазия уже хорошенько подучила меня вопросам веры: каждое утро и каждый вечер я вслух твердил молитвы, знал, что такое троица, страшно боялся чертей, краснозубых, сидящих за печью, и ангелов, которые ходят за людьми по пятам. Бывало, бегу через поле или пасу скотину и вдруг испуганно оборачиваюсь — что, если у меня за спиной прячется ангел? Тетя говорила, что ангелы нас охраняют и любят, но ее рассказам я не очень верил: откуда знать, что ангелу взбредет в голову? Раз уж он ни на шаг

не отходит от человека, лучше поостеречься...

Был светлый, теплый день. Вдоль тропинки цвел горох. Молнией разрезая небо, проносились стрижи; чирикали, стрекотали и пели на всякие голоса птицы, жужжали пчелы, а деревья бросали длинные еще тени на хлеба и луга, на дорогу и тропинки.

Еще издали, от скайсчяйского поместья, отчетливо был виден край местечка и торчащий на высоком холме за деревьями костел с устремленными ввысь башнями. По тетиним и маминым рассказам я уже знал, что в алтаре костела находится чудотворный образ пресвятой девы из Трямпиняй. Да, образ был из нашей деревни! Теперь эти рассказы забыты, но когда-то все говорили, что на Часовенной горке однажды утром нашли висящий на дереве образ пресвятой девы. Люди сняли его с дерева, отнесли в Любавас и поставили на алтарь. Но образ чего-то не успокоился. Ночью он вернулся на прежнее место. И так он проделывал семь или девять раз. Тогда люди всю дорогу от Часовенной горки до Любаваса выстлали холстами и забросали цветами, а ксендзы нескольких приходов несли образ с пением и кадили ладаном. С той поры образ больше в деревню не возвращался. В Любавасе он даже стал чудотворным, как был чудотворным и источник — я еще сам помню, как он журчал из Часовенной горки. Говорят, этот источник излечивал людей от всяких болезней. У помещика-татарина была любимая собака, которая захворала. Барин велел собаку искупать в чудотворном источнике. Собака выздоровела, но источник с той поры утратил свою чудодейственную силу. Наконец он почти совсем иссяк, и люди завалили его камнями и землей. Я не помню, чтобы в мое время пресвятая дева Трямпиняйская сотворила какое-нибудь чудо. Наверное, времена ее могущества тоже миновали. Позже, в первую мировую войну, в Любавасе сгорел деревянный костел вместе с чудотворным образом. Я никак не мог понять, почему всемогущий боженька не спас от пожара костел или хотя бы образ своей матери.

Но так я рассуждал несколько лет спустя. А теперь мы с мамой приближались к местечку. Было тепло. Мы шлепали босиком, как и все, кто шел в это утро в костел. Мы с мамой поспели как раз к мессе. В костеле было скучно, от долгого стояния ныли бока, но я с удовольствием слушал, как поет органист, подыгрывая себе на органе. Может, пел он и не бог весть как, но музыка органа гремела так, что казалось — ее можно услышать даже в нашей деревне.

После мессы мы с мамой уселись под вековыми липами, от которых пахло медом. Честно говоря, нам уже хотелось есть. Через какой-нибудь час вся толпа женщин с детьми собралась во дворе костела у подножия каменного памятника. На этот памятник ксендз, как рассказывала мама, несколько лет собирал приношения. На нем под крестом была надпись не по-нашему: «In hoc signo vinces».[3] Никто не знал, что это значит.

Итак, у этого памятника теперь появился ксендз, но не тот, который служил перед алтарем. Ксендз — женщины называли его молоденьким — и на самом деле был еще молод, но очень серьезен, черняв, высок, чуть сгорблен в плечах. Он хлопнул в ладоши и довольно тихо, но отчетливо произнес:

— Пустите малых сих ко мне... Пустите малых сих ко мне...

Одни дети шли к нему смело и даже сами, а другие держались за материнские юбки. Ксендз заулыбался и снова хлопнул в ладоши. Потом он опустился на колени, дал знак и нам. Мы тоже опустились на колени. Он говорил молитву, а мы повторяли за ним. От волнения, от непривычки к такой толпе я не мог уловить смысла его слов. К счастью, молитва скоро кончилась, ксендз поднялся, встали и мы.

— А теперь посмотрим, что вы уже знаете, — сказал ксендз и ткнув тоненькой палочкой в рыжего рябого мальчика, стоявшего под кленом, спросил: — Скажи-ка мне, что такое троица?

— Три бога, — не моргнув глазом ответил рыжий.

— Твоя матушка плохо тебя научила, — чуть покраснев, сказал ксендз. — Вот мне сейчас скажет этот мальчик, — он ткнул палочкой прямо в меня: — Он, без сомнения, знает.

Ну, конечно, я знал! Может, раз сто мне вдалбливала это в голову тетушка. И я, не колеблясь, ответил:

— Един бог в трех особах.

— Хорошо, хорошо, мальчик. Только мы теперь говорим красивее — не в особах, а в лицах. Запомните, детки, в лицах. Ну, повторим теперь все: един бог в трех лицах.

— Един бог в трех лицах, — загудели дети вместе с мамами.

— А как они называются? Кто знает, поднимите руку.

Дети оторопело глазели на ксендза. Поощренный первым успехом, я поднял левую руку. Заметив это, ксендз сказал:

— Только правую поднимайте, детки, не левую. Ну, ну, мальчик... — и он опять ткнул в меня палочкой.

— Отец, сын, — смело ответил я, но вдруг позабыл, что дальше, и никак не мог вспомнить, хоть убей.

— Хорошо, хорошо, — улыбнулся ксендз, — ну, а дальше — кто знает?

Теперь подняла руку веснушчатая, худенькая девочка. Все удивились ее смелости.

— Ну, ну, девица...

— Отец, сын и дух святой, — выпалила девочка и зарделась, как земляника.

— Хорошо, девица, хорошо тебя научила матушка. А теперь, детки, повторим за мной: отец, сын и...

— ...дух святой, — загудели ученики и их мамы.

— Мамы пускай не повторяют. Мы теперь говорим с малышами, — сказал ксендз.

На следующий день мама не смогла идти в местечко, и я отправился в путь с Юозукасом Андзюлявичюсом. Юозукас хромой, но тихий и хороший мальчик, мы с ним всегда ладили. Правда, он куда хуже меня разбирался в вопросах веры, и я, топая с ним по уже знакомым тропинкам, втолковывал ему катехизис, за что он угощал меня прошлогодними орехами.

Ученье шло без особых приключений. Если погода хорошая — мы занимались под деревьями во дворе, если заладит дождь — сидели в костеле. Внутри звонче, чем на дворе, гремел голос ксендза, и мы даже дышать боялись — до того все было слышно.

Приближалось время исповеди и причастия. Это уже куда серьезнее и страшнее.

Ксендз объяснил нам, как считать свои грехи, как вести себя у исповедальни. Он даже репетировал: сядет в исповедальню, а мы по одному подходим к окошку, крестимся, ладонью или шапкой закрываемся от костела, чтоб те, кому не надо, не слышали наших грехов. Однако мы должны были рассказывать ксендзу вымышленные грехи, так как это — он несколько раз подчеркнул — всего лишь проба, репетиция. Не знаю, как другие, но мне становилось все больше не по себе — ведь я знал, что приближается час настоящей

исповеди, когда придется исполнить страшный, неприятный долг — исповедаться в своих грехах.

Как только ксендз возвестил, что в следующую субботу мы пойдем уже к настоящей исповеди, меня охватило беспокойство. Я хорошо знал, что не сказать про какой-нибудь грешок и утаить его — само по себе смертный грех, и если вдруг умрешь с таким грехом на совести, то угодишь прямо в ад, где, как объяснял молодой ксендз, веки вечные слышится плач и скрежет зубовой. А тетушка твердила, что там черти тыкают вилами души нехороших людей, варят их в смоле, поджаривают на сковородах, что бесы там скачут от радости, испуская из пасти горящую и зловонную серу. Еще больше укрепились все это во мне, когда я глядел в полутьме костела на страшные картины, где изображен был Христос, окровавленный, измученный, влачащий невыносимо тяжелый крест, — и все это за наши грехи! А что я скажу ксендзу, когда приду к исповеди? Не умолчу ли о своих страшных деяниях? Я считал себя великим грешником и чувствовал, как грехи отягощают мою душу.

И вот я перед окошком исповедальни. Сначала все шло вроде гладко. Я восславил Христа, перекрестился, шапчонкой отгородил голову от костела. Но когда настало время исповедаться в своих грехах, мне в голову вдруг полезли всякие небылицы. Ведь я же знал, что не загонял скотины в соседские хлеба, но все-таки сказал про это ксендзу, а тот принялся уточнять:

— Сколько раз это делал?

— Три раза, — ответил я.

— А-а, три, говоришь. Неладно, сынок. А еще? В чем еще согрешил?

Вдруг я вспомнил, что однажды мама, рассердившись за что-то на меня, схватила лежавшую под рукой веревку и хотела отлупить. Защищаясь, я закрылся рукой. Теперь я решил, что тогда совершил страшный грех.

— На родителей руку поднял, — сказал я мрачно.

Ксендз заерзал в исповедальне, подсунул ухо поближе к решетчатому окошку и переспросил:

— Что, что говоришь? На родителей?..

— На родителей руку поднял, — настойчиво повторил я, чувствуя себя закоснелым преступником.

— А сколько раз?

— Два раза, — ответил я не моргнув глазом, и мне уже казалось, что я поднимал руку не только на маму, но и на папу.

— Неладно, сынок! Если таким малышом уже руку на родителей поднимаешь, что-то будет, когда вырастешь? Ведь родители тебя родили, растили, а ты? Ты руку на них поднимаешь?! Знаешь — вот из таких детей, что родителей не почитают, и вырастают разбойники, головорезы. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил я, и мне казалось, что лучше бы сквозь землю провалиться, чем еще хоть раз совершить такое страшное преступление. Я уже вообразил себя, отпетым головорезом, для которого нет ничего святого, — кого хочешь могу ограбить и зарезать.

Вдруг я заметил, что ксендз почему-то улыбается, и у меня чуть отлегло от сердца. Однако предстояло признаваться еще в одном грехе.

По правде говоря, идя к исповеди, я никак не мог понять, грех это или нет. Все-таки я решил не утаивать от ксендза, ведь сокрытый грех — самая страшная опасность для души.

— Я домой подковку принес, — сказал я.

— Какую подковку? — спросил ксендз.

— Такую, с башмака, что мужчины носят или солдаты.

— А где ты ее взял? — заинтересовался ксендз.

— Нашел на дороге и принес.

— На какой дороге нашел?

— Что мимо нас в гору идет, — объяснил я.

— Надо отдать тому, чья она была, эта подковка, — сказал ксендз.

— Но я же не знаю, кому отдать, — оправдывался я.

— Надо украденную вещь вернуть. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил я, уже всерьез веря, что эту подковку, которая мне так понравилась и с которой я столько играл, я на самом деле украл.

— Для очищения грехов сотворишь «Богородицу»... И кайся в грехах, сынок... Бей себя в грудь...

Я каялся и бил себя в грудь и творил, творил молитвы без конца. Когда я отошел от исповедальни, вроде полегчало, но вместе с тем я понимал, что исповедь получилась нехорошая, что я наплел ксендзу кучу небылиц. К причастию, однако, ксендз меня допустил.

Вернувшись домой, еще в тот же день я свою драгоценную подковку отнес и положил обратно на дорогу.

Несколько дней меня мучили угрызения совести за то, что я наплел ксендзу про несуществующие грехи, наврал, — значит, тем паче согрешил... Грехи днем и даже ночью, во сне, преследовали меня, великого грешника...

ОТЗВУКИ ДАЛЕКОГО МИРА

Как узок поначалу мир человека! Сперва это была изба, огонек в очаге. Стены и окна со всех сторон ограничивали пространство, в котором я узнал маму и папу, братьев, сестер, тетю, куриц, расхаживавших по глинобитному полу, овцу с ягнятами, бляевших зимой в углу избы, кошку, обитавшую за печью, и собаку, лаявшую во дворе. Потом границы этого мира раздвинулись. Когда я взобрался на холм у нашей новой усадьбы, я удивился и обрадовался тому, что мир, казалось, не имеет пределов — особенно на юг и восток он уходит ужас как далеко.

На востоке, сразу под холмом, лежало озеро. Оно сверкало и искрилось на солнце, от него во все стороны уходили луга, кое-где испещренные кустами и невысокими березками. Дальше — деревни. Ближайшая из них — Гульбинавас, в купах деревьев, с приземистыми избами, с божничками, приколочеными на березах, а еще дальше синел большой лес. Говорят, он

где-то невообразимо далеко, за самой Калварией. Вот что поразительно: ведь и там живут люди, и туда уходят дороги, а по дорогам этим катятся повозки, поднимая облака пыли, как вот на той дороге, что сворачивает на восток мимо трямпиняйского поместья.

А на юг с нашего холма видно было еще дальше. Не только Часовенная горка, которая торчала чуточку западнее, не только ближнее поместье. Бескрайняя, залитая солнцем равнина тянулась все дальше и дальше на юг, и по пей рассыпались избы и избышки. Чем дальше они, тем меньше. Кое-где на равнине раскинулись сады и небольшие березнячки, сосняки и ельники, заросшие кустарником кручи и дороги, убегающие в неоглядную даль.

— Там уже не наши, — говорил Пюс, — там поляки живут. Вон едва-едва видно, гляди, там два дерева стоят. Между, ними дорога на Сувалки. Туда я как-то ездил с папой...

Господи, вот бы мне когда-нибудь очутиться там, у тех деревьев, а то и дальше — в самих Сувалках, которые и представить себе нельзя! Это, наверное, невиданно огромный, великолепный город. Границы мира раздвигались...

Не знаю откуда, но и братья, и соседские ребята, и женщины знали уйму сказок. Долгими осенними и зимними вечерами мы, бывало, соберемся в новой избе, сядем на лежанку свесив ноги, и обычно в темноте, а то при неяром свете керосиновой лампы кто-то принимается сказывать сказку. Мы, малыши, сидим затаив дыхание, не шевелясь, не смея даже почесать, где свербит. Сердце ныло не только из-за горестей Йонюкаса и Эляните. Нельзя было сдержать слез и когда Штряймикисова Маре, из помещичьих батрацких, уже не в первый раз рассказывала про бедного петушка, которого схватила лиса и уносила все дальше —

по горам высоким

да по можжевельнику... —

в свою лесную нору. Маре сказывала эту сказку, напевая, и от этого пения становилось еще тоскливее на душе.

А какая сказка была про персидского короля, который плыл по морю-океану, пока корабль не остановил рак! Разумеется, никакой это был не рак, а самый что ни на есть бес, обернувшийся раком. Он говорил, что отпустит корабль, ежели персидский король пообещает отдать то, чего дома не оставил. Король решил, что он все оставил дома, согласился с требованием рака, и тот отпустил корабль. Но что же вышло из всего этого? Вернувшись домой, король нашел только что родившегося сына и понял, что его, беднягу, он и пообещал отдать тому страшному раку. И вот королевский сын растет, учится на ксендза, путешествует по неведомым странам, ночует на бешено вертящихся ветряных мельницах, читает волшебные книги и, в конце концов, после разных уловок избегает грозивших ему несчастий. И мы можем вздохнуть полной грудью. Как хорошо все-таки, что на свете есть справедливость и что ни в чем не повинному парню не пришлось бессмысленно погибнуть из-за козней зловредного рака!..

Порою эти сказки веселы, порою грустны, но всегда они волнуют, от них то сильнее бьется сердце, то текут слезы, и хорошо, что в темноте никто этого не видит. Бывало, лежишь уже в постели, давно все смолкло в избе, а у тебя еще долго стоит перед глазами несчастный петушок, которого лиса несет через высокие горы да по можжевельнику, и тебе его ужасно

жалко. А то еще приснится, что ты угодил в ту избу, где собираются двенадцать братьев — черных воронов...

Позднее нам читали сказки из книг. Я помню, как Пиус читал книжонку, в которой были описаны путешествия знаменитого Синдбада. Какие-то отрывки из «Тысячи и одной ночи», популярно пересказанные в дешевых изданиях, ходивших в то время по деревням, оставляли неизгладимый след в душе, заставляли уноситься воображением в неведомые страны, знакомили с людьми, которые жили иначе, чем мы, жизнью, полной приключений и чудес, таких, что просто дух захватывало от одной мысли о них.

Не помню, когда в нашем доме стали появляться книги и газеты. Но уже сызмалу я понял, что отец свято почитает каждый клочок печатной бумаги и не приведи господи, чтобы кто-нибудь из нас порвал газету или книжку! Все они аккуратно стоят на полке в чулане около печи. Старые газеты подшиты в толстые книги, каждая книга, которую отец приносит из Любаваса, аккуратно завернута в бумагу. И мы, и соседи, пришедшие на огонек в нашу избу, с нетерпением ждем, когда отец, закончив свои дела у верстака, принесет из чулана книжку, сядет за стол, опустит пониже лампу, выкрутит фитиль и начнет читать.

Никогда не забыть мне это удивительное ощущение — восторг и огромную радость, когда вся изба слушала спокойный, твердый голос отца:

Что это шелестит? — Листка коснулся ветер,

Иль птица, что в гнезде проснулась на рассвете.

Что хрустнуло? — То волк, охотясь и кочуя

Всю ночь, теперь бежит, зари погоню чуя.

Кто это там стучит? — То дятел с клювом тонким.

Кто блеет там? — Бекас, что с голосом козленка.

Чей это злобный шип? — Гадюки шип зловещий.

Зеленою волной Швентойи в берег плещет.[4]

Когда отец замолкал и поднимал глаза на людей, рассевшихся на лавках и на скамье, все какое-то время молчали, а потом кто-нибудь из гостей — будвечайский Скамарочюс или Трячёкас из Гульбинаваса, роясь в карманах в поисках трубки и все-таки воздерживаясь от курения, обычно говорил:

— Пропади ты пропадом, братец, ну и описать же так!.. И этот Тамошюс читает-то до чего складно...

— Что и говорить! — подхватывает обычно Адомене из Гульбинаваса. — Кажись, целую ночь бы слушала да слушала. А теперь, Тамошелис, почитай, как там было с этой Дрежасовой Катре... Намедни идем домой от тебя, все бабы, и вздыхаем: святая правда описана, все будто из нашей жизни...

Отец читает дальше «Сноху» Жемайте — с того места, где остановился в прошлый раз. Мы все, большие и малые, словно видим Йонукаса Вингиса и его отца и их запущенный ветхий дом. Дрежасова Катре уже в новом доме, где никто ей не посочувствует. Описанные в рассказе люди ведут себя и говорят так же, как люди нашей деревни, хотя ясно же, что не наша деревня описана. Да и слова попадаются незнакомые, не из нашего говора. Отец читает, а в избе то и дело звучат возгласы жалости или удивления, и снова — тишина, только кашляет простуженный Белюнас да сопит носом Микулёнене. И когда отец дочитывает рассказ, все жалеют Катре.

— Что и говорить, — снова отзывается Адомене. — Святая правда! Коли муж плохой, то все плохо, жизнь и та не мила. Будто сами не насмотрелись всякого такого! Одна ли баба раньше сроку со свету ушла?

Остальные женщины поддакивают. Мужчины кричат; кажется, они и хотели бы возразить, но слишком взволнованы, ничего путного не скажут. А отец листает газету и, хитро поглядывая на собравшихся, говорит:

— А теперь почитаю-ка я про войны...

Он читает про войну, идущую далеко, в какой-то горной стране. Неизвестные нам люди, которые воюют, называются сербами и болгарами, черногорцами и греками. Воюют они вроде бы с турками, которые всячески притесняли этих сербов, черногорцев и прочих... Отец читает, как турки, ворвавшись в какое-то местечко, резали и расстреливали женщин и детей... Где-то еще они сожгли большое поместье, и мне почему-то чудится, что война идет неподалеку, за трямпиняйским поместьем... В газете есть и картинки: вооруженные солдаты с ружьями, к ружьям прилажены еще и штыки... На других картинках видно, как посреди поля взрывается бомба и во все стороны валятся убитые солдаты. Все это очень страшно. Когда отец замолкает, Микулёнене спрашивает:

— Тамошелис, а как вот, по-твоему, до нас эти войны не доберутся?

— А кто их знает? — неопределенно отвечает отец.

— Не приведи ты господи такого кровопролития... — говорит Трячёкас; у него скрюченные пальцы — рука попала в молотилку. — Одного человека убивают, и то глядеть страшно, а тут... Иду вчера с базара, из Калварии, и гляжу: около Скаршке — толпа народу, плач, вой. Подхожу — Бирштонукас из Мянкупйя убит. Лежит на снегу, голова пополам расшиблена, мозги вывалились, смотреть страшно! Дорогу мужики чинили, выпили малость, повздорили, говорят, из-за какой-то девки, и один как бахнет Бирштонукаса по голове!.. Видел и того, убийцу, — руки связаны, белый весь, сидит посреди мужиков на бережку канавы и скулит сквозь зубы: «Убейте, слышь, и меня, жизнь мне не мила, когда лучшего своего приятеля без нужды угробил». А народ ждет жандармов, чтоб преступника забрали...

От рассказа Трячёкаса аж мурашки по спине бегут. Всякое бывает в наших деревнях, но чтоб человека убить — это по тем временам дело такое редкое, такое страшное, что и представить трудно.

— Ты уж, Трячёкас, лучше бы помолчал... А то при детях о таких страхах рассказываешь! Понятия у тебя нет... — говорит мама. — А вы, дети, пошли спать, чего тут расселись? — сердито обратилась она к нам, прикорнувшим на теплой лежанке.

Я после такого рассказа не только боюсь вечером выйти за дверь, но даже ног с лежанки не могу спустить. А мир-то, оказывается, полон ужасов — не только краснозубых чертей, ангелов, волшебниц-лаум, но вот и такого, о чем рассказал Трячёкас...

Но слушать рассказы взрослых не только страшно, а и невероятно занимательно... По

просьбе тех, кто еще не слышал, отец снова листает газеты и находит описание гибели «Титаника». Я уже это знаю, но снова превращаюсь в слух, боясь пропустить хоть одно слово. А он читает, как пароход плыл ночью по океану, в котором вздымались и опускались горы волн, какой он был большой и красивый, как вдруг над водой воздвиглась ледяная гора, но корабль уже нельзя было остановить... «Титаник» столкнулся с ледяной горой и переломился. Поначалу пассажиры отказывались верить, что такой замечательный корабль, какого еще никогда не было, может утонуть. Но вода ворвалась на пароход, и пассажиры — а их было очень много — перепугались. Дальше отец читал, как на маленьких лодках спасали детей и женщин с корабля, как издали спешили на помощь другие корабли, но они, увы, были слишком далеко... Я прямо-таки видел этот корабль — видел, как он медленно погружается в страшные, черные, шумящие, ревушие волны океана. И дрожал даже, слыша про все это далеко не в первый раз...

Еще рассказывал отец, что видел в Калварии телегу без лошадей. Всех разбирало любопытство — такая это телега, как наши деревенские или антихристова колесница.

— Говорят же, Тамошелис, что антихрист явится перед концом века, — говорит Микулёнене. — Не его ли это колесница? Вот Анилаускене из Юодяляй с дочкой «Адову книгу» читала, читала, и голова у нее помутилась — все добро свое нищим раздала, а сами обе ходят по дорогам и поют песню про Страшный суд... Светопреставленья ждут...

Мы все еще не идем спать. Когда нас, наконец, выгоняют в чулан и я ложусь, мир мне кажется большим, непонятным, страшным. Где-то горят поместья и местечки, рвутся бомбы, тонут корабли, падают убитые люди... Катятся телеги без лошадей... И светопреставление грядет... А еще так недавно казалось мне, что все кончается за стенами нашего дома, за нашими полями, за объятиями мамы и других близких людей. И все казалось мне прекрасным и радостным. Отголоски далекого мира проникали в эту захолустную деревушку, в избу под холмом, погруженную в черную грозную темень зимней ночи.

ОЗЕРО

Наше детство было бы куда скучнее, если бы не озеро. Из дома его не было видно. Но мы ни на минуту не забывали, что оно там, за небольшим пригорком, который мы величали Озерной горой. На этом пригорке почти ничего не росло — там только песок и гравий. До чего хорошо бывало — пробежишь самую малость и видишь: под горой — озеро!

Оно казалось нам большим. Ведь редко кто в деревне переплывал его туда и обратно. Мы, мелюзга, об этом и не мечтали — это было доступно лишь для взрослых, да и то самых хороших пловцов.

На нашей стороне озера был замечательный залив, который мы называли Рукавом. В Рукаве было удобно купаться. Чистое песчаное дно углублялось незаметно, не было ни единой ямки, и не смог бы утонуть даже самый маленький из детей. Летом, когда стояли погожие, теплые дни, сюда, бывало, сходится под вечер вся деревня. Самые малые — те из мужчин, кто еще бегают без штанов — бродят по Рукаву у самого бережка, брызжуются теплой водой и попискивают от восторга. Они не лезут, где поглубже. Если кто и пытается плавать, то сунет под грудь доску или бревнышко и изо всех сил колошматит воду ногами. Те же, кто наловчились плавать, отважно пускались без вспомогательных средств по всему Рукаву и вылезали на хлюпающие кочки в том месте, где Рукав, соединяясь с озером, заметно сужается.

О, какое наслаждение проводить здесь обеденные часы, когда скот прячется от жары в

хлевах! Мы раздеваемся, сбрасываем одежду на кучу камней и, визжа и пища от восторга, сломя голову бултыхаемся в воду, нагретую летним солнцем. Зажав пальцами уши и ноздри, ныряем вглубь. Нырнув, стараемся подольше вытерпеть под водой. Мальчишки побольше, бывало, бегут с берега по поднятой на кольях доске и прыгают с нее в воду: кто вниз головой, кто, как стоял, на ноги. Таких смельчаков мы уважали. Не каждый мог соревноваться с НИМИ.

Вода в Рукаве была чистая как стеклышко. Если нырнешь, не зажмурившись, словно сквозь дым, видишь наверху сияние — это солнце просачивается в глубину. Отчетливо различаешь, как мелькают в воде сверкающие серебром рыбы. Особенно много было карасей и щук. Изредка мужики приносили бредень и, забравшись в воду на левом краю Рукава, где росли купавки, остро пахло аиром, теплым илом и водорослями, забрасывали этот бредень. Потом медленно тасили его за оба конца из воды на берег. Бывало, в бредне металась караси и серебристые щуки, а чаще он был забит водорослями, в которых запутались улитковые витушки, ерзала пиявка да болталась разная дрянь. Рыбачить — дело взрослых, мы только кидались в воду, загоня водных обитателей в бредень, и помогали выбирать пойманную рыбу, хлопающую хвостами в вытащенных на берег водорослях.

Правда, мои братья ловили рыбу сачком. Бредя по хлюпающему мху, рыбак сует такой сачок — сетку, прилаженную на круглую рамку (а рамка — на длинной деревянной палке), — меж водорослей Рукава и иногда, бывает, кое-что зачерпнет. На ночь многие ставили в озере с лодок верши, положив в них жженный бараний рог для приманки.

В окрестных деревнях не найдешь мужчины или паренька, который не умел бы плавать. Уметь плавать в нашем краю было то же самое, что уметь есть, пить, ходить. Казалось, и учиться этому не надо было. Но все-таки, хоть и редко, встречались никудышные пловцы. Таким, скажем, был наш кузнец Юозас Бабяцкас. Почему этот человек, смелый, ловкий, затейник и весельчак, не научился плавать в детстве, как все, так и осталось для нас тайной. Боясь насмешек, он даже не появлялся у озера в те часы, когда вся деревня собиралась купаться. Рассказывали, как однажды Бабяцкас с вечера выплыл на лодке ставить на ночь верши и, поставив их, возвращался назад, но лодка почему-то перевернулась. Всю ночь, уцепившись за нее, Бабяцкас провел в воде и только утром, когда деревня уже была на ногах, кое-как добрался до берега и, страшно умаявшись, с трудом вылез на сушу. Еще долго смеялись над этим все в деревне.

Каждый учился плавать незаметно для самого себя. Но не всегда это давалось так легко. Я помню, меня, мужчину лет четырех, а то и пяти, старшие учили плавать, подсунув под грудь переплетенные руки и приказывая изо всех сил грести руками и колотить по воде ногами. Пока держат, все идет преотлично — так и кажется, что плывешь, как большой. Но только отпустят руки, и ты камнем идешь ко дну, да еще захлебнешься тепловатой водой, и набьешь рот вонючими корнями аира.

Как и другие деревенские ребята, я страшно хотел научиться плавать и изо дня в день плескался в Рукаве. Лучше всего, конечно, получалось, когда я ложился грудью на какую-нибудь доску. Доска сама держит тебя на плаву, тем более если еще колошматишь ногами, вздымая во все стороны брызги. Однажды я довольно далеко таким манером уплыл от берега. Мне казалось, что я уже неплохо плаваю. И тут я нарочно или нечаянно выпустил из рук доску. Конечно, сразу же начал тонуть. Меня захлестнуло толстым слоем воды, в глазах позеленело, я почему-то забыл шевелить руками и ногами и погружался все глубже. Не знаю, сколько времени я провел под водой, показалось, что целую вечность. Очнулся я на берегу. Вокруг меня толпился народ, я лежал, пуская изо рта зеленую слюну, и чувствовал себя гадко. Кто-то крикнул:

— Ничего, видите, уже смотрит! Еще руки посгибайте!

Кто-то схватил меня за руки и стал их сгибать. Я еще несколько раз рыгнул и окончательно пришел в себя. Вспомнил чудные и смешные папины слова: «Дети, коли утонете — смотрите, чтоб не смели у меня домой приходиться!» Я попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Совсем рядом я увидел озабоченные и испуганные лица братьев.

— Ничего, ничего! Будто я не говорил, что очнется? Лезет, лягушонок, в глубынь не умеючи!
— в сердцах говорил старик Кярялявичюс.

Много развлечений и веселья доставляло нам озеро и зимой. Едва застывал первый ледок, мы уже пробовали его прочность и нередко проваливались в воду. Конечно, это случалось на Рукаве, недалеко от берега, и большой беды не было. А как хорошо бегать по льду, когда он уже окреп! Лед зеленоватый, видны замерзшие в нем пузырьки воздуха, травинки, а изредка разглядишь подо льдом даже рыбу, которая ловит ртом воздух. Деревенские, бывало, спешат вырубить проруби, чтоб рыбам было чем дышать. Находилось немало любителей и порыбачить, они в прорубях ловили рыбу сачком или спускали под лед верши. Ведь рыба зимой, особенно в пост, когда нельзя есть скоромного, — самая вкусная еда.

Зимой лед шуршал от десятков санок и коньков. Чтобы смастерить такой конек, требовалось немалое искусство: берешь продолговатую, гладко обструганную колодку, вдоль ее прикручиваешь толстую проволоку. Когда конек сделан, веревками прилаживаешь его к клумпе, в задок второй клумпы вбиваешь гвоздь, чтоб было чем отталкиваться.

И вот на озеро высыпают десятки таких конькобежцев. Мчатся они приседая, подпрыгивая, словно хромые. Но конек скользит, другая нога отталкивается ото льда, и опытный конькобежец, подняв ногу, может, словно ветер, пролететь чуть ли не все озеро. Новички спотыкаются, падают, снова встают и снова падают, — кажется, кто-то нарочно мешает им бегать так же, как и мастерам, которые катаются уже несколько зим. Стоит ли говорить, что покупных коньков в те времена никто в нашей деревне и не видывал?

Однажды, придя на лед покататься, мы увидели далеко, посреди озера, одинокую фигуру. Подбежав на коньках поближе, узнали: это Стялмокасов Антанас из батрацкой поместья. Мы знали, что его мать уже давно хворает, что кроме Антанаса, которому было тогда лет восемь или девять, дома еще двое братьев мал мала меньше, а отец в прошлом году умер — его задавило в лесу деревом, когда он вез бревна для нового помещичьего хлева. Стялмокасы переселились в соседнее поместье откуда-то с польской стороны, поэтому мать говорила с детьми больше по-польски, хоть понимала и по-литовски. Примчавшись поближе, мы увидели, что Антанукас уже прорубил лед топором и сачком пытается ловить рыбу. Рядом с мальчиком валяются и остроги, но, так как в проруби рыб не видать, не стоило и надеяться заколоть хоть одну рыбешку. Трячюкас из Гульбинаваса, зная, что хворающая мать выслала Антанукаса ловить рыбу, крикнул, подражая ей, по-польски:

— Id?, Antek, przynie? ryby, to mnie b?dzie na lekarstwo.[5]

Выдумка нам понравилась. Обступив Антанукаса со всех сторон, мы завизжали, загоготали и заладили то же:

— Id?, Antek, przynie? ryby!.. Id?, Antek, Id?... lekarstwo.

Антанукас ничего не ответил. Он только с тоской поглядел на нас покрасневшими от ветра, зареванными глазами и продолжал делать свое дело. Вытащил из проруби сачок, полный водорослей, в которых извивалась всего одна малюсенькая рыбешка. Мы еще громче расхохотались:

— Id?, Antek, przynie? ryby!.. Id?, Antek... — кричали мы, словно лишившись рассудка.

Антанукас Стялмокас зяб в своей ветхой одежке, его уши покраснели. Из носу текли сопли, а когда мы завопили, из глаз большими горошинами закапали слезы.

— Чего вы хотите? — услышал я его голос. Он поднял на нас глаза и сказал: — Мама хворает. Чего вы от меня хотите?

И, не дожидаясь ответа, взял сачок, остроги и топор и медленно, едва волоча этот еще тяжелый для него инструмент, побрел в сторону батрацкой. Мы долго глядели на него, долговязого, худого, уходящего все дальше и дальше от нас напрямик по полям.

Почему-то прошла охота его дразнить. А когда Бабяцкасов Альбинас еще раз крикнул: «Id?, Antek...», мой брат Пиус топнул ногой по льду и заорал:

— Замолчи! У него мать хворая, а мы... будто звери....

И всем нам вдруг стало до того стыдно, что, кажется, неловко было смотреть друг на друга.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Наверное, самое унылое время года — великий пост, семь недель до пасхи. Поэтому в заговенье бродят по деревьям ряженные в тулупах наизнанку с приклеенными страшными бородами — разбойники, привидения, цапли и медведи, смеша взрослых и пугая, но больше радуя малышей. На заговенье во всех избах клокочут горшки, набитые мясом (если только оно было на чердаке), и домочадцы весь вечер заговенья едят, жуют, или, как говорится, набивают зобы, — ведь каждый знает, что придется долго, ох как долго, голодать!

Уже на следующий день после заговенья наш стол выглядит печально. На нем дымится лишь миска с вареным горохом, а на обоих концах стоят еще две глиняные миски с свекольным рассолом. После такой еды бурчит в животе, а едоки жалуются, что никакой крепости в теле нет. В обед на столе появляется немного варенной в мундире картошки, к которой мама приносит из бочки, что стоит на кухне, квашеной капусты. Хорошо, когда капусту еще помаслят льняным маслом, надавленным на маслобойне в Скаршке. А если его нет, то лишь с великим трудом удастся проглотить эту осточертевшую капусту. После обеда остается заваленный шелухой стол и желание поесть, возникающее с удесятеренной силой.

Мама спорит с тетушкой Анастазией, должны ли поститься только взрослые или и дети тоже. Тетушка побеждает маму, доказав, что, когда она была совсем мала, все «держались поста» и взрослые даже не думали давать детям какие-то поблажки. Душа-то у всех одинаковая, все — христиане да католики, все после смерти жаждут попасть не в страшный ад, а в рай.

Но в этом году в доме — новинка. Отец привез из Калварии бочонок селедок. Он уже издали пахнет крепчайшим рассолом. Бочонок стоит в углу избы. Утром мама подходит к нему, вынимает две селедки, моет их и замачивает в миске — жди, пока она еще будет их чистить! Просто слюнки текут, когда мы видим, что селедки, положенные на покупные белые тарелочки, уже плывут на стол, вокруг которого сидим мы, как говорит тетя, вывесив языки. Взяв свой самый острый нож, отец режет селедки и раздает каждому по кусочку — старшие получают покрупнее, а нам, детворе, достается хвост. Ах, какая это вкуснота, особенно если мама этот хвост еще зальет постным маслом!

— Соли не надо? — спрашивает отец, а нам смешно, что такую соленую селедку кто-то еще собирается солить...

Тетя в пост ходит еще более озабоченная, чем обычно. Мама говорит, что она готовится к

пасхальной исповеди. Бог знает, когда она пойдет к этой исповеди. Но уже теперь она читает что-то из молитвенника или вполголоса в одиночку поет по книге псалмов или «Адовой книге». Мы страсть как любим разглядывать картинки «Адовой книги» — они очень страшные. Сидит себе господин и глядится в зеркало (думает, наверное, что он красавец писанный), а перед ним уже стоит смерть — человеческий скелет с косой. Идет по дороге девушка, почему-то не в руках, а на голове несет корзину с цветами, а рядом с ней снова вышагивает смерть в пышной шапке, в юбочке и с саблей на боку. Это еще не самое страшное. Но вот рогатые черти заливают грешнику поварешкой (такой, как у нашей мамы для супа) смолу в глотку. В другом месте вокруг грешника обвилась ужасная змея и вот-вот схватит его зубами прямо за голову. Еще на одной картинке старый бес вливает грешнику смолу в глотку, а другой, бесеныш, держит в руке маленькую кружку, тоже, наверное, полную этой мерзости, собираясь подать ее старшему. Тетя не запрещает нам разглядывать эту книгу, хотя мама иногда говорит:

— Что ты детям показываешь, потом ночью заснуть не смогут...

— Пускай смотрят, пускай видят, что бывает за грехи. Пускай поостерегутся грешить.

— Какие у них грехи! — пытается выгородить нас мама. — Малы ведь еще.

Вот тетя, опять раскрыв перед собой «Адову книгу», тянет унылым голоском:

Помыслы скверные, злобы кривлянье,

Речи соромные, блуда желанье,

Похоть мерзейшая, нечисть без лика —

Сим я душонке мученья накликал.

Змии да жабы, ужи наседают,

Жрут блудодея, лижут, глотают.

Дует мехами бес пламя в уши

За то, что грешник мерзости слушал.

Если вечером из деревни приходят женщины, тетя рассаживает их вокруг стола и затягивает, глядя в книгу, а другие, хоть и не знают слов, подтягивают простуженными, великопостными голосами:

Хорошо и привольно жилось мне на свете,

Стяжал деньги и не был пред богом в ответе.

И земли и поместий — все было мне мало,

Сеял хлеб, скот держал и скупал что попало.

Ныне вижу, сколь тщетны земные деянья,

Не спасет от кончины меня состоянье.

Ужас до чего не нравятся мне эти песни. Бежать бы от них подальше, заткнув уши, — до того они унылые, тоскливые, до того несет от них смертью и могилой. Но тетя иногда и меня усаживает среди женщин и заставляет петь. Ей кажется, что я не такой отпетый грешник, как мои братья, да и мой голос, по ее словам, неплохо звучит. Некоторые тетины песни, когда к ним привыкаешь, даже начинают нравиться. Вот хотя бы такая:

Сосчитай зверей шерстинки,

Птичьи перья и пушинки.

Чешую добавь всех гадов

И руно со всего стада.

Перечти червей безногих

И траву на землях многих.

Присовокупи, исчислив,

Всех людей слова и мысли.

Дни добавь, что уж минули,

Все часы и все минуты.

Все пред вечностью ничтожно...

В великий пост моего брата Юозаса засадили за ученье. Отец откуда-то достал для него даже особенную книгу — азбуку, без которой раньше все как-то обходились и учились читать прямо по молитвеннику. Юозас же начинал свое ученье интереснее. Сперва, перед тем, как слагать из отдельных букв слова, он читал по складам: «Бе а ба, бе е бе, бе и би, бе о бо, бе у бу».

Так он повторял битые часы подряд. Но видно, это ему страшно надоедало, и, улучив минуту, он засовывал куда-то книгу, а сам удирал во двор. Там он делал хоть несколько кругов по льду (конек он уже заранее прилаживал к клумпе), мчался на гумно посмотреть, как, разостлав на току снопы ржи, отец с Трячёкасом день-деньской бухают цепами, или помогал задавать корм скотине. Отец частенько забывал про Юозасово ученье, но тетя неусыпно следила, чтоб он как можно дольше сидел за книгой, хоть азбука ей не нравилась.

— Тоже выдумали новость! — недовольно ворчала она. — Мы по святым книгам учились, и ничего, в люди вышли. А от таких книг еще, упаси боже, и безбожником заделаешься...

Мне страшно нравилась азбука Юозаса. В ней были славные картинки — лошади и коровы, деревья (у березы стоит ведро, в которое стекает березовица), избы, всадник на коне (под ним надпись «гетман», но во всем доме не нашлось никого, кто бы объяснил, что это значит), змей с разинутой пастью (подпись «дракон» тоже никто не понимал) и какие-то еще, теперь не помню. Одним словом, чудо-книга.

Уходя куда-нибудь, Юозас, по моей просьбе, оставлял на столе азбуку. Стоит ли рассказывать, с каким любопытством я ее листал, десятки раз разглядывал одни и те же картинки и каждый раз находил новые, занимательные! Сидя рядом с братом, я следил, как он, заливаясь слезами от невероятной скуки и въедливости, водил так называемой «дисципулкой» по строкам. Он выцарапывал ею буквы так, что их уже нельзя было разглядеть. Дисципулка — это крохотная палочка из медной с рыжим отливом проволоки с красивыми выкрутасами.

Каждый день то отец, то тетюшка экзаменовали Юозаса. Он должен был на совесть прочитывать целые строчки «складов». Если Юозас не выучил заданного, тетя выкручивала ему ухо или отец снимал ремень, так что ученье было делом серьезным. Наверное, потому Юозас всей душой возненавидел азбуку и говорил мне, что охотно бы сжег ее. Мне было жалко такой интересной книги, и я всячески уговаривал брата этого не делать. Книгу-то он не сжег, но, «сдав урок», то есть прочитав задание отцу или тетюшке (мама в это дело не вмешивалась), сразу же выдирает истыканную вконец дисципулкой и порванную в клочья, а частенько еще и облитую слезами страничку. Таким образом, книга, а вместе с ней и мученья Юозаса хоть на самую малость, но уменьшались. Я часто разглядывал с братом буквы и тоже начал некоторые из них узнавать. Уже отличал «а» от «б», «в» от «г», а позднее выучил и другие, самые диковинные. Отец и тетя со временем заметили, что я и без ученья начинаю складывать буквы в слоги и иногда даже слепляю из них слово. Оба они хвалили меня и ставили в пример Юозасу.

— Теленок же ты, — говорила тетя. — Видишь, этот тебя меньше, а уже начинает читать! А у тебя вся зима попусту пройдет. Азбуку раздерешь, а ни бе ни ме...

Юозас вытирал кулаками потоки слез, дулся на меня, больно пихал локтем, я же с еще большим рвением брался за азбуку.

И, сам тому удивляясь, разбирал уже множество слов. Это было такое чудо, что от радости я не мог заснуть. Мне все время мерещились буквы и всяческие сочетания их, из которых получались понятные, а иной раз и какие-то вроде не наши слова. В субботу, когда из школы возвращался наш старший, Пиус, я спешил показать ему, что выучил, а он удивлялся и тоже хвалил меня. От этой похвалы я совсем таял. Однажды отец сказал:

— Вот тебе детская газета «Ручеек». Если до пасхи сумеешь всю прочитать, получишь три копейки...

До пасхи оставалось несколько дней. По правде говоря, обещанные деньги меня не соблазняли, но чтение увлекало. Люди слонялись по дому вконец ослабевшие, позеленевшие. Кастанция жаловалась, что кружится голова, но тетя ее успокаивала:

— Это от духа святого, доченька. Все от духа святого. Вот пойдешь к пасхальной исповеди, скажешь грехи свои ксендзу, и как рукой снимет...

А я, вытащив из своей укладки «Ручеек», маленькую газетенку в два листа, день-деньской читал ее. Там были стихи про ежа и орла, потом рассказик, как мышки не слушались своей мамы, старой мыши, и вылезли из норы, а там уже их подстерегала кошка. Несколько загадок и пословиц, какие все знали и в нашей деревне. Потом что-то о младенце Иисусе, какой он был разумный и справедливый сызмалу. Было и несколько картинок. На одной — пресвятая дева с семью мечами, воткнутыми в сердце, а на другой — замерзшая речка, лед и катающиеся на нем дети.

На пасху я встал спозаранку. Ни отца, ни тети, ни братьев, как ни странно, не было — они еще не вернулись из костела. Мама раскладывала на столе выкрашенные накануне писанки. Вкусно пахло из кухни, где доваривались мясо, щи на копченом сальнике и разные вкусные вещи. Едва забренчали во дворе бубенцы, я кинулся с печи и помчался было босиком на

улицу встречать возвращающихся, но мама удержала — на дворе еще не растаял снег. Едва в избу вошел отец, пахнувший весной, можжевельником и восковыми свечами, я кинулся к нему с криком:

— Могу, уже могу, папенька!

— Что же ты можешь? — удивился он.

— Весь «Ручеек» могу прочитать...

— Что ж, после завтрака послушаем, — сказал отец спокойно, словно прочитать «Ручеек» — это плевое дело..

После завтрака отец с улыбкой выслушал, как я прочитал почти целую страницу, и признал, что читаю я отменно. Выдал он мне и обещанные три копейки. Весной я их уронил у поместья в грязь.

ПЕРВЫЙ ШАГ ИЗ ДОМУ

Пиус был доволен. Отец сказал, что этой зимой он его не пустит в школу. Нужен помощник дома — задавать корм скотине, молотить, молоть (не возить же каждое зернышко на мельницу!). Вдобавок из дому ушел Юозас. Он занял место Пиуса в школе и у Калпнаускасов. Как и раньше Пиус, Юозас приходил домой по субботам вечером, а в воскресенье родители увозили его на всю неделю.

В школе теперь был другой порядок. Учитель в местечко приехал новый, помоложе, учеников он не бил и за уши не драл. По рассказам Юозаса выходило, что жизнь в школе совсем сносная. Новый учитель учил детей не только по-русски, но и по-литовски. Мне понравилась Юозасова книга для чтения с множеством картинок и замечательных стихотворений. Сам Юозас, положив на стол раскрытую книгу, гордо ходил по избе и твердил стихи наизусть:

Две лошадки в день холодный

Сена воз везли огромный.

Говорит лошадка: — Плохо!

Лучше свалим воз в болото! —

Проку все же было мало:

Сено тяжелее стало.

Да пока его сушили,

Двух лошадок не кормили.

Время от времени остановится, поднимет палец (наверное, так делал учитель) и затем, показывая почему-то на меня, громко заканчивает:

Кто не трудится, кто лодырь,

Тот пускай сидит голодный!

Как будто я и есть этот лодырь! Но вообще-то стихи были замечательные. Закрыв глаза, я так и видел лошадей и воз сена. Интересно — лошадь говорила. Но это бывает во всех сказках — животные и звери разговаривают. А пословица в конце звучала так хорошо и верно, что даже отец иногда, сидя за столом или что-нибудь мастера, бывало, поднимет вдруг голову, посмотрит на нас и скажет:

Кто не трудится, кто лодырь,

Тот пускай сидит голодный!

И нам бывало стыдно, если чего не сделали вовремя...

...Юозас ходил в школу. Мне тоже не терпелось туда попасть. Но отец отвечал, что я еще мал. Мама говорила, что мне не в чем в школу пойти. К счастью, в это время у нас объявился бродячий портной, он сшил мне из пестряди, что соткала мама, штанишки и пиджачок, подогнал прошлогоднюю шапку Юозаса, а папа смастерил новые клумпы. Вот я и всамделишный студент, или, как говорила тетя, «худент», — она называла так учеников потому, что те от науки тощат.

Накануне отъезда в Любавас я всю ночь проворочался с боку на бок. То и дело просыпался и все донимал маму, не светает ли. Я боялся, как бы отец не уехал в город один. Но вот наконец рассвело, все встали, мы не торопясь позавтракали, я обрядился в новую свою одежду. Сестры удивленно уставились на меня.

— Вот щеголь, — сказала Кастанция.

Тетушка, садясь за прялку, недовольно пробурчала:

— Наряжайте, наряжайте, еще возгордится... лучше б о спасении души подумали...

В местечке был базарный день, и по всем дорогам в Любавас тянулись пешие и конные. Я чинно сидел рядом с отцом. Все не выходило из головы: что-то будет там, в школе? Какой учитель? Какие дети? Вдруг они все там страшно ученые, все насквозь знают?.. Эх, чему быть, того не миновать...

Телегу отец поставил на рынке рядом с другими, бросил лошадям охапку клевера. Сперва он повел меня к Калинаускасам. Дома мы нашли только Калинаускене — морщинистую, сгорбленную старушку. Она зашепелявила своим беззубым ртом, ласково приговаривая:

— Это меньшей ваш? Знаю, знаю, Юозукас все говорит да говорит о своем братике. Вот, слава богу, теперь и Юозукасу не будет тоскливо без дому... Все ж не один как перст...

Отец подал Калинаускене порядочный узел, приготовленный мамой дома.

— Вот тут сварите чего детям...

— Спасибо уж, спасибо, известное дело, духом святым никто жив не был... — И, взяв у отца узел, Калинаускене быстро спрятала его в шкафчик.

Избенка у Калинаускасов была совсем крохотная. Над столом, рядом с образами, висели какие-то военные картинки. Меня больше всего привлекла картина, где было море и горящие, тонущие корабли. Я знал, что Калинаускас вернулся с японской войны — об этом не раз рассказывал Пюс. Интересно, как выглядит такой необыкновенный человек, который даже на войне побывал!

— А муженек мой на базар ушел, — сказала Калинаускене. — Часом не встретили? Дровишек поискать хочет, печь топить нечем...

Вернулся и Калинаускас. Он оказался примерно одних лет с отцом. Но он был необыкновенный — солдат! По правде говоря, выглядел он, как и все, только опирался на сучковатую палку. Лишь позже я заметил, что он сильно хромает.

— А ногу-то у меня все крутит, — сказал Калинаускас. — Как под Мукденом покалечили, все в лазаретах валялся, а вишь, все равно болит проклятая. Особенно когда погода сырая...

— Да и у меня тоже, — откликнулся отец. — У меня-то, надо думать, с перепугу. Малышом меня один дурень схватил и хотел в торфяную яму бросить. До того перепугал, что и теперь иной раз как занает, ну деваться некуда. Бывает, неделями маюсь, в кровати лежу... К самому доктору Басанавичюсу ездил...

— Не меньшей ли это? — спросил Калинаускас, подавая мне руку, как большому. — Хотя вроде я слышал — еще одного тебе аист принес? Хорошо, Тамошюс, что приспособляешь их к ученью. Пускай дети глаза-то продерут. Хватит того, что мы ни бе ни ме, как говорится. А на свете нелегко таким, Тамошюс...

Когда мы вышли от Калинаускасов, местечко уже запрудили люди. Народ шел, где посуше, огибая грязь и лужи, которых тут было хоть отбавляй. У нового кирпичного дома галдела толпа. Отец сказал, что там кабак. Из открытой двери вырывался гул пьяных голосов.

Миновав площадь, заставленную телегами, пахнущую сеном, клевером и лошадиной мочой, мы поднялись по деревянной лестнице, в Верхнюю. Так называлась лавка, в которой мне сразу очень понравилось. На полках стояло много блестящих жестянок, склянок, различных ящиков и коробок. Когда открывалась дверь, впуская или выпуская покупателя, всякий раз приятно звякал колокольчик. Отец поздоровался с веселым, симпатичным лавочником, стоявшим за прилавком, и потребовал все, что мне теперь понадобится: пузырек чернил, тетради, два карандаша, ручку и перья.

— Ну, Тамошюс, вижу, своего сына учиться пускаешь. А на кого? На адвоката? А может, на ксендза? Мой-то сынок на раввина учится.

— Кто знает? — скромно ответил отец. — Очень уж дитя к ученью стремится. Еще и годков-то нету, а все пусти да пусти... Вместе со старшим...

— Хорошо, ежели ребенок хочет. А как его зовут? Ну, подойди-ка поближе!

Я подошел к прилавку, и лавочник, подав отцу покупки, сунул мне конфету.

— Скажи спасибо, — напомнил отец.

Лавка была пропитана самыми невероятными запахами — здесь пахло хлебом святого Иоанна, фигами, селедкой, керосином. Мне страшно захотелось фиг, но я не посмел попросить отца. И так он потратил сегодня чуть ли не все свои деньги.

Школа находилась на той же улице, где жили Калинаускасы и где стоял кабак. Когда мы подошли к школе, к деревянному дому, отец велел мне подождать на крыльце. Он сунул мне в руки все наши покупки, и я с удовольствием рассматривал пузырек с чернилами, плотно закупоренный и залитый рыжим сургучом, тетради в красных обложках и радовался, что все это мое.

Отец ушел потолковать с учителем. Учитель, наверное, был на уроке. Ждал я долго. Наконец отец вернулся и, взяв меня за руку, ввел в просторную учительскую. На столике стоял глобус (из рассказов Пиюса я уже знал, что это за штука и как называется), на шкафу, словно живая, присела рыжая белка и распростер крылья ястреб. Я просто глаз оторвать не мог от этих диковинок.

— Значит, это и есть ваш профессор? — весело спросил учитель и, встав из-за стола, за которым он что-то писал красными чернилами, прищурившись, посмотрел на меня. Потом подошел поближе, погладил мне голову и спросил: — Что ж, мальчик, хочешь учиться?

— Хочу, господин учитель, — пролепетал я так тихо, что учитель вряд ли меня услышал.

— Только смелей, смелей... Твой брат куда тебя храбрее! Вчера как вцепился в чуб одному второкласснику, едва разнял... Однако к ученью мог бы с большим рвением... Ну, теперь будете вдвоем, подгоните друг друга...

Я совсем оробел от слов учителя и стоял опустив, голову. Прозвенел звонок, отец попрощался с учителем, а мне сказал:

— Смотри у меня! Слушайся учителя, не шали, хорошо учись! Вот и все. Понял?

И он, еще раз ободряюще посмотрев на меня, вышел. Мне сразу стало тоскливо, и я бросился было за отцом, но учитель рассмеялся и крикнул:

— Куда побежал? Теперь от меня не уйдешь! Ведь говорил, что хочешь учиться? Верно?

— Говорил, — подтвердил я.

— То-то и оно, что говорил, — снова улыбнулся учитель. — Ну, пошли, увидишь, сколько тут у нас таких вроде тебя...

Он открыл дверь и пропустил меня в класс. Класс был гораздо больше нашей избы. В нем прыгали, вопили и дрались десятки мальчуганов. Девочки (их было всего несколько) уже сидели на своих местах, за первыми партами. При виде учителя сорванцы кинулись на свои места, с грохотом захлопывая крышки парт. Когда класс затих, учитель сказал:

— Вот к нам пришел новый ученик. Он в школе впервые. Смотрите, не обижайте его. Он малость опоздал, и вы, первоклассники, объясните ему, чего он не поймет.

Потом учитель показал мне парту под окном с левой стороны и сказал:

— Здесь и будешь сидеть. Знаешь этого мальчика? — спросил он.

Я чуть не рассмеялся. Ведь тут сидит наш Юозас!

— Знаешь? Отлично. Вот и будете сидеть два брата за одной партой. Буквы знаешь? — еще спросил он у меня.

— Знаю, — несмело ответил я.

— Ну, прочитай вот тут, — он подал мне книгу.

Я взглянул на строчки и, осмелев, прочитал без запинки:

Два драчливых петушка

Вику молотили,

А две курочки-пеструшки

К мельнику свозили.

Козел в мельнице молол,

Коза просевала.

Третья малая козуля

Тут же помогала...

Учитель довольно сказал:

— Знаешь недурственно... Глядите-ка, дети, — обратился он к первоклассникам. — Совсем малыш, а читает-то как... А вы, бывает, прочтете так, что слушать стыдно...

Я почувствовал, что краснею от похвалы.

— А писать? Писать умеешь? — снова спросил меня учитель.

— Нет, не умею, — ответил я.

— Ничего, научись, — сказал учитель. Потом, обращаясь ко всему первому классу, добавил: — Выньте тетради. В прошлый раз мы писали слово «мама». Теперь смотрите. — Он подошел к доске и большими буквами вывел: «Мама там». — Прочитайте (все вслух прочитали написанное). А теперь переписывайте в тетради. Только не торопитесь — четко, без помарок...

Мы начали писать. Перо у меня спотыкалось, царапало бумагу, буквы выходили корявые. Наконец на лист упала чернильная капля. Чтобы вытереть ее, я накрыл бумагой. Но испачкалась вся страница. Подглядев, что случилось, какой-то мальчик сзади захихикал. Я — в слезы.

— Что там у вас стряслось? — спросил учитель, возвращаясь к нам с открытой книгой — он читал второму классу.

— Дурень, всю тетрадку замарал... — хихикал у меня за спиной незнакомый мальчик.

Учитель подошел поближе. Он не бранил меня. Только покачал с упреком головой и мягко сказал:

— Не плачь, корень учения горек, а плод сладок. — Он снова погладил меня по голове. — А смеяться тут нечего, — сказал он ученику, сидевшему за мной. — Смеяться над бедой товарища очень даже нехорошо.

Потом учитель показал мне, как надо держать ручку, насколько окунать перо в чернильницу, чтоб на бумагу не падали кляксы, как положить перед собой тетрадь.

— Я сам виноват, дети, — громко сказал учитель. — Я должен был новому вашему товарищу показать, как взяться за дело. Ведь он пишет первый раз в своей жизни. Не лучше писали и вы. Так что удивляться или смеяться тут, ей-богу, нечего. А осушить написанное надо промокательной бумагой, — добавил он, вытаскивая из моей тетради серую пухлую бумажку.

Дети замолчали. А я думал, какой добрый у нас учитель: он меня и не ругал, и не бил. И я думал еще, что это за корень учения и почему он горек? Что это за плод, который, по словам учителя, сладок? Как сахар? Как мед? Все это я понял лишь много лет спустя.

Позднее я узнал и фамилию учителя. Его звали Казис Климавичюс.

ДНИ ВЕСЕЛЫЕ И ПЕЧАЛЬНЫЕ

Вот не думал я, что можно так истосковаться по дому. Дни в Любавасе оказались просто невыносимо длинными. Еще сидя за партой, я вспоминал маму, тетю Анастасию, сестер и маленького Пранукаса. Но эта тоска становилась совсем невмоготу, когда мы с братом возвращались в избу Калинаускасов. Калинаускасы любили нас с братом, старались, чтоб нам у них было хорошо. Но боже ты мой, как мы ждали базарного дня, когда появлялась мама, такая веселая и милая в своем теплом платке! Или приходил нас проведать отец, прихватив связку баранок, улыбаясь синими добрыми глазами.

— Ну, как тут мои мужчины? Живы еще, здоровы? — спрашивает он, едва войдя в избу.

Я несусь к нему, он берет меня под мышки и прижимает к себе. Лицом я чувствую отвороты его сермяги и колючую, хоть и недавно бритую бороду.

— Куда там! — откликается Калинаускас, откладывая на стол недоделанную клумпу и протягивая руку отцу. — Дрекольем их не убьешь! А читает-то как этот сверчок — слушать да не наслушаться...

Отец с гордостью смотрит на меня, а мне вдруг почему-то тепло становится.

— Что и говорить! — добавляет Калинаускене, шамкая беззубым ртом. — Я уж и говорю: пускай, Тамошюс, ребенка в ксендзы, и все. Такая голова, такая голова...

— В ксендзы? — словно не хочет соглашаться отец, хотя слова Калинаускене ему явно по душе. — Куда нам, нищим, в ксендзы...

Помнится — раньше я не мог дождаться, когда вернется из школы Пиус, теперь же снова считаю дни в ожидании конца недели. В субботу мы с Юозасом, прямо из школы, не поев даже как следует, отправлялись домой. Хорошо, бывало, идти вместе с Игнасом Василяускасом, который жил за озером, в деревне Будвечяй. Он был много старше нас с Юозасом, учился чуть ли не в четвертом классе, но любил нас и опекал, как настоящий брат. Не дай бог кому-нибудь из детей нас обидеть — он нахватает от Игнаса столько «груш», что больше и притронуться к нам не захочет.

О, до чего же хорошо идти вместе с ним домой! Игнас рассказывает нам всякие чудеса про вулканы и острова, про чернокожих и краснокожих. Он объясняет, что в доме папы Римского одиннадцать тысяч комнат.

— А как же их подметают? — любопытствует Юозас.

— Да очень просто, — говорит Игнас. — Открывают окна, берут простыню и как начнут ее

трясти — вся пыль мигом в окна выскакивает!

Настала суббота, подморозило, но Игнас Василяускас с нами пойти не смог: он остался помогать учителю — кажется, правил тетради малышей. И мы с Юозасом тронулись в путь вдвоем. За Скайсчай, недалеко от деревни Эпидямь, где летом сочится крохотный ручеек, осенью вода разлилась настоящим озером. Увидев с горы широченное поле сверкающего льда, мы с Юозасом поспешили вперед, решив малость покататься. В это время нас догнал третьеклассник Ботирюс, высокий, костлявый, рябой паренек. В зубах у него дымилась самокрутка, фуражка была сдвинута набекрень. Догнав нас, он крикнул:

— Куда путь держите, баричи? К маменьке, молочко пить?

— Сам ты барич! — крикнул ему мой брат. Я испуганно промолчал и, кажется, только буркнул брату:

— Не связывайся с дураком...

Увы, Ботирюс расслышал мои слова и, побагровев, завопил:

— Это я-то дурак? Сейчас я тебе покажу, какой я дурак! — И он повис у меня на спине, на моем ранце с книгами и тетрадями. — Неси меня! Я устал! — вопил Ботирюс.

Я, задыхаясь, тащу его, но не могу выдержать. Ремни ранца оборвались. Юозас кинулся мне на выручку, тащит Ботирюса за ноги, а тот брыкается и хохочет.

— Может, маменьке пожалуетесь? Очень я боюсь вашей маменьки!

Я заорал благим матом. Ботирюс теперь принялся за Юозаса, стащил с него шапку, разбросал книги. Юозас не сдавался, защищался кулаками, но силы были неравными. Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы вдруг не вырос как из-под земли наш добрый Василяускасов Игнас. Долго не ожидая, он схватил Ботирюса за шиворот и принялся колотить его по рябому злему лицу, потом по загривку. Ботирюс попытался сопротивляться, но, видя, что дело плохо, швырнул свой ранец, вынырнул из шубенки и с громким ревом, отплевываясь кровавой слюной, пустился к дому так быстро, что его и гончие б не догнали.

— Попробуй еще у меня малышей обижать! — крикнул вдогонку Игнас. — Я и к твоему отцу приду! Еще не так тебе шкуру спустят!

Мы с братом были на седьмом небе от счастья. Вот, оказывается, что значит дружба! Вот, оказывается, как хорошо, когда у тебя есть заступник! Вернувшись домой, мы весь вечер об этом только и говорили, расхваливая на все лады Игнаса.

Все местечко мы излазили вдоль и поперек. По правде говоря, негде было и лазить. Три или четыре улицы жалких деревянных лачуг вели от грязной площади, на которой стоял недавно построенный одноэтажный дом из белого кирпича. Это была волостная канцелярия. Перед ней частенько разгуливал жандарм с красными лампасами. Мы знали, что он хватает людей и сажает их в кутузку — комнату в канцелярии с зарешеченными окнами и большим замком на двери. Жандарма я боялся страшно и, увидев его, улепетывал куда глаза глядят. Мне казалось, что и меня он может схватить и засадить в кутузку.

И как же я испугался, проснувшись однажды утром в избе Калинаускасов и увидев под изображением Цусимского сражения (я уже знал, что там нарисовано) жандарма! На другой лавке сидел Калинаускас. Оба они довольно мирно разговаривали, но мне показалось, что этот разговор ничего хорошего не сулит.

Накрывшись с головой, одним глазом я поглядывал на незваного гостя, прикидывая, куда мне прятаться, если он вдруг захочет меня забрать. Лучше всего, конечно, удрать на улицу, но

куда ты удерешь, когда мои штаны и пиджачок висят на веревке у печи, — я же не успею схватить одежду и одеться. А на улице-то снег!

Наконец жандарм встал из-за стола, надел свою военную фуражку и вышел в дверь. Я все еще не смел пошевелиться. В это время со двора вошла Калинаускене с охапкой поленьев, и муж ей сказал:

— Тут жандарм Федя заходил. Просил завтра с утра помочь ему свинью заколоть. Не забудь, разбуди-ка меня пораньше...

Второй каменный дом (больше их в Любавасе не было) стоял на нашей улице. Это — кабак. Его еще называли корчмой. Дом недавно выстроил какой-то богатый человек. Нас с братом страшно тянуло зайти туда и поглядеть. И вот однажды вечером, увидев, что дверь приоткрыта, мы проскользнули в нее.

В кабаке был шум и гам. Трудно было разобрать что тут происходит — под потолком тускло светились две керосиновые лампы, бросавшие жидкий, желтый свет на грязные, залитые столы. За столом сидели хмурые, серые мужики, виднелось и несколько баб. Казалось, все сразу говорят, кричат, гомонят, поднимают стаканы и не столько пьют, сколько выплескивают на пол и на столы. Мы с братом пробирались все дальше, сквозь облако дыма и пара, в котором, чудилось нам, плавают люди, бутылки, трубки, какая-то дымящаяся еда, невкусная, вонючая.

— А вы тут чего? — вдруг рявкнул какой-то великан, вынырнув из облака пара и дыма.

— Может, отца ребята ищут, — отозвалась незнакомая женщина. — Может, жрет тут свой пот, как ты вот прожрал! — говорила она мужу, сидевшему рядом, подперев голову руками. — Хватит! Домой пошли, говорю, домой! — тащила она мужа за руку.

Муж сидел опустив голову, уставившись куда-то в пол, и повторял зло, будто про себя:

— Да пошла ты, говорю, ко всем чертям! Чего прицепилась, как клещ к собачьему хвосту?

Его приятель, видать малость потрезвее, втолковывал женщине:

— Два дня и две ночи паровую машину скайсчяйского барина из снега и грязи вытаскивали. Купил, значит, машину и вез из Сувалок. Лед проломился, и заклинило машину, как топор в колоде. Видишь, человек вывозился, умаялся. Деньги вот получили и празднуем теперь. А ты сердишься, Оните, будто дитя малое.

— Домой! Пошли, говорю, домой! Оставишь тут одного, еще убьют, как Бобинаса. Гляди, на стене и сейчас еще кровь...

— Бобинаса и верно, говорят, как поросю, зарезали, — сказал тот же мужчина. — И безо всякой причины, говорят... По дурости. Не спорь с пьяными! А за что человека, никто и знать не знает...

Мне стало страшно. Казалось, на столе, на полу, даже на стене — всюду кровь убитого человека.

— Пошли отсюда, — схватил я брата за руку. — Я не хочу больше!

— А вы еще тут? — снова рявкнул над ухом великан. Теперь я разглядел, что он, будто баба, в переднике и ставит на стол большие стаканы с пивом. — Чтоб духу вашего тут!.. Может, жандарма позвать? Что? Тоже пьяницы выискались! Не видите, что ли, какое тут творится! Не слыхали, что тут позавчера было? Хотите поглядеть?..

Не дожидаясь брата, я выбежал из этого дома. И даже на дворе меня донимал страх: на стенах домов, на снегу мне чудилась кровь...

Все местечко заговорило о том, что повесился Шмигельскис. Утром люди выломали дверь клетки и видят — болтается старик, вывесив язык. Шмигельскиса отвезли на кладбище и похоронили в неосвященном углу — там хоронят тех, кто не ждет, пока их бог призовет, а сами кончают с собой...

— Было из-за чего вешаться, — говорил Калинаускас, сидя за столом и черпая из глиняной миски жидкую крупяную похлебку. — Жил бы, вроде нас, горемык, тогда дело понятное: вешайся, никто не подивится, жизнь-то у тебя собачья! А тут лавка чуть ли не лучшая во всем местечке, шелка, плюш, сукна всякие! Полная кошма денег. Зайдешь в дом — лучше, чем у помещика: кресла кожаные, кровати с блестящими шишками. Такому да вешаться!..

— А кто его знает, что на человека нашло? — говорила Калинаускене, суется у печи. — Говорят, у настоятеля луг хотел купить да к своей земле прирезать и все сторговаться не мог...

— Чепуха! — прервал ее Калинаускас. — Будет он вешаться из-за луга! Говорят, рекетийскому барину всю свою лавку и хозяйство в карты продул, вот и повесился. Не хотел идти с сумой по деревням... Гонор, вишь! Гонор всему вина!

Никогда я не видел этого Шмигельскиса. Но от рассказов о нем волосы вставали дыбом. На запертой изнутри двери его лавки поперек висела железная перекладина. Мы ходили на край местечка к его дому. Вокруг все будто вымерло. Клеть, в которой повесился Шмигельскис, тоже стояла на запоре, и мне почудилось, что там поныне висит старый, очень старый Шмигельскис с длинной седой бородой. Вдруг, пока мы стояли, дверь клетки отворилась, и из нее вышла по-городскому одетая девушка с корзиной в руке. Она поманила нас пальцем и, когда мы подошли, сказала тихим, очень приятным голосом:

— Вот я орехи в клетки нашла. Берите, ребятки, — зачерпнула она горстью из корзинки.

Когда мы, вернувшись к Калинаускасу, рассказали ему о девушке и орехах, тот объяснил:

— Это дочка Шмигельскиса. Из города приехала. В пансионах там учится. Бывало, приезжает иногда летом. Красивая, гадючка. Единственная. Куда она теперь денется, когда дом проигран, один бог ведает...

Долго я думал о девушке с корзинкой орехов. Она была такая грустная. Она не боялась ходить в клеть, где повесился ее отец. Куда она потом исчезла, я не знаю. Больше я никогда ее не видел и никогда о ней не слышал.

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО САДА

После войны, приехав на родину, я гулял в старом заросшем саду, глядел на тенистые яблони, засыхающие, неподрезанные вишни и сливы, на заросшие тропинки, а сердце одолевало тоска и забытая радость. Грустно было думать, как быстротечна река времени, и радостно вспоминать о той далекой весне, когда в голом поле, рядом с недостроенной еще усадьбой, закладывали этот сад.

На полях голосили весенние птицы, но нигде еще не было ни листка, ни завязи, когда отец притащил на спине из поместья связку каких-то прутиков. Нет, то были не просто прутики, а малые, слабые деревца. Отец копал неглубокие ямки, бросал в них торф, раскладывал на

нем корни деревцев, еще пахнувшие землей помещичьего сада, и подзывал меня. Обхватив обеими руками гибкий стан деревца, я придерживал его, чтоб оно стояло прямо, макушкой к солнцу, а отец осторожно сыпал в ямку землю, то и дело поправляя руками корни и хлопывая вокруг ладонями. Посадив одно деревце, мы сразу же шли к следующей ямке.

Какая красота была, когда в чистом поле встали ровными рядами деревца, а еще веселей стало, когда этой же весной все они покрылись буйными зелеными почками. Отец посадил посреди сада несколько взрослых яблонь и груш из старой нашей усадьбы. Не все они прижились на новой земле, да и те, что прижились, скупо плодоносили, и позднее их пришлось срубить.

С каким наслаждением мы смотрели, как каждую весну привитые деревца становились выше и крупнее, как они все гуще одевались зеленой листвой, благоухающей весной, зарей, чем-то молодым, прохладным.

А сколько радости было для всех нас, когда мы разглядели среди веток первые розово-белые цветы, позднее же — хрупкие завязи плодов, которые неделя за неделей, месяц за месяцем превращались в яблочки и грушки, малюсенькие вишенки и сливки и в конце концов в зрелые, сочные плоды! О нет, мы не рвали их, хоть не раз рука тянулась к плодам. Нет! Мы сорвали всего десятка два совсем уже спелых вишен. А однажды воскресным утром отец принес в избу несколько налитых, благоухающих яблок и дал нам каждому по одному. Это были первые плоды нашего сада и поэтому, наверное, незабываемо вкусные.

Иду я теперь по старому саду и вспоминаю — эта засохшая яблоня давала великолепные румяные яблоки, вот тут росла груша с невероятно сладкими большими плодами, которые, под дуновением крепкого ветра, бывало, — плюх! плюх! — срывались в траву и от спелости даже раскалывались. Здесь, по краю сада, шел ряд вишенки и сливы, а здесь стояло дерево, на которое мы лазили за ранней черешней.

Некоторые из деревьев еще стоят — уже незнакомые, ветвистые, обомшелые... Другие люди рвут теперь с них плоды, покинув деревья на волю providения — расти, стареть, заслонять друг другу солнце... И вдруг меня одолела тоска, как в запущенной обветшалой избе, где когда-то мать качала нашу зыбку, где мы играли и были счастливы и где сейчас в разбитые окна задувает ветер, а в углах разрослась сорная трава...

В саду я не увидел ни единого улья. А кажется, еще вчера жужжали здесь тысячи пчел. Они улетали на окрестные пажити, в липовые рощи, на поля белого клевера и возвращались с ношей домой. В саду еще стоит та первая пчелиная борть, которую отцу в день свадьбы подарил старик Жукайтис из деревни Граяуской, что за озером Дотамай. Отец привез борть, поставил ее за избой на старой усадьбе. На следующий год, выдолбив еще одну дуплянку, он поймал рой и впустил его в новую обитель. Мы любили разглядывать эти борти, перевезенные уже на хутор; папа говаривал, что пчелы так, без присмотра, жили в старину, в дремучих лесах. В такие дупла они носили мед. А когда приходило время роиться, новый рой находил для себя такое же жилище — выгнившее, источенное временем дупло.

Наши борти были толстые колоды длиной аршина в полтора, выдолбленные и гладко выскобленные внутри. Эти колоды лежали на чурках, чтоб не подгнивали снизу. Когда приходилось подрезать ульи, отец с боку колоды, где леток, вынимал из паза доску. Открывалось нутро колоды и в нем — забитые медом душистые соты, искусно вылепленные пчелами. Отец запросто руками ломал эти соты или, отрезав длинным ножом, складывал их в большую эмалированную миску.

Нет ничего вкуснее, как есть мед прямо из сотов, высасывая воск и складывая его кучкой на столе. Когда отец завел центрифугу для выжимки меда, пчелы в колодах перевелись, и нам уже редко выпадал такой душистый, изумительно вкусный мед. Он бывает лишь в сотах, в

туго забитых ячеех, плотно залепленных воском. Выжатый центрифугой мед казался нам несравнимым с тем, давнишним медом...

Никогда я не забуду своего отца, как он стоит в садике среди разноцветных новомодных уже ульев. Мало кто так любил пчел, как он. Он приводил сюда даже учителя Юлюса Бутаускаса, тоже пчеловода, который готовил меня в гимназию после той войны. Осмотрев в саду пчел, отец усядется, бывало, где-нибудь на лужайке, за столом, или на крыльце клетки и чертит на бумаге новые ульи, более удобные, в которых пчелам лучше жить и пасечнику выгоды больше...

Да, он страстно любил пчел, а пчелы любили его. Помню, бегут наши женщины с визгом, с воплем, размахивая руками, прятаться от пчел в избу или хотя бы в тень. А отец стоит себе меж ульев, пчелы смирно ползают по его рукам, по лицу и не жалят. О, если б и я был так спокоен и не боялся пчел! Увы, едва зажужжат они вокруг, тут уж не зевай — несешься подальше, и хорошо, если пчела, догнав, не вопьется в щеку или губу...

Очень любил я глядеть, как отец, вложив в дымарь подкурок — труху вербы, зажигает его, и почти благовонный, незлой дым вырывается из жестяной трубы. На лице у отца сетка, пришитая к ней холстина закрывает голову и шею. Такую же сеточку надеваю и я. И мы смело направляемся к ульям. Отец открывает крышку улья, окуривает пчел — они от этого, говорят, смиряются.

В сарайчике, пристроенном к клетке, уже стоит вымытая, чистая центрифуга — жестяной бочонок. Внутри бочонок вставлены крылышки, опутанные проволокой. В этот бочонок ставят рамы с сотами так, чтоб они вращались, но, придерживаемые проволокой, не выпадали, а вытекал лишь мед. У центрифуги возились Пюс и Юозас. Один из них острым длинным ножом аккуратно срезал залепленные воском ячейки, вставлял соты по четыре штуки в центрифугу, а другой сильно вертел рукоять.

Центрифугу смастерил жестянщик в Калварии, она оглушительно гремела, когда ее вертели, и братья часто меняли рамы с сотами и медом. Мое дело было, взяв по две рамы сразу, тащить их в сарайчик, а оттуда уже пустые соты нести отцу, который их вставлял обратно в улей.

Закончив с одним ульем, отец идет к следующему, снова окуривает пчел дымарем и снова добывает из улья соты. Соты облеплены пчелами. Отец смахивает их гусиным крылом. Крыло это зимой лежало в сарайчике вместе с остальным снаряжением — центрифугой, дымарем, новыми рамами для сотов... Здесь же стоял и сделанный за зиму, красиво окрашенный улей — весной его вынесли в сад, и он дождался там новой пчелиной семьи...

Летом мужчины работали в поле, женщины помогали им или хлопотали на огородах и в кухне. Мне же поручили пчел. Рядом со мной в саду стояло ведро с кружкой. На суке яблони висел лемех, на земле под ним валялась длинная железина. Позже братья смастерили ручную водометку, которой можно было быстро набрать из ведра воды и при необходимости пустить струю выше самых высоких деревьев.

Иногда долго ходишь туда и сюда по саду, читая какую-нибудь «Красавицу Магелену и солдата Пятраса» или «Историю про пана Твардовского и его чудеса», и ничего не случается. А иногда ни с того ни с сего пчелы у одного из ульев принимают жужжать все сильнее — кажется, все обитательницы улья выбрались наружу и шумят, мельтешат, скучившись сплошным шаром. Это пчелы роятся!

Я не раз уже видывал роение и не терял времени даром, потому что знал: если не принять мер, то пчелы пожужжат, пошумят, помельтешат немного, а потом улетят не только от улья, но и из сада — их тогда и не увидишь! В такие минуты я старался не волноваться, как говорится, сохранять хладнокровие. Схватив железину, я принимался колотить изо всех сил

по висящему под деревом лемеху, и, надо сказать, звон был не хуже, чем в поместье, когда зовут рабочих на обед. Бросив железину, я поливал кружкой галдящий пчелиный клуб или опрыскивал его из водометки.

Мне сопутствовала удача. Не помню я, чтоб прозевал хоть один рой. Пчелы, облитые водой и обалдевшие от адского звона стального лемеха, еще какое-то время жужжали в воздухе, но уже спокойнее, а потом, гляди, уже и уселся где-нибудь на дереве один, другой десяток, а вслед за ними повисала и вся большая пчелиная шапка. Услышав трезвон, отец, бросив работу в поле, бежит домой.

— Поймал! Поймал! — кричу я, прыгая от радости.

— Молодец, что пчел не прозевал! — коротко хвалит отец. — А де ройник?

Ройник, конечно, был в сарайчике. Это четырехугольный ящик из тонких планок с крышкой наверху и с сеткой с одного боку. Отец тотчас зажигает дымарь, приносит стремянку (летом она всегда стоит в саду), приставляет ее к стволу и примеривается, как бы лучше добраться до сидящего на дереве отхожего роя. Я тоже лезу, и если не могу удержать ройник (он большой и несподручный), то хотя бы поднимаю дымарь так, чтобы дым шел напрямик на рой, склубившийся на ветке.

Простой деревянной ложкой отец черпает мокрых еще пчел и, словно вишни, кидает в ящик. Когда все пчелы уже там, он закрывает крышку ройника и, спустившись со стремянки, ставит ящик в тени. Вечером, когда воздух становится прохладней, отец пересаживает пчел из ройника в пустовавший улей, в котором уже есть несколько рам с сотами. Отец говорил, что надо следить, чтобы пчелиная матка (мне почему-то никогда не удавалось ее увидеть) попала в новый улей — без нее пчелы на новом месте не приживутся...

Вот наша пасека стала больше еще на улей. На следующий день пчелы уже вылетают из нового жилища и возвращаются в него. Улей стоит рядом с остальными — новый, красивый, синий с зеленым летком, в который влезают и вылезают пчелы. И приятно смотреть, как они летают, приятно слушать, как они жужжат, словно легкие и нестрашные пули...

Я иду сейчас садом и не вижу ни единого улья... Давно нет отца, нет ульев, нет пчел... Правда, через этот хутор прокатилось несколько пожаров. Уже который раз восстанавливают избу, в которой я рос, играл, учился жизни... Здесь прошла война, ходили чужие солдаты, менялись и люди в этом доме. И видно, после смерти отца здесь не оказалось никого, кто бы любил пчел так, как он. А без любви ведь не растет никто: ни дитя, ни поросенок, ни птица, ни пчела — маленькая букашка, но великая труженица.

ГОСТИ И ПРОХОЖИЕ

Поскрипывая пересохшими осями тележки, понукая свою слепую клячу, разъезжал по деревням Зялмонас. Это старый еврей, каких немного оставалось и в те времена — с бородой и пейсами, в длинном черном балахоне из блестящего сатина, подпоясанном веревкой, в лаптях, которые тоже почти перевелись в нашем краю. Долгожданный гость. Отец тотчас бросает кляче Зялмонаса охапку свежескошенной травы, если лето, или сена, если зима. Еще сидя в своей тележке, Зялмонас кричит:

— Щетину-волос, куплю щетину-волос... Старый вещь, старый вещь... куплю шкуру, старый сапог, хороший тряпка...

— А что привез? — выйдя из избы, спрашивает мама или тетя Анастазия.

— Душистого мылу, иголок, ниток, селедки — у Зялмонаса все есть... А куплю щетину-волос, куплю старый вещь, тулуп, хороший тряпка...

Тетя тотчас вытаскивает из-за балки в избе щетину, аккуратно связанную в пучки. Она ее там спрятала, когда осенью кололи свинью. Зялмонас вручает тетеза щетину кусочек душистого мыла. Мама тащит Зялмонасу приготовленный заранее узел, в котором увязаны рваные детские штанишки, ветхие шапки, найденный на дороге чей-то сапог. Зялмонас развязывает узел, ворошит вещи, рассматривает, потом завязывает снова и говорит:

— Что ты, хозяйка, такую чепуху!.. Я тебе две иголки...

— За столько вещей — две иголки? Как тебе не стыдно, Зялмонас? Ну, ниток тонких добавь еще катушку, и шут с тобой!

Отец приносит из клетки свой старый, латаный-перелатапый полушубок.

Из ведерка, стоящего на задке телеги, Зялмонас извлекает две селедки, с которых капает соль и ржавая жидкость, и сует их отцу.

— За тулуп — две селедки? У тебя в голове помутилось, Зялмонас! — кричит отец. — Я же в город отвезу.

— В город, в город... Думаешь, так тебя там и ждут, в городе, хозяин? Что ты там получишь, в этом городе? На, бери еще, — он вытаскивает из ведра третью селедку.

Торг иногда продолжается долго. Перочинные ножики, которые показывает Зялмонас, нам не по карману. Только Пиус, долго копивший деньги, может купить себе такой ножик. Мы бросаемся поглядеть, но он не дает, говорит, еще поломаете или куда-нибудь денете... Но, пожалуй, лучшая вещь досталась Забеле. Не знаю, с чего это тетя на сей раз так сорит деньгами — она покупает ей фарфоровую кукольную головку, к которой можно пришить туловище, набив паклей, и кукла готова. Забеле, схватив куклину голову, скачет в избу.

Закончив торговлю, Зялмонас с трудом взбирается на свою тележку. Все довольны не только покупками, но и тем разнообразием, которое внес в нашу жизнь этот новый человек. Никогда не знаешь, когда он приедет. Но Зялмонас — всегда долгожданный гость.

Однажды после полудня мы увидели человека, который направлялся к нам не по дороге, а напрямик, по полевым тропкам, казалось, пришел он из дальних краев — до того тяжело переставлял ноги. Сгорбившись, он втащился во двор, что-то буркнул в нос. Наверное, восславил Христа, потому что тетя Анастазия, процеживавшая молоко во дворе, ответила:

— Во веки вечные, аминь...

Мама какое-то время глядела на пришельца, потом узнала его и воскликнула:

— Винцукас! Откуда же ты взялся? Слыхали ведь — в Мерику уехал...

А, это мамин двоюродный брат, о котором она часто рассказывала нам как о смелом, смышленном парне. Теперь это мужчина в летах, в его волосах светятся серебристые прядки. Он смотрит на маму равнодушно, словно не слыша ее слов, потом нехотя сует ей руку и молчит.

— Давай зайдем в избу, Винцукас, — говорила мама взволнованно, предчувствуя недоброе.

— Небось проголодался за такую дорогу...

Гость ничего не ответил, и матери пришлось взять его за руку и ввести в избу! Сидя на скамье, гость, кажется, дремал. Одежда на нем была поношенная, хотя, видно, сшитая когда-то из покупного сукна. Штаны продраны, и в прорехах белеет голое тело.

Мать тотчас зажарила яичницу на сале и подогрела оставшиеся от обеда щи. Гость ел жадно, давясь. Когда он поел, мама села рядом, стала гладить ему плечо и, глядя полными слез глазами на него, заговорила:

— Выходит, вернулся, Винцукас, ты из этой Мерики? И не боялся ездить по океану? Что же с тобой, горе мое? Что с тобой случилось?

— Ничего, — наконец проговорил гость сиплым, натруженным голосом. — Иногда, Эльзбетеле, я ничего, все помню. Вот и тебя сейчас узнаю, припоминаю — в Кятурвалакай по воскресеньям мы с тобой хаживали, и вообще... Ну и как пасли детьми, и как ты служила у Блюджюсов в Скардупяй...

— И я, Винцукас, помню... И как дождь пошел, как гроза нас настигла. Ты был мал еще, так я тебя жалела...

— Да уж, да уж, Эльзбетеле, как тут не вспомнить, — откликнулся гость все так же натужно и, тяжело закашлявшись, плюнул на пол.

Потом он огляделся и, словно испугавшись чего-то, негромко принялся рассказывать:

— Ездил я в Америку, Эльзбетеле... Через много воды плыли, понимаешь? И уголь копали под землей, в темноте... Стачка, понимаешь? Босс закрыл все, говорит, идите куда хотите, хоть на край света... А еды нет, денег нет... Ехал я ночью на поезде через штрейт Пенсильвания. Дружок говорит: «Проехали мы этот город...» Ну, как он там, не могу вспомнить... Чудное такое название. Ну, неважно. И говорит он: «Надо нам прыгать...» Понимаешь, Эльзбетеле? Вот и прыгнули. И у меня с головой с тех пор... И работы никакой не могу с тех пор. Вернулся домой, брат выгоняет... Как же, по-твоему, Эльзбетеле? Думаешь, приятно, чтоб чужие собаки на тебя лаяли?

И гость заплакал, всхлипывая, жалобно, как маленький ребенок. Мама все гладила его плечо и приговаривала:

— Ничего, Винцукас, ничего. Переночуешь у нас, мягко тебе постелю. И кушай себе на здоровье... что бог послал. И живи тут, коли тебе лучше будет. Неужто мы звери?

Гость перестал плакать, вытер рукавом слезы. Он сидел за столом притихший, и мать снова не могла вытянуть из него ни слова. Переночевав, он ушел на следующее утро, ничего не сказав никому.

— Вот господи, — вздыхала мама, глядя из двора на пригорок, через который в сторону Александраваса уходил гость — сгорбленный, высоченный и худущий. — Хоть залатала, зашила ему ночью одежонку... А то ходит по миру... можно сказать, голышом... Кому он нужен без здоровья, без денег? Горе горькое, да и только...

В красном углу, рядом со святым Рохом, которому пес лижет израненные ноги, рядом с моим покровителем Антонием Падуанским и другими святыми, висела и мамина покровительница святая Елизавета. Это красивая барыня, в руках у нее корзинка с розами. Не раз мама рассказывала, как святая, тайком от скупца мужа, носила в этой корзинке нищим подаяние — хлеб, мясо и другую еду. Муж однажды поймал ее и хотел было выругать или жестоко

наказать. Но, открыв корзинку, он увидел там не милостыню, а розы. Святая поняла, что бог спас ее от гнева мужа за ее благие деяния.

Мама тоже старалась следовать примеру святой Елизаветы. По воскресеньям, отправляясь в костел, она непременно брала с собой корзинку, в которую, если уж не находила ничего получше, клала хотя бы хлеб, нарезав его на одинаковые ломти. Летом она обычно намазывала хлеб маслом и прибавляла кусочек сыру, говоря при этом:

— Хоть проглотить легче... За душонки, что в чистилище мучаются, помолятся...

В местечке, у кирпичных столбов ограды двора костела, и в хорошую погоду, и в дождь торчали десятков, а то и несколько десятков нищих. Я помню, один был с огромной рыжей бородой, слепой — милостыню за него принимала маленькая девочка, прикорнувшая рядом с ним на мостовой. Другой нищий — с отвратительными гнойными язвами на ногах. Впоследствии я его не видел — говорят, он был арестован за надувательство. Оказалось, он был совсем здоров, но не хотел работать и сидел с нищими, обмотав ноги свиными кишками, чтоб выглядеть пострашнее и разжалобить сердобольных. Отойдя от костела, он сдирал эти кишки и снова оказывался здоровым... Сиживали здесь старухи, слепые и глухие, с морщинистыми, как сушеная груша, личными, со скрюченными руками, искривленными позвоночниками.

Мою маму они очень уважали и, едва увидев ее, принимались повторять на разные голоса:

— Дай боже здоровья всему семейству... Молитвы за души в чистилище сотворим... За живых, мертвых, старых и малых...

Мать раздавала нищим милостыню, и, миновав кирпичные столбы, мы поднимались наверх, в тенистый двор костела, где стоял памятник с латинской надписью...

Нищие ходили и по деревням. Перевесив через плечо котомки, замотав ноги онучами, с увесистыми дубинками, чтоб обороняться от собак, они плелись по дворам, собирая милостыню, разнося разные, чаще всего выдуманные вести о войнах, моровых поветриях, китах, которые людей глотают, о кораблях, тонущих в море. Некоторые из них были смиренные и тихие, непрерывно молились (во всяком случае, их губы непрерывно дрожали в ожидании милостыни или горячей еды).

Каждого нищего в нашем доме принимали, кормили, а если надо было, укладывали на ночь.

Я вспоминаю одного нищего, еще не старого, запустившего густую рыжеватую бороду, хромого на левую ногу, чуть косоного. Говорил он много, каким-то высоким, визгливым голосом, слышным еще издали. Некоторые звуки он произносил по-особенному.

— Да будет вочхвалсн Иичуч Хричточ! — кричал нищий, едва открыв дверь избы.

Сев на лавку, он с места начинал городить про свои похождения:

— Приходжу в Бартининкай к Куодайтичу, так чобак напучкает, палкой деретчя, Чпрачивает: такой молодой, а работать не моджешь? А как мне работать, коли чилы човчем нету...

Отец, не вытерпев, иногда, гляди, и скажет:

— Ничего, ничего! Я бы еще подумал, стоит ли с тобой тягаться... Здоров ты как бугай...

Нищий еще жалобнее стонет, жалуется на свои беды, рассказывает, как брат женился, забрал хозяйство, а его выгнал к собакам. Трудно разобрать, что в его словах правда, а что вранье.

— В Одечче в окияне кит заявилчя... — рассказывает он, а мы только диву даемся. — Это удж такая рыбка, ч гумно трямпиняйчкогo помечтя. И почел члух, что этот кит хричтиан будет глотать... Тогда вычли на берег окияна кчендзы с кропильничями да как начнут чвятой водичкой кропить... Члава богу, обочлочь, уплыл кит в Японию...

Еще в потемках притащился к нам незнакомый рослый, невероятной худобы человек с тяжелым заплечным мешком, который придерживали на спине перекрещённые на груди тканые лямки. Он устало снял мешок, сел на лавку, подпер рукой давно не бритый подбородок и как-то резко, почти зло принялся спорить с отцом:

— Ерунду говоришь, хозяин! Будто не видишь, что это за чай? Бери весь ящик, и года на два хватит — и самим, и ксендзу, когда приедет с колядой. Прусский платок жене купи. Не скупердяйничай.

Он развернул и разостлал на столе чудо-платок, от которого вдруг озарилась вся изба. Платок был ничуть не хуже того, что на маминой покровительнице святой Елизавете с образа. Мама с восхищением несколько раз примеряла платок. У окна на гвозде висело крохотное зеркальце, правда, почти стертое с тыльной стороны, но мама, поднеся его поближе к лампе, любовалась собой...

— А ты, Эльзбета, и греха не ведаешь, — раздался голос тети Анастасии. Она пряла и даже издали не желала смотреть на соблазны сей юдоли слез.

— Будто я для себя? — уныло говорила мама. — Девочки ведь растут, не в чем в костел пустить, как у людей... Вот, говорю, купили бы, вот и носили, бы...

Торговались долго. Несколько раз купец складывал свои товары в мешок, лежавший рядом с лавкой. Мать принесла ему завтрак — дымящийся свекольник, свежий хлеб, кусок скиландиса. После завтрака торг продолжался. Так ни о чем не столковавшись, отец ушел на гумно молотить, а мать не вытерпела — принесла из горницы старый платок, в уголке которого было завязано несколько гривенников, с трудом вырученных за сыры, масло, кур, и подала купцу...

Мы глядели и диву давались, когда мама повязывала этот платок и отправлялась в нем в Любавас, несмотря на попреки тети Анастасии. Она сразу молодела, забывала все свои заботы. А когда она наряжала в этот платок Кастанцию, мы тоже не могли налюбоваться — такой красавицей становилась наша старшая сестра.

Потом мы слышали, что этого купца застрелили жандармы, когда он переходил прусскую границу с контрабандой.

ЗАБЕЛЮКЕ УМЕРЛА

Мы в тесноте завтракали за столом, когда отворилась дверь и вошел Андзюлявичюс. Он снял шапку и какое-то время стоял у двери, как будто не зная, с чего начать.

— Просим, просим к нам... Чем бог послал... — Мать, вскочив с места, стала вытирать передником лавку у стола.

Андзюлявичюс провел тыльной стороной ладони по лицу, словно вытирая его.

— Пришел я, значит, попросить, Тамошелис, — обратился он к отцу. — Гробик... часом, гробик не смастеришь?.. Забелюке-то наша сегодня ночью померла...

— Господи милосердный, — перекрестилась тетя, едва не поперхнувшись. — Прими душу христианскую... Да вроде и неслышно было, чтоб болела... Кажись, когда это я еще ее в Любавасе видела... Такая большая выросла...

— Не стало Забелюке, — мрачно и тихо сказал гость.

Андзюлявичюс ждал, пока отец встанет из-за стола. Он все еще стоял у двери, понурился, взлохмаченную голову, опустив длинные руки, убитый горем.

— И дощечки свои прихватил, — сказал он. — Я сейчас...

Он вышел в сени и внес под мышкой несколько сосновых досок. Сложил их на верстак. Губы у него тряслись, ему трудно было говорить.

— Хорошо, сосед, — сказал отец. — Сделаю. Не знаю только... как насчет длины... Кажись, она была одного роста с нашей Забеле.

— Она была меньше, она была меньше! — закричала наша Забеле. — Мы еще весной мерялись. Вот, на целую пядь...

— Замолчи! — прикрикнула мама. — Будет она еще спорить, свое твердить!.. Бедная Забелюке... Такая хорошая была девочка... И к первому причастию, помню, с нашим Юозукасом вместе ходила... А как это она? — спросила она у Андзюлявичюса.

— Одному господу богу известно. Горло перехватило, кашляла бедняжка, задышалась, пока совсем не задохнулась.

— Меду надо было с молоком, — сказала мама. — Как на наших ребят что-либо такое находит, то мы уж первым делом...

— Давали, все давали — и меду, и молока... Но, видать, господь порешил забрать ее к себе... Так и моя жена говорит...

Все мы знали Забелюке. Но ни один из нас не плакал. Все это было до того неожиданно, что мы просто ничего не поняли. Как будто земля за гумном провалилась — даже испугаться не успели.

А когда начало смеркаться, тетя сказала:

— Пойдем отпевать, сынок, попоешь с нами.

Повторять не пришлось. Я мигом обулся и надел пиджачок, подбитый паклей. На голову нахлобучил шапку с козырьком и сам принес из чулана книгу псалмов — знал, где тетя ее держит.

Была осень. Над пашнями стелился волнами туман, да такой, что в десяти шагах ничего не разглядишь. У ворот стояли голые уже липы, что посадил отец, когда мы переехали сюда из старой избы. На сучьях уныло каркали вороны. Сырость проникала во все прорехи одежды, студено лизала тело. Меня трясла дрожь, но я, не отставая, бежал за тетей, которая вышагивала впереди в своем праздничном черном платье, в большом платке, с КНИГОЙ в руке.

На косогоре ноги увязали в мокрой глине. Клумпы вытаскивались из нее с трудом. Но оттого, что пришлось месить эту глину, сразу стало теплей, даже вроде пот прошиб. За пригорком, в

темноте замаячил небольшой хутор Андзюлявичюсов. Рядок верб торчал у едва различимого хлева. За гумном замигал крохотный огонек лампы в окне избы.

Когда мы вошли в избу, на всех лавках сидели люди, дети же сбились в темноте у печи. Освещенная скудным светом лампы, Забелюке лежала в гробике, что сколотил мой отец, поставленном на две высокие скамейки. Она лежала в белом платье, длинная, пожалуй, длиннее пашей Забеле, только совсем бледненькая, с серьезным личиком. У меня вдруг что-то сдавило горло, как будто я слова больше не смогу вымолвить. Забелюке была такая хорошая девочка! Я вспомнил, как она, когда была еще меньше, пригоняла к озеру пяток гусей и, бывало, пока гуси ныряют и плещутся в Рукаве, она сплетет из васильков и колосьев венки, наденет на голову и спрашивает:

— Красивая я в веночке?

Я стеснялся говорить, что она красивая, хоть она и выглядела как королева из сказки. Она сама знала уйму сказок и иногда рассказывала мне такие, каких я еще не слышал. Я был моложе Забелюке и сказок знал меньше, чем она. Иногда она напевала тоненьким тихим голоском. Песни ее были обычно печальные — про пропавших овец, про надвигающуюся тучку...

А теперь ее не стало...

У Забелюке не было кукол, Андзюлявичюсы слишком уж были бедны и не могли ей ничего покупать. Пока была поменьше, Забелюке сама делала куклы из ярких лоскутков. Вместо головы она клала камешек, завернутый в белую тряпочку.

А теперь Забелюке не стало...

Мы вошли в избу, опустились на колени у порога, помолились. Мне в голову непрерывно лезли мысли о Забелюке. Кто-то поднялся из-за стола, указал место для тети Анастасии. Она взяла меня за руку и потащила за стол.

Рядом с тетей сели Йонас Аугустайтис из Гульбинаваса, Скамарочюс из Будвечяй и еще какая-то незнакомая мне женщина из батрацкой трямпиняйского поместья, молодая и красивая, с пронзительным голосом. Вскоре в избе раздалось заунывное, жуткое пение:

Душе не напрасно

Твердить ежечасно,

Что мы, человеки,

Живем не вовеки

На свете...

Продрав бранны вежды,

Глядите, невежды:

Вот смерть уже скачет,

Как остов на кляче,

По свету...

И даже ребята,

Что, ровно ягнята,
И блеют и просят,
Их смерть тоже скосит
Со свету...

Я глядел в открытую книгу и старался петь наравне со всеми. Как я пел, не знаю, но когда длинная-предлинная песня кончилась, Микулёнене из Гульбинаваса сказала:

— Вот боже ты мой! Такой малек, а поет будто ксендз! И читает, видать, бегло, не наслушаешься. Верно говорю, Анастазия?

Тетя Анастазия была явно довольна, что меня хвалят:

— Да, уж читать-то мальчик читает... И поет тоже, как видите. Да и набожное дитя... Каждое утро и вечер все что ни на есть молитвы творит.

— Скажите только! — подивилась Кярялявичене из Будвечяй. — Ведь только господу во славу такой ребенок. Вот, правда, в ксендзы надо бы пустить...

По улыбке тети я понял, что разговоры женщин ей — как маслом по сердцу. Но она сказала:

— Куда уж нам в ксендзы? Из таких нищих...

— Ну уж не говори, Анастазия... Оно конечно, не поместье у Тамошюса, но коли бы сына на ксендза пустил, каждый сосед рубль-другой бы подкинул... Ведь для всей округи честь...

Я слушал эти разговоры и не знал, радоваться мне или нет.

Андзюлявичене, худая, высокая женщина со впалой грудью, в темном платке, заменила догорающую восковую свечу в головах гробика новой и, схватившись за голову, заголосила, раскачиваясь над покойницей.

— О Забелюке, доченька, — плакала она. — Ну, почему ты умерла? Ох, не будешь ты мне подсоблять сено грести, ткать холсты!..

О Забелюке, доченька! Ну почему ты нас, стариков, оставила? Не жалко тебе старого папеньку, ни матушку, ни юных братцев?

О Забелюке, доченька! Почему ты ушла из распрекрасного дворца с зеркальными окошками, с медными дверьми? Будто не хорошо тебе у нас было? А дождалась бы лета, мы бы с тобой в Сейпы поехали, епископа бы увидели...

О доченька моя родимая! Чего убоялась — то ли времечка тяжелого, то ли работ тяжелых? Не бояться бы тебе: я бы тебя научила — полегчали бы работы, хоть времечко и тяжелое...

О доченька родимая! Трудно тебе было гусей пасти, за свинками смотреть? Помнишь, ты пустила свиней в картошку, тебя отец поколотить хотел, а я не дала: не бей мою доченьку, мою единственную!

О, помню я, как ты шла в Любавас к исповеди, до чего ж нарядная, с заплетенными косами!

Голос Андзюлявичене, то высокий и звонкий, то вдруг как бы обессиленный, жалобно и дико звенел в мрачной избе. Плача над Забелюке, она рассказывала теперь про всю ее недолгую жизнь, про ее маленькие радости, мечты и надежды. И у всех пыла душа от плача матери.

Вместе с тетей я вернулся домой. Долго не мог заснуть. В ушах у меня звучал плач матери Забелюке. Даже закрыв глаза, я видел Забелюке, лежавшую в гробике, сколоченном из белых сосновых досок, видел ее живую, как она плела венки, тихо напевала, рассказывала сказки... И никак не мог поверить, что никогда больше мне ее не увидеть... Забелюке умерла...

ТЕТЕНЬКА

Отец когда-то купил в Гульбинавасе клочок земли. Земля там была неважная, но хороша тем, что участок упирался в торфяное болото, правда изрядно уже подчищенное прежним владельцем. Каждый год мы добывали там торф — дрова достать становилось все труднее. Наш торфяник лежал за озером. Мы, детвора, ходили туда по ягоды — там росла малина, черника и ежевика. Идем и боимся, как бы не выползла из-под пня гадюка, хотя никто не слышал, чтобы там водились змеи.

Мы страсть как любили бегать промеж заполненных водой торфяных ям, любили глядеться в четырехугольные их зеркала, где отражаются вверх ногами хилые березки, кусты, плывущие по небу облака. Пустошь эта казалась таинственной и дикой — ни звука не услышишь, только изредка на хуторе Трячэкасов, за болотом, твякнет собака или запоет петух.

Часть луга отец распахал и устроил здесь грядки. На них посадил капусту. Капуста на торфе росла прекрасно. Настала осень, капуста завилась в тяжелые тугие кочаны. Нашим все как-то недосуг было ее убирать, — казалось, что кочаны все еще тяжелеют, твердеют, а может, просто времени не было за другими работами. Появилась уже первая изморозь, и тогда решили: на следующий день после обеда пойдем рубить капусту.

Но каково было наше удивление, когда мы с отцом, явившись на огород в Гульбинавас пораньше других, увидели, что две грядки лучшей капусты уже подчищены — только кочерыжки торчат. Кругом рассыпаны обломанные серебристые листья.

— Ну, разве не гады! — крикнул отец, увидев разоренный огород. — Ей-богу, тут ночью побывали воры...

— Но у нас ведь воров нет! — сказал я, потому что не раз слышал такие разговоры взрослых. — Папа, а вы очень некрасиво сказали...

— Что это я сказал? — удивился отец. — А как еще назвать такого человека, коль не... — Он взглянул на меня, усмехнулся и не повторил некрасивое слово «гад».

На самом деле в нашем краю воровства не знали. Правда, народ, собравшись вечером в пашей избе, иногда говорил и о ворах. Но воры эти были где-то далеко. Шли толки, что в Айстишкяй, где живут мои крестные, у одного крестьянина воры ночью увели из хлева лошадей. Лишь на третий день он нашел лошадей в Вартялинском лесу. Поговаривали, что в клеть Стасюкявичюса из Будвечяй пробовали пролезть воры через крышу, но, так и не успев ничего украсть, удрали, заслышав приближение людей. То у одного, то у другого в нашей деревне ночные озорники, собравшись к девкам, бывало, вытащат из колодца молоко, опущенное туда на ночь, и выпьют. А вот воровства крупного не водилось.

— Ну и дурак же вор! — сказал вскоре отец, обнаружив на лугу следы колес на изморози.

Выходит, вор ночью приехал, срубил капусту, свалил в телегу и спокойно уехал. Вору и в голову не пришло, что останутся его следы. — Что ж, пойдём, поглядим, куда ведёт эта колея! — сказал отец.

С минуту думал, подошел к молодой березке, вытащил из кармана крепкий складной нож, срубил березку у самой земли и, обстругав веточки и листья, справил себе гибкую, хлесткую палку.

Какое-то время мы шли по лугу, потом колея свернула на пригорок и за ним, по косогору, вдоль пустых пашен и залежей повела на тот конец Гульбинаваса. Мне было страшновато. Каков с виду этот вор? Наверное, бородатый, в сермяге до пят, подпоясанной веревкой, а на лицо, разумеется, он напялил овчинную маску с красными глазницами, какие надевают парни в заговенье.

— Ну что ты скажешь? — сказал отец, останавливаясь на пригорке и глядя на усадьбу в ложбинке, подальше от дороги, вдоль которой рассыпались избы остальных жителей Гульбинаваса. — Что ты скажешь? Колея-то ведёт во двор Тетеньки...

Отцовы слова поразили меня. Тетенька вышла замуж в Гульбинавас три года назад за вдовца, но неудачно. Ее муж вскоре умер, и теперь она сама хозяйничает на этом хуторе, даже привезла откуда-то своих родителей. Мужнины дети — взрослые и давно разошлись по свету — кто в зятя, кто в город, кто даже в Америку уехал. Никого из них я не видел. А вот Тетеньку знал хорошо, как и все жители окрестных деревень. Это приземистая бабенка, красивая, любезная, разговорчивая. Без нее не обходились ни работа, ни свадьба, ни крестины — всюду слышен ее звонкий голос, всегда она найдет любезное слово для детей, а иногда не только слово — и длинную, завернутую в блестящую бумагу конфету... Женщин постарше она кличет тетеньками, мужчин — дяденьками, вот за ней и укрепилось прозвище Тетенька. Неужто Тетенька украла нашу капусту? Нет, тут что-то не так. Хоть и тяжело так думать, но отец, наверное, ошибается.

Однако колея свернула на узенькую дорожку, которая через край луга вела прямо во двор Валинчюсов. Отец снова постоял минуту, почесал в затылке, о чем-то подумал и, опираясь на березовую палку, решительно зашагал во двор. Здесь тоже отчетливо виден был след, ведущий к запертому гумну. Отец шел прямо по этому следу. Дверь гумна была задвинута изнутри, отец подергал ее и огляделся. Двор был пуст. Только курицы кудахтали где-то на сеновале, а у другого конца хлева затыкала маленькая желтая собачонка. Услышав собачий лай, кто-то в избе припал к окну. Это глядел седой косматый старик. «Наверное, отец Тетеньки», — подумал я. Вскоре из избы появилась и сама Тетенька, как всегда опрятная, любезная. Она заулыбалась нам своим румяным лицом, в улыбке блеснули красивые здоровые зубы.

— Пожалуйте, дяденька, в избу, — обратилась она к отцу, словно не замечая, до чего он свиреп и разъярен.

— Не в избу, а гумно отопри! — крикнул отец.

Женщина, кажется, еще больше покраснела, потом, взглянув на палку в отцовской руке, что-то поняла, даже румянец как-то поблек. Она покорно направилась к гумну и открыла сбоку дверцу. Мы с отцом вошли на гумно и тут увидели на току одноконную тележку, доверху нагруженную кочанами капусты.

Отец, увидев свое богатство, поглядел на Тетеньку и не выдержал. Он схватил ее, уже дрожащую, перепуганную, за руку и со всего маху раз, потом другой съездил березовой палкой по седалищу. Я видел, что он не бьет куда попало. Тетенька теперь проворно кружилась вокруг него, подсакивала, а он все не выпускал ее руки и время от времени огревал по мягкому месту да прикрикивал:

— Будешь знать воровать! Будешь знать воровать!

Тетенька перепугалась не на шутку и сладеньким голоском, будто играя, канючила:

— Дяденька, прости! Прости, дяденька! Я больше не буду...

Отцу, видать, скоро наскучило это занятие. Злость понемногу проходила. Слова Тетеньки показались ему даже смешными. Сдерживая улыбку, он, как мог суровее, сказал:

— Запрягай лошадь — и поехали...

— Куда? — удивилась Тетенька. — Никуда я не поеду...

— Ах, не поедешь? — Отец снова схватил женщину за руку и обкрутил, словно в танце, вокруг себя. — Ах, не поедешь? — повторил он и замахнулся палкой.

— Поеду, поеду, дяденька, только не бей, смилуйся... — залепетала Тетенька и полезла целовать отцу руку.

Мне было жалко Тетеньку, от которой я не раз слышал любезное слово, а как-то даже получил конфету.

— Не бейте, папа, не бейте! — кричал я, хватая отца за полу полушубка...

— И он еще тут, лягушонок, будет заступаться за воровку!.. — крикнул отец. — Ну, пошла, закладывай лошадь, и поедем... — снова сказал он ей.

Тетенька обрадовалась, что отец больше не грозит. Тут же она привела из хлева бойкую буланую лошадку и, сняв с гвоздя хомут, принялась запрягать ее. Услышав шум, отец Тетеньки, седой лохматый старик, присеменил к гумну и, отворив малую дверцу, слезящимися глазами удивленно уставился на нас.

— Что тут творится? — спросил он, откашлявшись. — Какую это карусель выдумал, Тамошюс? Чего распоряжаешься в чужом доме?

— Видать, и ты захотел по хребту? — крикнул отец. — Пока вас тут не было, про воровство ничего и не слыхивали! Откуда капуста, а?

— Не обзывай, не обзывай! — крикнул старик. — Моя дочка тебе не воровка!..

— А это что? — показал отец на капусту, сваленную в тележке. — Может, твоим потом выращена? На чужое добро позарились.

— Папенька, — как ни в чем не бывало обратилась к старику Тетенька, — пошел бы ты лучше в избу. Мы уж тут с дяденькой столкнемся.

Старик замолк, сплюнул и поплелся обратно. Мы же втроем уселись на тележку и покатали домой...

Отец сидел рядом с Тетенькой на мешке, набитом соломой, а я — на задке. Тележка бойко катилась по проселку мимо Шелковой горки, по мостику через крохотный безымянный ручей, потом мимо помещичьего сада...

— Ты уж прости, дяденька... — продолжала канючить Тетенька. — Вот сама не знаю, что мне в голову взбрело... Первый раз в жизни.

— Смотри у меня, чтоб был и последний! Не хочу тебя жандармам... по судам... весь век ни с кем не судился... Срам же перед людьми... — говорил отец.

— Летом на рожь приду, денек-другой подсоблю... Я ж завсегда для добрых людей...

Когда мы въехали во двор, лошадь остановилась сама. Тетенька живо спросила:

— А куда капусту сложим, дяденька?

— Куда ж? Ясное дело, в избу потащим, — с усмешкой ответил отец. — Погоди, позову женщин, подсобят...

Из избы вышла мама.

— Что это вы так быстро с капустой? — удивилась она. — Мы-то с Анастасией только после обеда собирались в огород...

— Ничего, — сказал отец. — Тетенька подсобила, и видишь, как быстро управились. Бочку-то вымыли? Хоть сегодня можете шинковать...

— Отмыли-то еще вчера... Погоди, позову девочек, быстрее стаскаем...

Отец, покуривая трубку, уже ходил во дворе вокруг тележки, а Тетенька вместе с выбежавшими из избы девочками брала кочаны под мышки и носила в избу. Когда работа была кончена, мать сказала Тетеньке:

— Ну уж спасибо большое за помощь. Просим как-нибудь забежать свежего квашения попробовать... Сварю щей с сальником...

— Спасибо уж, спасибо, тетенька... Ах, и своя есть. Еще свою капусту в этом году не убирала...

Сев в пустую тележку, Тетенька крикнула:

— Значит, до свидания, дяденька...

Отец взмахнул рукой, словно отгоняя от себя назойливое слово, которое он хотел крикнуть Тетеньке. И сказал только:

— Езжай, езжай подобра-поздорову! На этом дело и кончилось.

КАК Я НЯНЧИЛ БРАТА ПРАНАСА

Так уж было заведено в нашей семье, что старшие смотрели за младшими. Меня качала, носила и учила есть Кастанция. Она была у нас старшая. А меня приставили к Пранукасу, младшему брату, который родился вместе с другим братиком. Этот Пранукасов братик оказался слабенький и вскоре умер. Поэтому мама, позднее, когда Пранукас уже подрос, иногда в сердцах обзывала его «полдвойняшки».

Пранукас лежал в ивовой плетеной зыбке. Зыбка висела на очепе — гибкой жердине, накрепко привязанной веревкой к потолочной балке, недалеко от кровати, в которой спали мама и отец. Качался тот конец жерди, к которому была прикреплена зыбка. Днем, едва только Пранукас принимался кричать, я спешил к зыбке и качал его вниз-вверх или в стороны. Когда мне это надоедало, я принимался трясти люльку так, что мама, сидя за прялкой, кричала:

— Сдурел ты, что ли? Еще ребенка выронишь!.. Ребенка я, конечно, не ронял. Если Пранукас

все равно не затихал, мама, расстегнув ворот, давала ему грудь или совала в рот тряпочку с завернутым кусочком сахара. Потом в избе появился даже резиновый рожок, который Пранукас сосал с удовольствием. К рожку присоединялась резиновая кишка, в нее же засовывали стеклянную трубочку, которую опускали в бутылку с молоком. Ребенок сосал молоко, по словам отца, как барич. Мне оставалось только придерживать бутылочку, чтоб не разлилось молоко.

Пранукаса принес аист, это было для меня ясно и неоспоримо. У аиста его взяла тетя Рачювене из Гульбинаваса и принесла к нам в избу. Так она поступала со всеми детьми в деревне. Мне лично казалось, что дети водятся не на болотах вокруг озера, как об этом толковали, но скорей уж в аистином гнезде — на колесе телеги, которое мужики приладили на крыше гумна.

Ходили слухи, что иногда тетя Рачювене находит детей в огороде под капустным листом. Всякое бывает.

Так или иначе, Пранукас рос, и хлопот у меня прибывало. Он уже кое-как держался на тоненьких ножках, и его засунули в так называемую стоялку. Это был снаряд, который отец смастерил несколько лет назад для нас, старших. Им пользовался и я, и Юозас, и кажется Забеле. Снаряд этот был совсем простой. Внизу — несколько дощечек, в них просверлены четыре отверстия, туда вставлены четыре колышка. Наверху они держали круглый обод — колесо от прялки (разумеется, без спиц и ступицы). В это колесо засовывают ребенка, под мышками у него обод колеса, он не может упасть, и все выглядит довольно мило. Иногда ребенку в стоялке нравится, и он так стоит битыми часами, а бывает, он сразу же начинает проявлять нетерпение и нелюбовь к дисциплине. Тогда бери его на руки, носи, суй ему всякие игрушки.

Пранукас подрос уже настолько, что сам бегал по избе, шлепая босыми ножками. Мне надо было следить, чтоб он куда-нибудь не залез, скажем, под печь, где сидели куры, чтоб не выпачкался на кухне сажей из зольника, чтоб не ударился головой об угол лавки или скамьи. Зато и мне, когда я оставался один с Пранукасом, стало привольней.

Вот мама, тетя Анастасия и девочки взяли ивовые корзины, закутали головы платками, натянули на ноги толстые чулки и ушли в поле. На дворе дул пронизывающий ветер, было холодно, а в Концах еще оставалось много неубранной картошки. Отец с Пиусом отправились раньше — Пиус вел за узду кобылу, а отец придерживал за рукоятки плужок, которым он будет выпаживать картошку. Я бы хотел поглядеть, как копают картошку, но мама побоялась, чтоб Пранукас на поле не простыл, и велела беречь его как зеницу ока. Она оставила нам кружку молока и хлеб — этого должно было хватить до вечера.

Я притащил из чулана целую грудку чурок, которые насобирали еще зимой, когда отец работал у верстака. Чурки красивые, белые, пахнут смолой. Пранукасу они понравились, и он долго складывал их одну на другую. Иногда получались крохотные домики, которые, увы, тут же разваливались. Пранукас снова упрямо складывал чурки, то составлял из них четырехугольные башни, то делал загончики для скотины. А за скотину были всякие камешки — в отдельной коробочке у меня лежали песчаник, кремль, слюда. Это были наши коровы и лошади, утки и гуси. Не только Пранукасу, но и мне эти зверюшки казались живыми, хотя они не двигались, не ржали, не мычали и не гоготали.

Когда Пранукасу наскучило играть чурками и камешками, я взял с кухонного окна кусочек мыла. Размазал его на доске, налил капельку воды и вытащил из кровати соломинку. Пранукас во все глаза глядел, что я делаю. А я нашел ножницы, отстриг у соломинки конец, второй конец расщепил. Приставив этот кончик к размокшему мылу, зачерпнул капельку мыльной пены и принялся дуть в соломинку. На конце соломинки появился крохотный пузырек. И тут же, только за окном сверкнуло солнце, он засиял всеми цветами радуги. Я дул

мыльный пузырь, а Пранукас восхищенно глядел на меня как на какого-то чародея. Он встал с полу и, визжа от радости, принялся скакать вокруг с криком:

— Дать мне! Дать мне!

Я подал ему соломинку с пузырем, но, едва он взял ее в руку, пузырь лопнул. Я и так и сяк старался, чтоб он понял, как надо выдувать пузыри, но Пранукас, видно, еще мал для таких дел. И я снова и снова пускал пузыри, они даже поднимались в воздух — сколько радости для Пранукаса! Он их ловил, но чаще не успевал добежать до пузыря, как тот уже лопался. Не так ли лопнули многие паши мечты зрелых лет?..

Когда, пузыри надоели, я вытащил из-под кровати ящичек Юозаса. В ящичке было много всего — ухнали, подковки от сапог, замочки, к которым Юозасу не удалось подобрать ключи, сверкающие солдатские пуговицы, — словом, это была неисчерпаемая сокровищница. Когда я открыл ящичек, Пранукас сел к нему и принялся складывать в кучки разные вещи с таким рвением, что я решил дать себе хоть минуту отдыха.

По правде говоря, все эти игры мне уже порядком надоели. Меня привлекали другие, более серьезные дела. Оставив Пранукаса в комнате, я отправился в чулан, взобрался на печь и с нее легко достал отцовы книги, стоящие на полке. Особенно меня манил календарь. Открыв страницу, на которой был нарисован лохматый нестриженный мужик, оборванный, с большим носом, я принялся читать напечатанные под картинкой строчки. Они мне очень нравились, от них веяло чем-то печальным и даже жутким:

Полюбил Тадас стопку,

В кабаке хлестал водку,

Спился он понемножку...

Рожа сине-багрова,

Захирела утроба,

Так допьешься до гроба!..

Хотя отец и не пил, во всяком случае я никогда его пьяным не видел, по, по рассказам, я отлично знал, что такое пьяницы и водка. Я же бывал в Любавасе, а там пьяниц хоть отбавляй.

Потом я начал читать про Наполеона. Отец рассказывал, что уже сто лет минуло с той поры, как Наполеон шел через Литву на восток. Он хотел занять всю Россию, но начались большие морозы, и Наполеон, рассказывал отец, на санях убежал через Калварию и Варшаву и больше не вернулся. В статье про Наполеона было много непонятных слов — Березина и Смоленск, авангард и арьергард, упоминались какие-то генералы — Кутузов, Ней, Мюрат и множество других. Все это путалось в голове, и нельзя было ничего понять. Но все время чудилось мне, как этот великий Наполеон несется в Варшаву через Калварию на санках, точно таких, на каких мы зимой катаемся с горы, — испуганный, унылый — и только несется, несется, чтоб его не поймали. И, по правде говоря, становилось жалко бедного Наполеона...

Чем дальше, тем больше привлекала меня эта книга. Ей-ей, она была интересней многих других. Здесь была удивительная сказка про Эгле, королеву ужей. От этой сказки просто дух захватывало. Море, король ужей Жильвинас, янтарный замок на дне моря, чудесное путешествие с детьми в гости к старым родителям... А дойдешь, бывало, до того места, где дети Эгле превращаются в деревья (эту сказку я читал уже не раз и все не мог начитать), и сердце начинало биться сильнее. Уже казалось, что ивы, которые растут за нашим гумном, и тополя, что за хлевом, и липы у ворот — все это дети бедной Эгле. Даже мороз по коже подирает. Какой необыкновенный и волшебный мир!

Потом я нашел стихи, которые тоже мне нравятся. Я не раз уже слышал их от отца, но прочитал снова:

Цеп за цепом, цеп за цепом —

На току работа.

Чтобы голода не знали,

Хлеба намолотим.

Треск соломы, шорох зерен —

Вчетвером колотим.

Цеп за цепом, цеп за цепом —

До седьмого пота!

Кажется, так и вижу гумно, полумрак, ток, на котором раскиданы снопы ржи, а отец с Пиусом дубасят их цепами, иногда им помогает и тетя Анастазия, хоть она и жалуется, что это дело не женское. Кажется, я так и слышу буханье цепов по снопам, слышу, как трещит солома и из нее с шорохом сыплется зерно...

Под стихами странная подпись «Людас Гира».[6] Что это значит, не знают ни отец, ни Пиус. «Наверное, это человек, который написал эти стихи», — сказал однажды отец. И у меня почему-то не выходило из головы, что вот откроется дверь нашей избы и войдет барин вроде хозяина трямпиняйского поместья Аушлякаса, высокий, с бородой, с городской тросточкой в руке, и скажет: «А я еще и не такие стихи написал! Хотите — послушайте!»

Вдруг я вспомнил про Пранукаса. Может, и не вспомнил бы, не зареви он. Услышав крик, я торопливо сунул на место календарь, спрыгнул с лежанки и помчался в избу. Пранукас стоит у шкафчика и орет во всю глотку. Шкафчик открыт. Но господи, это что такое? Из корзинки, куда мама клала яйца на продажу, Пранукас хватал по яйцу и швырял об пол. Яйца, конечно, разбивались, разбрызгивались по полу. Бросал он до тех пор, пока не выбросил последнее — десятка два яиц кокнул! Оттуда же он достал и разбил фарфоровую чашку, такую красивую, что мы даже молоко пить из нее боялись, чтоб нечаянно не уронить. И вот эта прекрасная наша чашка, которую тетя Анастазия привезла из самого Вильнюса, где она ходила по святым местам, лежит в яичной тюре, разбитая вдребезги!

Ох и разозлился же я! Вот схватить бы Пранукаса и так ему надавать, чтоб он на всю жизнь запомнил! А что-то будет, когда мама вернется? Ведь светопреставление начнется, как говорит тетя Анастасия. Мне же, не кому-нибудь еще, поручили смотреть за Пранукасом! А я что сделал? Правда, забавлял я его хорошо, кружка с молоком и та стоит на окне непочатая — ни Пранукас, ни я про нее не вспомнили. А все-таки недоглядел, и вот что он натворил!

— Скотина ты неразумная! — закричал я на Пранукаса, подбегая к нему и хватая его за руку. — В голове у тебя помутилось? Полдвойняшки несчастные! погоди, ты сейчас у меня попляшешь!

И я уже замахнулся, чтоб шлепнуть Пранукаса по попке. Он глядел на меня — весь в соплях, рот чем-то вымазан — и орал уже не своим голосом. Но тут отворилась дверь и вошла мама. Она покраснелась от ветра, от нее пахло полем и дымом костра, она была веселая и счастливая.

— Бедный мой сыночек! — ласково сказала она.

Протянув руки, она шла к Пранукасу, и тот, сразу забыв страшное свое преступление, бегом понесся в материнские объятия.

Мама-то сразу заметила, что натворил Пранукас. И я решил, что весь мамин гнев сейчас обрушится на меня — я же во всем виноват! Если бы я смотрел за Пранукасом как следует, он ведь не раскокал бы такой кучи яиц и не разбил нашей прекрасной фарфоровой чашки!

Мама прижала к себе Пранукаса, вытерла ему краешком передника нос и чумазое лицо. Поглядев на загаженный пол, она сказала со смехом:

— Ну и натворил же этот ребенок! Яичницы столько, что на всех бы хватило.

— Я хоцу ням-ням! — кричал Пранукас. — Дать мне ням-ням!

— Вот видишь, ребенок уже и проголодался. Как тут не проголодаться бедняжке! погоди, приберу тут и сварю тебе чего-нибудь, — сказала мама, поставила Пранукаса на землю и, найдя в углу веник, принялась подметать избу.

Я не мог попятить, почему мама не поколотила ни меня, ни Пранукаса. Она не сказала нам даже ни единого сердитого слова. Уму непостижимо. Когда собрались в избу остальные, она рассказала про подвиги Пранукаса как о какой-то шутке, и, слушая ее рассказ, смеялись и отец и девочки, и Пюс с Юозасом. Только тетя, сидя в конце стола и обирая дымящуюся вареную картофелину, зло сказала:

— Вот дала бы я им обоим по мягкому месту, знали бы они у меня, как все крушить! Такой чашки больше нигде не найдешь! Чашка-то из самого Вильнюса... У Острой Браммы покупала. Берегли ее, берегли как зеницу ока, а этот бесстыдник что натворил?

Пранукас испуганно уставился на тетю, чувствуя, что сердитые слова относятся к нему. Он задергал было губой, собираясь пуститься в рев, но мама подсунула ему под нос миску теплой крупяной похлебки на молоке, в которой плавали кружочки моркови. Забыв про все, Пранукас принялся за ужин.

САПОЖНИК

Он пришел, молодой, чернявый, хромой, насвистывая веселую песенку, и положил свой

мешок наземь в углу избы. Мы думали, что в этом мешке невесть что. После завтрака он отнес к окну скамеечку, а рядом с ней расставил низенький столик-верстачок на складных ножках. Из мешка он стал вынимать свое богатство — несколько пар сапожных колодок, куски кожи, большие и жесткие, почти несгибаемые, и потоньше, черные, желтые, блестящие, — по его словам, юфть или хром.

Надо было стачать башмаки для старшей сестры Кастанции, потому что она, по словам тети Анастасии, уже «невестится». Потом надо маминым башмачкам подложить новые подметки. Уже много лет отец носит свои сапоги. Мало того, что каблуки стоптались, хотя он надевал их только в город, но сапоги уже просили каши. Отец сам попробовал было починить их, но увидел, что каждое дело требует умения. Тут нужны и деревянные гвоздики, и крепкая нитка, так называемая дратва, и вар ее просмолить, чтоб дратва была крепкая, тугая и не гнила от сырости. Нужен особенный ножик с кривым лезвием, острый как бритва, для резки кожи, нужен молоток, которым колотят так, что подошва даже звенит. Всего этого у отца не было, так что, отложив начатую работу, он сказал:

— Вот, позовем Пранаса Тачилаускаса, он сделает все как полагается. Говорят, работает хорошо и много не дерет...

И вот Тачилаускасов Пранас уже в нашей избе. Говорливый, бойкий, он любил напевать шуточные песенки, и тетя, бывало, долго слушает его, а потом скажет:

— Стыда бы поимел... Еще дети услышат...

А он, гляди, уже затянул другую песню. И эту тетя, не выдержав, подхватывает, подшивая свою сорочку:

Как я ехал через лес зеленый,

Обломал я веточку калины,

Обломал я веточку калины...

Как подъехал к тещиным воротам,

Вот выходит тещенька к воротам,

Вот выходит тещенька к воротам.

Вот выходит тещенька к воротам,

Вот выносит в мисочке селедку...

— Ну, что ты тут путаешь? — сердится тетя, но все-таки не может сдержать улыбки: очень уж неожиданно повернулась песня. — Все твои выдумки! Ведь в песне поется:

Вот вина мне в чарочке выносит...

Тачилаускас всем нам понравился. Правда, он крутил папироски из вонючего табака и, бывало, пустит дым кому-нибудь из нас прямо в нос, если близко подойдешь к его верстачку. А его верстачок, на котором теперь лежал в порядке инструмент, был черен, вонял сапожной мазью, дубленой кожей. Когда сапожник вставал со скамеечки и направлялся к печи за угольком (спички, видать, берег), мы каждый раз замечали, что он сильно прихрамывает — одна нога была короче другой. Но мы его как-то не жалели, да и не смеялись — хромота только придавала мастеру своеобразие и таинственность.

Может быть, я и забыл бы этого Тачилаускаса, ведь после него сотни и тысячи людей прошли перед моими глазами, но я впервые услышал от него то, о чем впоследствии снова и снова думал, из-за чего мучился, что донимало меня бессонными ночами.

Иногда сапожник пел по тетрадке, в которую чернильным карандашом он переписал такие песенки, которых мы ни от кого не слышали, — о любви, о смерти, о страданиях и мечтах молодых людей. А то он вдруг затынет:

Вставай же, рабочий, чего ты заснул,—

На бар и ксендзов долго спину ты гнул!

Они разъезжают в каретах золотых,

Омытых слезами слепой бедноты.

— Ну уж, на самом деле, будто не знаешь покрасивее... — ворчит тетя, сидя за столом. — Ишь какой, против господ, против ксендзов поет! Цицилист!

— А по-вашему, цицилист уже и не человек? — отбывает мастер. — Кто хотел власть народную учредить, ежели не цицилисты? Кто за равенство, вольность да братство боролся? Кто в Сиберию шел, про счастье бедного люда думал? Для меня цицилист, ежели хотите знать, святое слово!

— С ума ты не спятил? — беспокоится тетя. — Не слыхал, что ксендзы про цицилистов говорят?

— Ну и пускай говорят! Трутни общества человеческого эти ваши ксендзы, ежели желаете знать, вот кто они! Господа да ксендзы в одну дуду дуют, поскольку они хотят, чтоб беднота вечно горе мыкала, а они, как в этой песне, в каретах...

Это были новые и очень смелые для нашей избы речи. Мы знали что за такие разговоры несколько лет назад, в «цицилистское время», не одного в кандалы заковали, из родного края угнали... Но как интересно было все это слушать!

Однажды Тачилаускас вытащил из своего мешка узелок, развернул бумаги и вынул книжонку. Книжонка была замусоленная, зачитанная, но он листал ее с большим уважением.

— А это что за ересь? Тоже, наверное, супротив бога? — тревожилась тетя.

— Это книга первостатейная, — отвечал сапожник. — Хочешь — послушай, что пишет «Рабочий календарь». А ежели желаешь знать, прибавлю, что доставлен он из Вильнюса.

И Тачилаускас отложил в сторону колодку и молоток, которым только что оглашал избу, подбивая башмачок для Кастанции. Раскрыв свой календарь, он громко, внятно читал:

— «...Все беды и несчастья от того, что одни, ничего не делая, все имеют, другие же работают как волаы, а лишены всего; дабы этого не было, надо сделать так, чтоб никто не мог один загребать много богатства...»

Он поднял голову, посмотрел, слушаем ли мы, и читал дальше:

— «Нужно, чтоб все люди сообща работали и чтоб тот только ел хлеб, кто работает, иначе говоря, нужно установить социалистические порядки. Только при таких порядках исчезнут всякие дармоеды, которые на чужом поту себе богатство копят... юным девушкам не придется из-за куска хлеба свое тело продавать. И настанут тогда настоящие любовь, братство и равенство всех людей».

— Тело продавать!.. Равенство!.. — бормотала тетя. — Вот угодишь за эти финти-минти в Сиберию, будешь знать... Против господ ишь они прут, против богатеев...

— А ты бы, Анастасия, помолчала, — вмешался отец. — Много ведь правды в таких словах. Я тоже вот, бывает, подумываю, откуда все эти беды берутся. Вот Аушлякас, вот паграужайский барин и макаукайский тоже — что они все делают? Ничего. Разве с тросточкой погуляют, когда другие работают, и поторопят. А кто лучше всех живет? Вот такие и живут. Не думай, эти цицилисты...

— И ты, Тамошюс, уже с ума сходишь? Исповедоваться надо в таких речах, замаливать грехи!..

— Эх, это ты только и знаешь, — отмахнулся отец и, наверное не желая больше спорить, вышел во двор.

— Хотите вы или нет, — твердо сказал Тачилаускас, — а социализм все равно когда-нибудь утвердится! Может, наши кости и погнут к тому времени, но попомните мои слова! Господ не станет и ваших любимых ксендзов тоже, тетушка, а всем будут владеть те, у кого мозолистые руки. И жизнь будет иная — вольность, равенство, понятно? Помянете мои слова! Вы думаете, что это я... что я, темный человек? Все это первый объявил Карл Маркс... понятно? Вот кто показал путь рабочему человеку...

— А этот еще кто такой, твой Маркс? — полюбопытствовала мама, тихо вязавшая чулок.

— То большой человек из Германии... Вождь рабочих... Разуму необыкновенного... Родился в тысяча восемьсот восемнадцатом году в Трире. Отец был присяжным поверенным. Учился мальчик в трирской гимназии, потом студентом занимался в Бойне, а потом еще в Берлинском университете...

— Наварситете, наварситете... Сам ты наварситет!.. — сердито говорила тетя. — Только туману нам тут в глаза напускаешь... Сам-то хоть знаешь, что этот наварситет значит?

— А чего мне не знать? Училище такое, понятно, где студенты... А коли вам, тетушка, не нравится социализм, то я спою для вас «Песню богомолка»...

И он затянул:

Мы-ы все де-евушки будто ове-ечки...

Ножки богомольно скрестивши...

Услышав «Песню богомолок», мы, дети, прыснули со смеху. Ведь и отец иногда поговаривал, что наша тетя, не заполучив мужа, записалась в богомолки. И тетя не выдержала:

— Да замолчишь ты или нет? — вскочила она и, схватив со стола какую-то тряпку, запустила ею в Тачилаускаса.

— Молчу, молчу, тетушка! — Мастер со смехом закрыл лицо рукой. — Так ведь и убить недолго...

— Не я, а такие цицилисты, вроде тебя, народ убивают... — все еще сердилась тетя Анастасия.

И вот однажды Тачилаускас снял фартук, с которым он расставался только за столом да в кровати, и снова засунул свой инструмент и обрезки кожи в мешок. С маленького столика-верстака он смахнул в горсть и завернул свои деревянные гвоздики, скатал дратву, забрал вар. Сестра Кастанция радовалась новым башмакам. Отцовы сапоги мастер хорошо вычистил — хоть смотрись в них. Будто новые стали и тетины и мамины башмачки. На сей раз мне не успели пошить ботинок, хотя отец вроде и обещал. Мол, когда всем кончит, если время найдется... А времени-то как раз у сапожника и не оказалось. Я снова остался без хорошей обуви. Дело шло к весне, скоро я на все лето и клумпы отложу в сторонку.

Тачилаускас подал каждому руку, поблагодарил за деньги, которые отец сунул ему в руку. Из окна чулана мы видели, как мастер с мешком на спине, прихрамывая, взбирается в гору. Он уходил куда-то далеко.

— Хороший парень... — сказал отец. — И разуму набрался, книгу любит.

— Цицилист... — буркнула тетя. — И звать таких не надо... Только таскаются но белу свету и дурное семя сеют...

В избе после ухода сапожника стало пусто и тихо. Неуютно, как на похоронах. Кончились споры. Тетя, взяв книгу песнопений затынула святой гимн. А я все думал: «Что это за семя, которое сеет Тачилаускас? И почему это семя дурное?»

ВСАДНИК

День был на редкость погожий и теплый. На полях уже стояли ржаные и пшеничные суслоны, да и яровые уже белели. Не за горами была та пора, когда и овес, и ячмень, и горох, и даже второсборный клевер рядами улягутся под косой, и в воздухе залетает паутина, свидетельница наступившего бабьего лета...

Вроде бы все радовало сердце, но люди на нашем, да и на других хуторах ходили мрачные, опустив руки.

— За что ни возьмешься, из рук валится, — говорила мама. — Вот не думала, что все таким постылым будет.

— Пока живы, — не согласился с ней отец, — нос вешать не годится. Мы же люди: ни нам, ни детям без еды да без одежды не обойтись... Да и тихо кругом, войны вроде и нет вовсе...

— Будто не слышал, Тамошюс, что люди сказывают? На прусской границе, говорят, все деревни пожгли... люди, в чем были, остались. А еще, говорят, германец, когда приходит, детей к стенам приколачивает, живьем в землю закапывает... Нехристи же они... Что и говорить, — сказала тетя Анастазия и перекрестилась.

— Да никого не приколачивают, не закапывают, — возразил отец. — Нарочно кто-то такие слухи распускает... Они ж тоже крещеные, как и мы...

— А кто их знает? — озабоченно отозвалась мама. — Я вчера детскую одежду собрала, сложила на кровати... Как услышим, что война идет, то хоть на улицу выбежать, в яму залезть успеем.

— Без воли божьей волос у человека не упадет, — рассуждала тетя Анастазия.

Однако, едва позавтракав, поспешила в сад копать начатую вчера яму.

— Хоть холсты зароем, немного мяса, муки горсточку. Придет германец, ему и стрелять не придется, сами с голодудохнем. Говорят ведь, соломинки не оставляют, все забирают...

Отец ничего не ответил, но тоже взял заступ и пошел в садик.

— А гуси-то взаперти в хлеву гогочут, — спохватилась мама. — Юозас скотину выгнал, а их забыл! Погони ты их, сыночек, на Концы, — обратилась она ко мне, — попаси на жнивье. Теперь там осыпки много, пускай наедятся гуси досыта... Может, недолго им...

Ох, как не хотелось мне выгонять этих гусей. Но мать открыла гусятник, и птицы с гогогом бросились к стогу соломы, что сложили посреди двора, когда молотили рожь. Я вспомнил: узнав, что началась война, мы долго сидели во дворе. Глядя на этот стог, Забеле сказала:

— Может, скоро такие стога будут из людских голов сложены...

И теперь, взглянув на солому, я вспомнил слова сестры. Рассказы о немецких зверствах еще больше напугали меня. С великой неохотой я все-таки погнал гусей на Концы.

Поля словно вымерли. Никто не спешил из дому, хоть местами еще высились неубранные суслоны ржи и пшеницы. По большаку на Будвечай — издали было видно — шли и ехали на запад солдаты. Лошади тащили пушки, подводы, а изредка над пашнями катился гул, словно кричало сразу много людей или кто-то стонал. Перегнав гусей через горку, я увидел, что наша скотина спокойно пасется на ржище. Юозас сидел под суслонем и стругал своим перочинным ножом новую палку, на которые он был такой мастер. Он принялся жадно уплетать завтрак, который я принес, и велел мне выгнать свиней — они забрались в картошку за Кочковатым лугом.

За свиньями я бегал то и дело. Они отличались невиданным упрямством: пригонишь их к стаду, а они только и ждут, чтоб мы с Юозасом зазевались, — глянь, и снова роют жадными пяточками картошку и чавкают с наслаждением. И злишься на них, и кнутом их нахлестываешь, а они знай свое!

В одиночку ходить на Концы я не любил. Но теперь, с Юозасом, другое дело. Он подарил мне красивую палку из орешины. За это я попасу до обеда не только гусей, но и присмотрю за всем стадом. Сущий пустяк поработать за брата, когда у меня такая замечательная палка, испещренная всякими загогулинами, кружочками и треугольничками!

Хлеба паграужайского поместья, сразу за межой нашего поля, еще были не скошены. Сколько

видел глаз, до второго большака, что идет через поместье в Любавас, белел спелый уже овес. То тут, то там в ложбинках, на лугах торчат деревья и кусты. Деревья бросали на поле длинные тени, а на наших суслонах и на траве, куда не забредала скотина, сверкала прохладная, приятная роса. Вдалеке все было окутано дымкой.

— Ты войны боишься? — спросил меня Юозас.

— Боюсь, — серьезно ответил я.

— А я хочу быть генералом, — сказал он. — У генерала много солдат, и он никого не боится: солдаты его защитят, если кто нападет...

Мне было трудно представить себе, как выглядит генерал в как его солдаты защищают. Но ведь интересно вообразить, что наш Юозас могучий и никого-никого не боится...

— А знаешь, диких пчел на лугу уже нет, — сказал Юозас невпопад. — Помнишь, когда сено косили, я на Кочковатом лугу четыре гнезда нашел...

Еще и сейчас наши «ульи» — деревянные коробочки и жестянки — стояли у клетки, в саду, но пчелы в них перевелись...

— Я все думаю, — снова заговорил Юозас, — зря мы этих диких пчел... Пользы-то от них никакой! Вот мне один мальчик обещал кролика продать... Кролики — дело другое... Хотя и с кроликами теперь начинаться не стоит. Придет германец и, как тетя говорит, все заберет... Самим бы в живых остаться...

Кажется, хоть на минуту, за разговорами о пчелах и кроликах, война была забыта. Но Юозас напомнил о ней.

— А я думаю, солдаты уйдут себе через Будвечяй в эту Германию, вот война и кончится... — сказал я.

— Глупости говоришь, братец, — отрезал Юозас и сплюнул. — Я уже слышал, здесь еще будет — ого! Сам увидишь! Будешь знать, что такое война...

Мы говорили вполголоса. Коровы уже улеглись на краю лужка. Овцы, насытившись, стояли, уткнувшись в одно место головами, как бы осоловев. Гуси плавали и гоготали в канаве, где было немного воды. А свиньи, разумеется, опять забрались в картошку.

— А ну их, этих свиней, — сказал Юозас. — Пускай себе жрут... Кто знает, доведется ли нам есть свою картошку?..

В это время неподалеку прогремело несколько звонких, но не очень страшных выстрелов, как будто ловкий пастух щелкнул кнутом. Но мы поняли, что это выстрелы. Слышали ведь, как стреляли русские солдаты — они откармливали летом лошадей в трямпиняйском поместье и учились стрельбе, поставив мишени в песчаных ямах у Шелковой горки... Да, несомненно, это были выстрелы.

В испуге мы бросились на землю, чтоб кто-нибудь не выстрелил и в нас. Но, не выдержав, сгорая от любопытства, скоро подняли головы. Над помещичьим овсом в нескольких прогонах от нас рассеивался пороховой дым. Снова бабахнули выстрелы — откуда-то справа, где была рощица. Мы увидели, как два всадника в синем, выскочив из ложбинки, на гнедых сытых лошадях летели прямо через овес, не заботясь о том, что лошади потравят его копытами. Вскоре появились еще четверо или пятеро всадников, которые гнались за теми в синем. Вдруг один из синих придержал лошадь, повернулся навстречу погоне, проворно снял с плеча короткий карабин (название этих винтовок, как и многого другого, мы узнали позднее) и несколько раз выстрелил. Преследовавшие его всадники рассеялись по овсу, и снова

прогремели выстрелы. Мы видели, как шел огонь и дым не только из дула винтовки синего всадника, но и у тех, серых, что гнались за ним. Нам стало интересно, кто кого одолеет, мы уже поняли, что встретились враги. Мы знали, что у нас нет немецких солдат, только русские. Откуда же взялись немцы? Ведь ясно, что синие — не наши! Наши носили серое. Солдат в сером мы видели не раз. Становилось все интереснее, хоть было и страшновато.

Один синий всадник словно сквозь землю провалился — исчез в далеких кустах паграужяйского большака. А второй почему-то свернул к нам, видно решив укрыться в ложбинке, заросшей орешником, грабом и даже дубом, куда мы ходили по ягоды и орехи. Снова грохнули выстрелы, погоня проскакала неподалеку от нас. Лошадь синего всадника вдруг поднялась на дыбы и свалилась. Потом она встала, но, странное дело, всадника на ней уже не оказалось. Лошадь остановилась у кустов, огляделась и так громко заржала, что даже в ложбинках отозвался ее тревожный голос. Потом она шагом направилась в нашу сторону. Пройдя немножко, снова остановилась и спокойно уставилась на всадников, которые окружили ее со всех сторон. Солдаты тут же соскочили с лошадей и о чем-то посоветовались. Один стал подзывать лошадь. Вскоре солдаты поймали ее. Подстегиваемые любопытством, хоть все еще дрожа от страха, мы побежали меж сусликов поближе — поглядеть, что там происходит.

И мы оказались настолько близко, что отчетливо увидели синего всадника. Он упал с лошади, его нога запуталась в сверкающем стремени. Голова солдата тащилась по земле. Фуражка упала, и по овсу протянулась красная полоса. Это была кровь, я это понял, лишь увидев, что голова разmozжена пулей. Прискакавшие солдаты разговаривали по-русски. Один из них вытащил ногу синего солдата из стремени, и немец шмякнулся наземь.

Его лошадь была сытая, чистая, с седлом из желтой кожи и сверкающими на солнце металлическими пряжками. Один из русских солдат, сидя на своей лошади, вел теперь эту лошадь за поводок. Что-то весело сказав нам и помахав рукой, русские солдаты прямо по овсу поскакали к паграужяйскому большаку. Вскоре они исчезли за пригорком. Где-то, на сей раз подальше, раздалось несколько нечетких винтовочных выстрелов. Затем очень далеко, наверное за Бартнинкай, а то и у озера Виштитис, будто прогремел гром, и дрогнула земля. Трудно было разобрать, гроза это или стреляют из пушек.

Мы боялись подходить к убитому немцу. Оставив скотину, мы Юозасом во все лопатки помчались домой, решив поскорей сообщить новость.

Но люди в деревне уже слышали пальбу. Как только выстрелы замолкли, они двинулись поглядеть, что случилось.

— Застрелили! — вопили мы не своим голосом, увидев прихрамывающего Кастантаса Бабяцкаса.

— Кого застрелили? — спросил он, словно не веря своим ушам.

А вот и наш отец уже спускается с пригорка.

— Гоните скотину поближе к дому, — сказал он. — Видите, что творится!

— Застрелили! Там застрелили! — кричали мы, схватив отца за руки и таща его к овсу, где лежал всадник.

— Найдем и без вас! — сказал отец и как будто рассердился. — А вам тут орать нечего! Гоните скотину, сказано!

Он не обратил никакого внимания на свиней, которые опять забрались в картошку, и даже нас за это не пожурил, хоть прошел совсем рядом с ними.

Немного погодя мужики вернулись в деревню и снова ушли обратно — уже с заступами. На том самом месте, где лежал убитый всадник, они выкопали яму и, спихнув в нее мертвеца, завалили землей. Вернувшись домой, отец долго сидел во дворике, задумчиво курил и наконец сказал:

— Видать, немецкий лазутчик... Пробрался сюда через фронт и смерть свою нашел... А сколько еще народу погибнет, как подумаешь, один бог знает! И за что? Знать бы, за что?

А мы уже десятый раз рассказывали каждому отдельно и всем вместе — тете, маме, Пиюсу, девочкам, — что видели и слышали сегодня. Далеко на западе снова загромыхал гром. Отец поднял глаза, о чем-то подумал, потом сказал:

— Пойдем, дети, соберем телегу...

— Тамошелис, куда ты? — заплакала мама.

— Не плачь, не плачь. — Отец встал, обнял маму за плечи. — Кто знает, что нас ждет?..

Мы вытолкали телегу из гумна. Пиус с Юозасом смазали оси, потом принесли из сада свежего сена. Отец чинил хомут, он был неразговорчив, задумчив...

ПЕРВЫЙ НЕМЕЦ

Ночью вдалеке громыхла гроза. Нет, небо было чистое, и никакой грозы, конечно, не могло быть. Это грохотали пушки — правда, еще далеко, где-то на прусской границе. На западе небо багровело от зарева. Была ночь, но мы долго стояли на дворе и глядели на запад. Наконец мы ушли спать. Лежа в чулане и не в силах заснуть, я видел, как мама собирала и складывала у кровати нашу одежду. Мы еще слышали, как мама с отцом и тетей Анастасией совещались о чем-то в избе — вполголоса, беспокожно. И то одна, то другая тяжело вздыхали.

Проснулся я поздно. В окна избы лилось солнце, теплое и ласковое, как вчера, как позавчера. Когда я встал и вышел на двор, мне показалось, что сегодня тише, чем обычно, — не слышно ни собачьего лая, ни пения петухов, ни людских голосов. Казалось, гроза, громыхавшая вдалеке, прошла стороной. А может, напротив — гроза сгустилась, и все замолкло перед тем адским ревом, грохотом, когда она сносит с основания избы и выворачивает из земли валуны...

Как и каждый день, сегодня мама тоже поставила на стол завтрак. К столу все собрались не сразу, словно нехотя. Рука тяжело несла ложку к заспанному лицу, которое не освежило даже утреннее умывание. Суп хлебали без удовольствия. Все молчали, словно предчувствуя что-то недоброе.

После завтрака Пиус ушел закладывать лошадей, а отец еще посидел в избе и покурил. Потом он поднял голову и, глядя на маму, которая стояла у окна и, отвернувшись, беззвучно всхлипывала, сказал:

— Не плачь, не плачь, Эльзбета... Может, бог даст, ненадолго... Знаешь, ты с детишками — одно дело, а мы с Пиусом, что ни говори, — мужики! Мобилизует германец или на работы угонит... И Анилаускас едет, и Скамарочюсы, слышал, собираются в Россию...

Когда Пиус, заложив лошадей, весело и бодро вошел в избу, — видно, поездка казалась ему интересным приключением, — отец встал с места, сунул в карман потухшую трубку, как-то

жалобно посмотрел на нас всех, перепуганных, будто воробышки, в предчувствии чего-то страшного, и запинаясь, неровным голосом сказал:

— Встаньте на колени, дети... Вот этим крестом... — Он поднял с окна металлический крестик и сперва дал его поцеловать маме.

Мама приложила губы к кресту и зарыдала в голос. Мы тоже заплакали. Нам показалось, что вот и настал судный день, о котором еще до войны одно время столько говорили, что кое-кто даже избы, скотину распродал.

— Этим вот крестом... — повторил отец и, видать, сам не мог больше ничего вымолвить.

Мы вслед за мамой наперебой лобызали крестик.

— Дети, отец уезжает... — сквозь плач выговорила мама. — От германца... А что нам одним-то делать, сиротам? Где головушку приклонить?

Нам стало еще тоскливее. А уже совсем невмоготу стало, когда отец каждого из нас, детей, брал под мышки и, подняв с земли, прижимал к себе и целовал в лоб, в щеки. Мне на висок капнули его торопливые теплые слезы. Но он уже поставил меня на землю и поднял младшего, Пранукаса, который, хоть и не разумел еще, что происходит, не своим голосом орал.

Пиус просто совал нам руку, как сосед или знакомый, но вот и он не выдержал, бросился в мамины объятия, а потом перецеловался со всеми. Он первый выбежал во двор, отец еще раз оглянулся по избе, словно боясь что-то забыть, и тоже шагнул к двери.

— Вот, Тамошелис, я вам каравай положила... и скиландиса... и рубашки обоим на смену... Ах, господь знает, когда теперь... — И мама, таща узел, побежала за отцом в дверь.

Мы тоже высыпали во двор. Пиус уже сидел на телеге, держа в руке кнут. Едва отец взобрался на сиденье, Пиус приподнял фуражку и хлестнул кнутом. Телега мимо ворот, мимо лип выкатилась на дорожку, ведущую в гору. Мы долго еще стояли во дворе, ждали, пока телега, миновав помещичьи батрацкие, свернет на восток и въедет на калварийскую дорогу... Еще долго мы видели телегу вдали, и вот она исчезла за Шелковой горкой...

— Может, нам и не свидеться ни с папой, ни с Пиусом, — снова зарыдала мама.

Мы теснились теперь вокруг нее, будто цыплята, которые, почуяв в воздухе ястреба, прижимаются к курице, стараясь спрятаться под ее крыло... Когда мы вернулись в избу, тетя Анастасия сидела за столом и распевала по книге какой-то гимн. У нас не было охоты подтягивать.

— Молитесь, дети, чтоб бог им сопутствовал... Чтоб беды не случилось в дороге... — сказала тетя, подняв глаза от книги.

Мама уже перестала плакать. Она лишь теперь убрала со стола и, как каждый день, позвав в кухню девочек, мыла с ними посуду. За усадьбой безо всякого порядка шлялось наше стадо — кто жрал пшеницу, забредая в яровые, кто пил из лужи воду, свиньи хозяйничали на краю огорода, а гуси, с гоготом забравшись в высокий, еще не скошенный овес, обивали клювом спелые, свисающие под тяжестью зерен колосья.

Еще перед обедом, кажется, Юозас заметил незнакомого человека, идущего по краю поля. Мы выбежали за хлев и увидели, что к нам на самом деле направляется высокий, худой человек, одетый не по-нашему, с винтовкой на плече, переставляя свои длинные ноги, насвистывая, а иногда напевая странную, незнакомую песенку. Когда он подошел поближе, мы поняли, что это немец, и побежали было прятаться. Но пришелец поманил нас пальцем и

проговорил что-то непонятное. Увидев, что солдат вроде не злой и не собирается нам ничего плохого делать, мы остановились, глядя на него, а девочки тут же понеслись в избу сообщить новость маме и тете.

— Na, Kinder, gehen sie zu mir![7] — повторил пришелец и, вытащив из кармана, сунул нам что-то в блестящей бумажке.

Юозас осмелился взять эту вещицу. В бумажке была коричневая, темная плитка.

— Essen, essen,[8] — показывал Юозасу немец.

Юозас откусил и не поморщился. Мне тоже захотелось отведать, что это за штука. Немец показал, чтоб Юозас дал и мне. Я тоже попробовал невиданную конфету (позднее я узнал, что она называется «шоколад»).

Немец вошел во двор, а мы — за ним. Мы к нему привыкли и перестали бояться. А мама и тетя, которые вышли из избы и испуганно уставились на немца, никак не могли понять, что им делать и что говорить.

Сняв с плеча, немец поставил винтовку, уселся во дворике на скамье, которую сколотил когда-то отец, и стал чудной своей шапкой обтирать лицо. Из кармана он вытащил пачку невиданных сигарет, разодрал ее и, вытащив одну, закурил. Над немцем закрутился дым. Дым этот пах куда вкуснее, чем из отцовской трубки. На животе у немца была пряжка, на которой я вычитал непонятные слова «Gott mit uns».[9] Посидев немного, немец что-то сказал, ткнув пальцем в маму. Согнув ладонь правой руки, он приложил ее ко рту, будто собираясь пить. Увы, никто из нас не понял, чего он хочет.

— Никак пить человек хочет, — наконец сказала тетя, побежала в сени и, зачерпнув из липовой кадлушки, в которой держали питьевую воду, принесла синюю кружку.

— Nein, nein,[10] — отмахнулся немец и рассмеялся.

Мы тоже рассмеялись, но все равно не знали, что ему нужно.

Тогда он встал с лавочки, увидел кур, бегавших во дворе у стога, показал на них и что-то залопотал. Мама с девочками кинулись ловить кур. Вскоре Кастанции удалось одну из них поймать. Мама взяла трепыхающуюся и кудахчущую курицу и сунула немцу, но тот только смеялся и кричал:

— Nein, nein, Mutter...[11]

Мама пустила курицу на землю, и все мы, выпучив глаза, стараясь понять, чего же нужно немцу, уставились на него. Он согнул ладонь и снова показал знаками, как будто хочет пить.

— Мама! Я уже знаю! Наверное, он молока хочет! — крикнула Забеле.

— Господь его знает, чего он хочет! — сказала мама. — Сбегай, Забелюке, принеси молока, я в кухне только что кувшинчик поставила.

Тут же принесли молоко, но и молоко немец лишь понюхал, отхлебнул из кружки и, отдав ее маме, снова затряс головой:

— Nein, Mutter, nein...[12]

Он подошел к двери избы, вынул из кармана кусочек мела и нарисовал на двери продолговатый кружочек. Теперь он тыкал пальцем в этот кружочек и, все сгибая ладонь, изображал, что хочет пить.

— Одному господу богу известно, чего ему надо, — сказала тетя. — Ума не приложу...

— Яиц! — вдруг крикнул я. Просто не знаю, как мне такая мысль стрельнула в голову. — Яичко же он на двери намалевал... Будто не видите?

— А кто его знает, — сказала мама. — Забелюке, сбегай, принеси, там в шкафчике лежат...

Забеле снова понеслась в избу и тут же явилась с сырыми яйцами в каждой руке.

— Только не вареные они, — оправдывалась мама, как будто немец мог ее понять.

— О, ja, ja, danke schon![13] — крикнул немец, хохоча во всю глотку.

Он взял яйца, тут же кинул одно о стену и, отколупнув скорлупу ногтем, выпил. Мы диву давались, что немец пьет сырые яйца. Выпил он и второе яйцо. Потом вынул из кармана маленький кожаный кошелек, извлек из него крохотную белую денежку и подал маме.

— Нет, нет, — стала отказываться мама. — Неужто за такую мелочь деньги от человека брать?

Тогда немец подал денежку Юозасу, и тот ее тут же зажал в кулаке. Еще что-то непонятное залопотав, немец снова перевесил через плечо винтовку и, насвистывая незнакомую мелодию, вышел из ворот.

Такова была наша первая встреча с немцем. Теперь мы глядели на денежку, которую Юозас держал на ладони и никому не давал потрогать.

— А может, она годится, — сказала тетя. — Вот пойдем в Любавас, надо будет показать в лавке. Может, за нее и купить что-нибудь можно?..

— Ну уж, — отозвалась мама. — Неужто будет человек совать такую, что никуда не годится?..

Мы поглядели друг на друга, и всем вдруг как-то стало веселей. Немец! Первый немец! Самое поразительное, что он никого из нас не застрелил и даже не зарезал. А от мысли о том, как он пил сырые яйца, все мы просто падали со смеху. Улыбалась но только позабывшая все горести мама, но даже наша тетушка Анастазия.

И вдруг мы вспомнили, что нет больше ни отца, ни Пиюса. Снова вернулось паше прежнее уныние. Снова мама и девочки утирали слезы. А мы, мальчики, побежали за хлев поглядеть, не идет ли, часом, к нам через Полой какой-нибудь немец. Но никого не было видно. На большаке через Будвечай что-то двигалось — изредка мы видели группки пеших, одну-другую пушку или подводу. Кто это? Русские? Немцы? Мы ничего не знали. Теперь они тянулись уже не на запад, а на восток, в сторону Калварии. Наши тоже уехали на восток, правда, не через Будвечай, а более привычной дорогой, которой мы обычно ездим в Калварию, — через Гульбинавас.

День был просто без конца. Порядок в доме нарушился. Все, и большие и малые, чувствовали, что все потеряло смысл. Мама больше не стряпала обеда, мы похлебали кислого молока с хлебом — да и не хотелось ничего. Наконец к вечеру мама, будто очнувшись от тяжелого сна, сказала:

— А про скотину-то мы, детки, совсем забыли... Сходите, поглядите, где она, бедная...

Мы вышли из дома и увидели: коровы, наевшись чего попало, стоят и спокойно пережевывают свою жвачку под ивами за гумном, свиньи разрыли целую грядку моркови, овцы сбегали на луг Бабяцкаса, к озеру, а гуси, нажравшись овса до такой степени, что даже

зобы у них кривые стали, плавают за гумном в луже, переговариваясь на непонятном своем языке.

Под вечер тетя отправилась в сарай за торфом (все равно, хоть и война, падо было стряпать, есть, — словом, жить) и, выронив корзинку, помчалась в избу с криком:

— Едут! Едут! Прямо через помещичий луг, вдоль Полоя!

— Не приснилось тебе, часом, Анастазия? Кто такие едут? — не верила мама.

— Да наши едут, говорю! — кричала тетя Анастазия. — Гляди, сейчас и во дворе будут!

Не успев даже платочка накинуть, чтоб встретить приезжающих, мама схватилась за трепещущее сердце и выбежала во двор. Мы — за ней. Вскоре в распахнутые ворота, что у хлева, вкатилась телега. В ней сидели отец и Пиус.

— Опоздали, — сказал отец, еще сидя в телеге. — Говорят, германец раньше нашего в Калварию пришел. Только до Скаршке и доехали.

— Слава тебе господи, — заплакала мама, прижимаясь к отцу, который проворно соскочил с телеги.

ПОДВОДА

Появившиеся у нас в деревне немцы шлялись по одному или стайками. Один из них ловили кур и во дворе топором рубили им головы. Это было страшно. Обезглавленные куры еще долго скакали. Другие, под плач нашего семейства, выводили из хлева коров, угоняли свиней. Третьи чего-то искали, штыками и винтовочными шомполами тыкали сено на гумне и навоз в хлеву. Осточертели они людям невероятно. И люди ожили, увидев зимой, что немцы бегут из Литвы.

Увы, радость была недолгой. Русские солдаты, едва появившись, угнали отца с подводой. Целую неделю мы знать не знали, где он. Он должен был везти куда-то каких-то солдат. Глаза мы проглядели в ожидании, не появится ли отец. Наконец в одно холодное дождливое утро он вернулся промокший до нитки, озябший и голодный. Лошади едва волочили ноги — от них остались кожа да кости. Отец поел щей и мяса, которое мама уберегла от немцев, ожил и, сидя за столом, принялся рассказывать нам о своих мытарствах.

— Повидал я свету больше чем хотел, — говорил отец, а женщины качали головами, изредка прерывая его рассказ вопросами. — Поначалу думал — в Мариямполе погонят, как солдаты мне говорили. Приехали мы в Калварию, навалили там полную телегу какой-то проволоки, тилипонов всяких, а оттуда — гони в Циплишкес. В Циплишкес у шоссе и заночевали. Хороший попался старшой, отпустил. «Поезжай домой!» — говорит. Я шапку снял, сказал «Спасибо, ваша благородия», сел в телегу и тарахчу себе по шоссе восвояси. Тут, видать, и вышла ошибка, надо было мне проселками ехать. Сразу же меня другие солдаты сцапали и — валяй в Сувалкп! Приехали мы туда ночью. Холодно, дождь. Укрыться и то негде. Солдаты в дом зовут, картофельной похлебкой кормят, а я боюсь от лошадей отойти. Отойду от них да засну, тут лошадей и уведут — только ты их и видел. Получил от одного человека малость клевера, бросил лошадам на ночь, а сам сижу под навесом, откуда телегу видно, вроде дремлю. Дремлю, значит, головой качаю и сквозь сон вижу, как незнакомые мужики подошли к телеге, о чем-то толкуют и моих лошадей отпрягают. Воры! Это я сразу понял. И как закричу не своим голосом! Прибегает часовой, а я на воров показываю. А они, конечно, не ждут —

давай бог ноги...

— Вот, господи, что на белом свете творится! — возмущается тетя Анастасия, а мама спрашивает:

— И ты не убоялся, Тамошелис? Ведь воры-то невесть что тебе могли сделать! Счастье еще, что жизни не лишили.

— Известное дело, все могло быть. Хорошо, что я гвалт поднял... Так и спас лошадок. Но мои горести еще не кончились. Из Сувалок погнали меня в самую Пруссию...

— В Пруссию? — дивится мама. — В такую даль? А как там, в этой Пруссии, Тамошелис?

— Одно горе, — рассказывал отец. — Ехали мы, ехали, пока не приехали в Жидкемис. Городок маленький, погорело все, кое-где народ по пожарищу роется...

— Боже ты мой, боже! — вздохнула тетя. — И в Пруссии ишь не сладко... Всюду одно горе, те самые беды...

— Вот уж истинная правда, — подтвердил отец. — А оттуда поехали в Гольдап. Городок-то, видать, был хороший, каменный. На улицах липы растут... Только дома-то разграблены, двери выломаны, окна разбиты. Вошел в один дом — красота, как в костеле. И ни души. Пол крашеный, местами аж сверкает, а на нем навалено книг, стулья красивые порублены... Вот взял там одну вещичку, говорю, детям привезу показать.

Отец развязал мешок, положенный на лавку, и, развернув бумагу, поставил на стол маленькую фарфоровую девушку. Она была краснощекая, с длинными темными волосами, в расширяющейся книзу юбке и в жилетике, застегнутом на груди. Красивая, ну просто прелесть.

— Ах ты, господи боже! — Мама даже руками всплеснула. А мы глядели, выпучив глаза — такой красоты в жизни не видели.

— Может, оно грех, Тамошелис, — сказала тетя. — Чужую вещь ведь забрал?

— Какая там чужая! — сказал отец. — Такими вещами там мостовые завалены, а людей — ни слуху, ни духу. Куда они все подевались, одному богу известно. Во всем городе каких-нибудь трех стариков и видел. Солдаты говорили, что пруссаки все сбежали в Кенигсберг, заперлись там и, говорят, не сдадутся, хоть бы что...

Отец рассказал, что из Гольдапа он уехал через леса, через Тсльмипкемис, пока не выехал к озеру Виштитис. А там уже вроде дома — всюду свой народ: и накормят и спать уложат. Ехал он проселками, где солдаты не шляются, и кое-как добрался до дому.

— А дома что слышно? — спросил отец.

— Ничего, здоровы все, как видишь, — сказала мама. — Только неизвестно, что есть зимой будем. Чего германец не сожрал, теперь другие...

— С нами еще полбеды, — сказал отец. — Насмотрелся я — вот кого из дому выгнали, тому житья уж точно нет. Горюют людишки неслыханно. И изб сколько на прусской границе пожгли, народу сколько зазря поубивали, и сказать того нельзя! Нам еще нечего бога гневить...

Женщины вздыхали, вытирали слезы, обсуждая чужие горести. А мы были счастливы — все на месте, отец вернулся домой, война где-то далеко...

— А лошадей придется спрятать, — сказал отец. — Опять из дому погонят. Только сам не

знаю, куда их теперь... Было бы лето, тогда дело другое. А теперь ведь в поле не поддержишь — замерзнут. И человеку при них мученье.

Все-таки, едва только лошади поели и отдохнули, в сумерках Пиус сел на одну из них верхом и увел из дому. Куда, даже мы, дети, не знали. Гадали, что, скорей всего, в трямпиняйский овраг, где лошадей можно спрятать среди деревьев и кустов, а то и в самый Вартялинский лес... И несколько дней мы не видели ни Пиуса, ни лошадей. Наконец брат, не вытерпев, проголодавшись, снова вернулся с лошадьми домой. С подводой почему-то больше никто не гнал.

НЕЗВАННЫЕ ЖИЛЬЦЫ

Кажется, еще стояла зима. На полях топорщились пласты осевшего, почерневшего снега. Но в теплые дни во всех канавах ужа клокотала мутная вода. Вылезали из-под снега раскисшие пашни, не вспаханное с осени жнивье, зеленые, слабые ростки озими.

— Германец фронт прорвал... — снова заговорили перепуганные люди. — Не приводи господи... Говорят, как налетят теперь, то всему конец — живой нитки не оставят.

Выйдя на холм, мы снова увидели немцев. Валило их несметно множество. По большаку в сторону Любаваса лошади тащили по снегу и слякоти большие зеленые пушки. Их колеса сидели на прочных железных полозьях.

Подводы везли патроны, снаряды, груды винтовок, лопаток с короткими черенками. Все было сделано аккуратно, прочно. Но день ото дня распутица усиливалась, лошадиные копыта и солдатские ноги разбили дорогу в снежное месиво, в котором увязало все.

Рядом с большаком уже валялись повозки со сломанными колесами, на пригорке высилась куча снарядов. Иногда мы подходили к самому большаку. Солдаты не обращали на нас внимания, им надо было идти, ехать, везти пушки, спешить с обозом. Люди и лошади купались в грязи.

Лишь изредка теперь в наш дом забредали немецкие солдаты. Они уже не были столь чисты, выбриты, как те, которых мы видели в прошлом году, в самом начале войны. Теперь они чаще бывали бледные с недосыпу, с зеленоватой щетиной на щеках, обляпанные по колени грязью. Мы уже знали, что такое «Eier», «Butter», «K?se», «Milch», «Speck».[14] Достаточно было немцу выговорить одно из этих волшебных слов, как на столе появлялись кружка молока, капелька масла или кусочек сала. Мать жаловалась, что дом все больше оскудевает. По правде говоря, не все немцы были такими вежливыми — иные сами забирались на чердак, искали там мясо, ловили оставшихся кур, кололи поросят.

— Вот светопреставление! — стонала тетя Анастазия. — Чего не закопали, все слопали эти негодяи... Ну и жрут — истинно бездонные утробы, прости господи!

— Что и говорить, — горевала и мама. — Не придется ли нам с детками с голоду помереть? Сегодня последнюю муку на чердаке в клети подобрала — трех фунтов и то не будет...

А немцы все тянутся и тянутся по большаку — недели две. Когда подсохла грязь и это великое шествие прекратилось, мы иногда выбегали к дороге. Рядом с ней еще высились кучи снарядов. Никто не охранял их. Мы смело тащили домой белые продолговатые плетенки, в которые были уложены эти снаряды. Эти плетенки теперь валялись где попало. Всюду полно было патронов, кое-где лежали даже винтовки. Юозас, я помню, извлек из грязи

офицерскую саблю со сверкающим, украшенным камешками эфесом. Кто и почему бросил здесь такую замечательную саблю?

Была уже весна, когда однажды утром мы проснулись от криков солдат и грохота колес. Выскочив из кроватей, мы увидели, что лужайка за нашим садом битком набита пушками. Их было тут несколько десятков, их привезли ночью и установили еще в потемках. Стояли они в ложбинке, за садом; отец говорил, это для того, чтоб их не увидели русские, укрепившиеся в нескольких километрах. Русские были там, на востоке и юго-востоке, где голубеют далекие деревеньки и леса, где проходит шоссе Калвария — Сувалки.

Двор и строения запрудили немецкие солдаты. Одни из них черпали из колодца воду и лили ее в корыто, другие, раздевшись по пояс, плескались в воде. Третьи брились, повесив на изгородь маленькие зеркальца, поблескивающие против солнца. За гумном дымилась полевая кухня с большими котлами. От нее исходили вкусные запахи, дразнившие наш пустой желудок.

Немцы выгнали нас всех из избы на кухню, а через день-другой и на кухне для нас не оказалось места. В нашей горнице поселился главный немец, которого мы называли генералом. Приставленный к нему повар хозяйничал на кухне — он день-деньской варил и жарил для генерала всякие яства. Мы перебрались в клеть.

Хорошо еще, что на дворе не было холодно. Мы, дети, спали на чердаке, где раньше ссыпали зерно. Теперь зерна не стало, и мама разложила здесь наши убогие постельки. Внизу стояли две кровати. На них теперь спали родители, а на сундуках постелили для себя девочки и тетя Анастасия. С родителями спал только наш меньшой, Пранукас. Недавно родился еще один братик — Казукас. С ним было хуже всего. Он плакал ночи напролет: мама говорила, у него ушки болят. Потом ему нужны молоко и сахар, а этого сейчас и не пытайся достать.

Как мы не умерли с голоду в этой клетке, один бог знает. Все, что у нас было, слопали наши незваные гости. Скотина давно перевелась. На наших лошадях весной уехал какой-то толстый немец. Когда отец попытался было с ним спорить, тот извлек из кожаной кобуры револьвер и приставил ему к груди. Потом, что-то подумав, немец пригнал отца в избу, вынул из кармана записную книжку, написал в ней что-то карандашом, зажег стоявшую на окне свечу, накапал на бумагу воска и прижал к нему пуговицу. Эту справку, которую называли «шейне», он сунул отцу в руку. Потом выяснилось: в этой «шейне» было написано, что за все заплатит царь. Была еще приписка, чтоб все жители оккупированного края поцеловали немцев в соответствующее место... Отец, узнав, что было написано на этом листке, плюнул и, порвав его, растоптал ногами.

— Вот вся ихняя правда! — горько сказал он. — А были такие, кто говорил в начале войны, что германец нам свободу присосет. Вот ихняя свобода — грабить все да над людьми измываться!..

— Свободу, свободу, — откликнулась мама. — Дети с голоду пухнут — вот те и свобода!

И правда, как только мы не перемерли с голоду! Каждый день мы ели все меньше и меньше. Какой-то жалостливый немец иногда приносил нам в клетку селедку-другую или хлеба с повидлом. Все это мы тут же съедали и снова мучились от голода. Ходили высохшие, со сморщенными бледными лицами. Одежка на нас болталась. По ночам вопил голодный Казукас, а мама приговаривала:

— Ушки у бедняги болят... Знала бы я, что делать...

ГЕБУРТСТАГ

Целыми днями в избе и во дворе мелькали немцы. Они заполнили всю избу, гумно, хлев, в котором давно не оставалось никакой скотины — все немцы угнали, а то на месте закололи и сожрали. Солдаты провели телефон и по этому телефону говорили из избы с кем-то невидимым. Во дворе чистили и драили оружие, полуголые, а то и совсем нагишом, не считаясь с женщинами, как будто их и не было, солдаты умывались из корыта, купались, плескались у колодца. Тетя Анастасия говорила с возмущением:

— Будто жеребцы, прости господи!

В первые же дни солдаты за гумном на лугу выкопали длинную канаву. В концах канавы скрестили по две жерди, а на них вдоль положили жерди подлинней. Вокруг ямы натыкали березок. Поближе к избе была выкопана вторая яма, поменьше. Ее тоже прикрыли березками. В большую яму то и дело бегали солдаты. Малая предназначалась для генерала. После завтрака, пока он сидел там, рядом стоял немчур с винтовкой, видно охранял генеральский покой. Солдаты в это время притихали, переставали сновать туда-сюда, — казалось, за березками происходит дело исключительной важности и не приведи господи помешать ему...

Раз в неделю во двор въезжала огромная крытая повозка, запряженная двумя крепкими лошадьми. Это приезжали так называемые маркитанты. Они продавали солдатам шоколад, мармелад, плоские бутылки с напитками, орехи, сигареты, печенье. Мы издали глядели на все это, глотая слюнки. Увы, нам очень редко перепало кое-что: четырехугольное печенье или плиточка шоколада с кусочек сахара величиной.

В один прекрасный день уже с утра во дворе поднялась суматоха. Солдаты о чем-то советовались, спорили, к чему-то готовились. Один из них, родом из Гумбинена, нам объяснил:

— Сегодня наш бефельсхабер[15] свой гебуртстаг[16] праздновать хочет. Будет большой фест,[17] ганц[18] весело!..

Около полудня приехали маркитанты. Солдаты спустили с повозки большую бочку и вкатили ее в избу. Когда вынимали бочонок поменьше, деревянные обручи бочонка соскользнули, и наземь, в навоз и истоптанную сапогами траву вывалилось масло. Немцы ругались, расхаживая вокруг, потом один из маркитантов в белом переднике черпал эмалированным половником масло и швырял в ведра. Увы, часть масла была до того грязная, что немцы махнули на него рукой.

Наши женщины, увидев, что немцы не запрещают, стали собирать эту грязную тюрю в миски. Немцы смеялись, схватившись за животы, видя, что не только мама и тетя, а и другие женщины, успевшие прибежать из деревни, выскребают жижу.

— Отмоем, и хоть детишкам будет, — говорила Андзюлявичене. — А то ведь, боже ты мой, с голоду пухнут...

Праздник начался в обед. Солдатский хор, остановившись в палисаднике прямо посреди цветов, что садила мама, тянул под окном горницы непонятную немецкую песню, даже окна дрожали. Время от времени солдаты повторяли одно и то же:

Gloria, gloria,

Gloria, victoria![19]

Слова чем-то напоминали «Глорию», которую поют в костеле, но непонятно, кто была эта Виктория.

— Наверно, баба какая-нибудь, — сказал отец, долго слушавший песню. — Не жена ли генерала, часом. В ее честь, видать, и распевают...

Генерал, чисто выбритый, улыбаясь, глядел на солдат из открытого окна горницы. Потом он вышел на крыльцо, держа в руке рюмку с розовым напитком. Рюмка была красивая, с позолоченными краями, на длинной ножке, и генерал пальцами в перстнях держал ее тоже очень красиво. В избе уже откупорили бочку красного вина. Солдаты в белых передниках разносили его в ведрах и разливали солдатам половником в плоские алюминиевые кружки. Генерал говорил речь, а закончив ее, поднял вверх рюмку и, запрокинув, выпил. Солдаты трижды крикнули «Hoch, hooh, hoch!»,[20] потом заорали «vivat!»[21] и тоже стали пить вино. Генерал вернулся в горницу. Вскоре приехали верхом еще три начальника — это было видно по тому, как их встретили солдаты. Поручив солдатам своих коней, лоснящихся, сытых, сверкая шпорами и эполетами, прибывшие проследовали к генералу в горницу.

А солдаты все еще топтали цветы в палисаднике и орали:

Gloria, gloria,

Gloria, Victoria!

Между солдатскими ногами я пролез в избу. В нос ударил запах из откупоренной дубовой бочки, которая стояла рядом с лежанкой. В избе тоже было полно солдат. Они пили вино, хохотали, кричали что-то наперебой друг другу, чокались плоскими алюминиевыми кружками. Один солдат взял меня под мышки и поднял, а другой сунул мне ко рту свою кружку, полную вина.

— Na, trink![22] — крикнул он весело.

Я попробовал и, наверное, поморщился. Солдаты, глядя на меня, покатались со смеху.

— Trink! Trink, du Kleiner![23] — кричали они, и я снова отхлебнул вина, хоть оно и показалось мне кислым, невкусным.

Солдаты заставили меня выпить больше половины кружки. Когда меня снова опустили на землю и я улепетнул на улицу, мир показался мне странным, вроде в каком-то тумане. Отчего-то стало страшно весело, и я смеялся, бегая по двору, и тоже, как солдаты, во всю глотку вопил:

Gloria, gloria,

Gloria, victoria!

Чем дальше, тем шумнее становилось во дворе. Солдаты пили не только вино. Открыв плоские бутылки, обклеенные красивыми цветными картинками, рассевшись в садике на

траве, стоя за гумном и за хлевом, они глотали из этих бутылок, смеялись и еще громче пели. Теперь чаще раздавалось не «Gloria, gloria!», а какие-то другие песенки.

Вдруг за воротами кто-то выстрелил.

— Kosaken![24] — крикнул солдат, стоявший на часах у ворот. В мгновение ока во дворе и в доме все переменялось! Из избы и других строений один за другим валялись немцы, держа в руке винтовки, застегивая пуговицы мундиров, нахлобучивая на голову металлические блестящие шишаки.

Вскоре выяснилось, что тревога напрасная — спьяну выстрелил какой-то немец.

Выйдя на крыльцо избы, генерал выругался и сунул в кобуру уже вытасченный револьвер. Он сердито распек солдат. Потом снова заговорил со своими гостями, которые тоже вышли из горницы во двор. Они все стояли перед избой и курили толстые сигары, а дым поднимался все выше и выше и синими облачками рассеивался в воздухе.

Я же, несмотря на всеобщее смятение, все еще был настроен необыкновенно, весело донельзя. Когда я вбежал в клеть, Кастанция, взглянув на меня, сказала:

— Глядите, ребенок назюзюкался, как немец...

Я бросился бить Кастанцию, она схватила меня за руки. Я вырывался от нее изо всех сил, хотел снова выбежать на улицу. Но тут подскочила тетя Анастасия и, крепко схватив меня за руку, сказала:

— Бесстыдники, ребенка напоили... А теперь полезай на чердак и ложись спать!

Мне страшно не хотелось спать, я стремился во двор, откуда доносились смешанное, нескладное пение и вопли.

— И девочек гони наверх! — сказала тетя Анастасия маме. — Надерутся все, как свиньи, и не приведи господи, чего могут натворить! Помнишь, что было с этой полоумной Бабяцкасовой Мааре...

Они все-таки прогнали меня на чердак. Сам не помню, как я разделся и заснул.

На следующее утро у меня болела голова и страшно хотелось пить.

— Слава богу, проснулся, — услышал я тетин голос. — А то будто пьяница какой вчера... И сраму не имут — этак ребенка напавать!

— Какой тут срам, — сказал отец, входя со двора в клеть. — Обошел усадьбу, чего только не натворили. Слава богу, еще дом по пьянке не подожгли. Зато в садике... вчера вечером-то каждое дерево обнимали... А сколько ульев разорено, соты по садику разбросаны... Что теперь найдешь в улье? Меду-то еще не напасено, пчелы голодные, самим есть нечего. Звери...

— А как ночью в клеть стучались! — сказала мама. — Я продрожала до зари. Думаю, выломают дверь, одному богу известно, что сделают. Видела ведь, некоторые и не пьяные на девочек пялились... А с пьяными...

— А я вот лежу ночью и думаю: ворвутся в дверь и к женщинам — я их топором! Как перед господом, говорю... Не выдержал бы, — сказал отец.

Из-под кровати, где они спали с мамой, он вытащил топор с поблескивающим лезвием и сунул его за балку.

Я увидел, как сверкнули глаза отца, и мне стало страшно.

КРАСНЫЙ КРЕСТ

Солдаты вместе со своим генералом исчезли однажды ночью так же неожиданно, как и появились. Пушек за садовой изгородью на лугу не осталось — лишь глубокие колеи от тяжелых колес и трава, порывшая там, где они стояли, напоминали о них.

На юго-востоке гроыхали орудия. Иногда они вроде замолкали, потом снова принимались оглушительно и страшно греметь — мурашки бегали по спине от этого гула. Господи, только бы это сражение не прикатилось сюда, к нам! Далеко на востоке в небо вздымались высокие столбы дыма, а ночью то тут, то там полыхало зарево...

Мы все еще ютились в клети. Стояло лето, но никто не работал. Яровых не посеяли — не было ни семян, ни тягла. На полях всюду разрастался бодяк, сурепка и иные сорные травы. Люди заливались слезами, глядя на землю, превращающуюся в целину.

Мы кормились солдатскими объедками. Однажды, когда одни солдаты покинули дом, а другие еще не заступили, отец выкопал из земли немного спрятанной муки. Мука, увы, уже сопрела, но мы все равно варили из нее похлебку и ели, несмотря на ее приторный, тошнотворный вкус. Тетя где-то достала картошки. Будто лакомство, мы смаковали ее: взрослые получили по две, а дети — по одной картофелине.

Однажды утром я увидел — двор забит повозками, закрытыми брезентом, на котором нарисованы большие красные кресты.

— Это лазарет приехал, — сказал отец. — Вон там, за хлевом, на горке вывесили полотнище с красным крестом. А знаете, почему?

— Почему ж, Тамошелис?

— Такой порядок: где висит крест, туда враг не стреляет: там, значит, больница. Такой уговор бывает во все войны. Помню, в газетах еще до войны писали.

И на самом деле, за садом рядом с нашим картофельным погребом теперь на длинном древке развевался флаг с красным крестом.

Солдаты тоже были с красными крестами на рукавах. Они вынимали из повозок носилки, обтянутые зеленой холстиной, и складывали их в штабеля. Гумно и хлев чистили, выносили оттуда навоз и слежавшуюся соломенную труху. Потом из поместья привезли несколько возов прошлогодней соломы и постелили ее всюду на землю.

Чуть ли не в тот же самый день мы увидели повозки, едущие с востока, от фронта. На деревенских, отобранных у людей телегах лежали раненые. Подойдя к первой же остановившейся во дворе телеге, я увидел двух солдат. У одного голова была завязана марлей, сквозь которую сочилась кровь. Солдат лежал, закрыв глаза, может быть, уже мертвый. Второй был смертельно бледен, и я заметил, что правая нога у него отрезана выше колена и обмотана тряпьем и марлей. Сквозь эти тряпки на солому густо капала кровь. Раненый тяжело стонал и ловил что-то руками, загребая воздух.

Повозка подъезжала за повозкой. Через Полой в сторону нашего дома тащились, поддерживая друг друга, раненые полегче. Несколько часов спустя раненые лежали вповалку во всем нашем дворе. Некоторых из них солдаты с красными крестами клали на носилки и

уносили в избу. В открытые окна изредка мелькали бледные врачи в белых халатах. В руках у них поблескивали какие-то металлические предметы. Больные, уложенные на операционном столе (в избе устроили операционную), стонали, а иногда принимались вопить таким жутким голосом, что от ужаса затыкаешь уши.

За ночь ранеными заполнили все наши постройки. Я заметил, что среди них были не только немецкие, но и русские солдаты. Отец немного понимал по-русски и рассказывал нам в клети:

— Говорят, сильно дерутся. Уложили, говорят, и тех и других навалом. Здесь те, кто в живых остался. А в этих ихних окопах, говорят, кровавое месиво... Солдатик, у которого ладонь оторвало, рассказывал мне, что немцы гранату к ним в окоп кинули, троих на месте уложило, а его в плен взяли безрукого. Говорит, слава богу, отвоевался...

— Куда он теперь денется, бедняга? — говорила мама. — Гляжу я на них, и все они вроде родные дети. Один до того жалобно на меня одним глазом смотрит (другой-то завязан) и просит: «Mutter, Wasser...»[25] А дома, может, его мать ждет не дождется. Пока воды принесла, гляжу; лежит уже неживой — лицо бледное-пребледное... А другой молоденький совсем, как наш Пиус, а без обеих ног. Если и выживет, куда он приткнется, бедняга, калека-то? Кто его кормить будет?

— За грехи людские, за распутство наслал господь такие горести да мученья! — толковала тетя, но отец прерывал ее:

— Что ты, Анастасия? Не знаю, какие уж должны быть грехи, чтоб за них руки-ноги поотрубать, столько здоровых мужиков калеками оставить! Это дело не божеское, а сатаны, нечистого!

На юго-востоке продолжались сильные бои. Каждую ночь мы видели там исполинское зарево, словно там великаны зажгли костры. К утру костры эти потухали, а может, днем их нельзя было разглядеть. Днем и ночью тащились в наш двор телеги с уложенными вповалку тяжелоранеными. Легкораненые приходили сами. К ним подходил наш Казукас и, протянув руку, здоровался. Так они просиживали здесь иногда целый день — санитаров не хватало, да и под крышей не было места, чтоб всех уложить. Самых тяжелых сразу же клали на стол и потрошили. За воротами солдаты выкопали большую яму. В нее швыряли окровавленные бинты, пузырьки из-под лекарств, почерневшую вату. Тут же закапывали отрезанные руки и ноги. Весь наш дом провонял карболкой, эфиром и прочими больничными запахами, даже голова от них кружилась.

«Однажды в наш двор въехала и остановилась телега, запряженная до того дохлой лошадкой, что даже немцы ее не забрали. С нее слезли изможденный литовец с длинными серыми усами и румяная приземистая бабенка. Отец подошел к телеге.

— Издалека будете? — спросил он.

— Из Айстишкяй, Бертяшкасы. Неужто не узнаешь? — откликнулась бабенка. — Беда, сосед. Видишь, что случилось...

Она вытерла слезы, а мы уставились на мальчика одних лет с нашим Юозасом, лежавшего в телеге. Отец помог вынуть его и посадить на землю. У мальчика кровавыми тряпками были обмотаны голова и обе руки.

— Господи! Что же это случилось? — всплеснула руками мама, вышедшая из клети.

— Да ведь, знаешь, ребята! Всюду теперь этого оружия понабросано... Нашли они такую дудку блестящую, поковыряли проволокой... Слышим — за домом грохот, выбежали, глядим

— лежит весь в крови, смотреть страшно... Я и говорю мужу: только бы глаза были целы. Нет ведь больше горя, как без глаз... И неизвестно теперь... И не слышит ведь ничего...

— Узнали мы, что у вас доктора немецкие есть, говорим, повезем, и все... хоть и не наши люди... все ж, может, помогут...

Пришли санитары с красными крестами на рукавах, положили ребенка на носилки и понесли в избу, как сказал отец, оперировать. Родители сидели во дворе на траве, в тени тележки, и медленно жевали заплесневелую хлебную корку. Через какой-нибудь час мальчика вынесли из избы и уложили вместе с солдатами на сеновале. Родителям кое-как растолковали, чтоб приехали за ним через две недели. Проходя мимо сеновала, теперь я каждый день видел и этого мальчика из Айстишкяй. Его голова была забинтована и походила на большой клубок белых ниток, а правая рука, короче левой, висела, подвешенная к потолку...

Каждое утро санитары ходили по всем строениям и собирали окоченевших, уже не дышавших солдат. Мне страшно было проходить мимо трупов, сваленных в ряд у гумна. Лица бледные, остекленевшие глаза глядят куда-то в пространство, хоть и ничего не видят.

Покойники лежали в одних рубашках — грязных, в запекшейся крови, в испражнениях. Потом приезжала зеленая широкая военная повозка, санитары сваливали трупы один на другой, чтоб не пришлось лишний раз ездить, и везли их хоронить на Часовенную горку. Там когда-то погребали детей и стариков из нашей деревни, кого лень было возить в далекий Любавас. Теперь здесь солдаты вырывали просторные могилы и сваливали туда столько трупов, сколько набиралось за ночь.

По ночам мне снились то раненые, то мертвецы, и, рассказывают, я даже вопил посреди ночи. Но вот что удивительно — со временем я к этому привык и ничего больше не боялся.

КАК Я ПАС ЛОШАДЬ

Немцы, вывесив на пригорке за садом флаг с красным крестом, зажили себе преспокойно, не боясь, что дом обстреляют русские. Трудно сказать, могли ли русские разглядеть в свои бинокли эту тряпку с крестом, фронт-то ведь находился все-таки в нескольких километрах. Зато сами немцы какое-то время спустя снова привезли и поставили свои пушки на Полое, затем на нашем огороде в Гульбинавасе, вырыли для них ямы и утыкали ветками. Они долго куда-то целились, глядели в бинокли, а потом принялись изредка постреливать.

И вот однажды на наших полях, в Полое, у батрацких, даже на поле будвечайского Скамарочюса стали взрываться русские снаряды. Где-то вдалеке негромко прозвучит выстрел. Вскоре в воздухе возникает ужасающий вой. Этот вой все усиливается, растет, и вот уже весь воздух свистит, дрожит и ревет. Так и кажется, что свалится на тебя. И ты бежишь куда-то, спотыкаешься, лежишь, схватившись руками за голову, — ведь снаряд непременно попадет в тебя, только в тебя, и ты больше не встанешь.

Снаряд падает где придется, иногда даже на высохшей пашне, неподалеку от дома. Он взмывает вверх землю — глину, песок, торф, и над полем долго плывет облако дыма, пока не рассеется. Когда подбегаешь к свежей воронке, она еще пышет жаром, а иногда находишь в ней раскаленные стальные зазубренные осколки. Говорят, когда стреляют, лучше всего прыгнуть в свежую воронку — в одну и ту же воронку снаряд второй раз не попадет... Но ни один снаряд не угодил в нашу избу, у которой висело полотнище с красным крестом.

...Однажды сразу после полудня начался сильный обстрел. Я ходил по пригорку, где из-под

земли бьет холодный ключ. У ключа был выкопан небольшой пруд. В нем до войны поили скот, здесь плавали гуси. Теперь неподалеку от него я пас старую исхудавшую клячу, которую немцы бросили. Отец надеялся как-нибудь откормить лошадь и пахать на ней. Вот он и велел мне посматривать, чтоб эта лошадь куда-нибудь не убрела — вдруг она нам останется, когда немцы уйдут?

Я пригнал лошадь к пруду. Она долго пила, чавкая, качая усталой многострадальной мордой. В это время засвистел снаряд, и я свалился на землю. Не знаю, сколько времени я пролежал. Потом я сидел у пруда и отмывал кровь, что пошла у меня из носу. Мыл я, мыл, а кровь все шла да шла, и я не знал, почему она никак не перестает.

Недалеко от батрацких по-прежнему бухали снаряды. Каждый раз после взрыва вверх взлетал серый земляной столб. Я все умывался да умывался, а кровь все текла. Потом до меня дошло, что кровь вроде идет не из носу, и вдруг я нащупал рану на лбу. Рана у меня совсем не болела, но, когда я потрогал ее, из нее еще сильнее пошла кровь. Тут я услышал Пиюса и увидел его самого.

— Что с тобой? Что ты натворил? — испуганно закричал он.

— Да вот кровь идет, — ответил я, глядя, как падают в воду капли крови и расходятся на ней.

— Да тебя в голову ранило, — сказал Пиюс, поднял меня и спросил: — Сам дойдешь?

— А как же, — ответил я. — Почему это я не дойду?

Я шагнул и снова свалился наземь, но тут же пришел в себя. Брат взвалил меня на спину, как дети обычно таскают друг друга — на закорки. Вскоре я уже был дома и лежал на чердаке клетки. Пришел немецкий доктор, о чем-то меня расспрашивал, но я ничего не мог понять. Потом он взял пропахшую лекарствами марлю, обкрутил ею много раз мою голову и остриг кончик блестящими ножницами.

Ничего у меня не болело, было приятно, что обо мне так заботятся. Мама помазала высохшую горбушку мармеладом. Мармелад удивительно вкусно пахнул сливами, как тот бочонок, который когда-то, я помню, выгрузили из повозки приехавшие в нашу деревню маркитанты и из которого потом один из них половником бросал этот мармелад в котелок каждому солдату.

— Не лошадь ли копытом по лбу заехала, — сказала тетя, печально качая головой. — И лезет же под ноги лошадям! Ну и Тамошюс — гонит такого глупого ребенка за скотиной смотреть...

— Тамошюс! Тамошюс! — зло сказал отец. — Не осколком ли гранаты долбануло? Там стреляли ведь...

Сам я помнил только, как подгонял лошадь, как в это время стали рваться снаряды, как я бросился на землю, а потом смывал кровь...

Так я и ношу с той поры на лбу отметину. Долго мне казалось, что она сильно портит лицо. Боялся даже, что из-за нее меня не полюбит ни одна девушка. И когда, много лет спустя, одна девушка сказала мне, что от этой отметины мое лицо интересней и мужественней, я успокоился. Со временем я даже забыл про свой шрам — таким он мне показался маловажным по сравнению с теми событиями и переживаниями, которые ждали меня. И вспоминаю иногда о нем, лишь взглянув в зеркало.

Немецкие солдаты заняли не только наш дом. Они стояли и в поместье, и у соседей Бабяцкасов, и у Андзюлявичюсов. Там они день-деньской, как говорили люди, «учили муштру» — кололи штыками привязанные к столбам соломенные кули, стреляли по мишеням в ямах, откуда наша деревня брала глину и песок, а по вечерам тянули свои «гории», да так, что поля звенели.

К озеру и не суйся — там прямо солдатский муравейник: одни купаются, другие стирают рубахи, третьи ручными гранатами глушат рыбу. Жуткое это дело. Если бросить гранату, вверх вываливается огромный водяной пузырь с травами, тиной и илом. Потом начинают всплывать всякие рыбешки и рыбы покрупнее. Немцы, раздевшись догола, бродят по хлюпающему болотцу, скачут в воду и прямо руками хватают оглушенных, а то идохлых рыб. После войны в нашем озере редко кому удавалось поймать рыбу — до того ее немец перебил...

Не в силах больше выносить голод, мы решили, что мама со мной пойдет в деревню Граяускай, к родне отца, Жукайтисам. Может, они чем помогут.

Шли мы очень долго и в конце концов дотащились до александравасского поместья. Отсюда в Германию недавно проложили узкоколейку. Посмотрев на рельсы, на дымящий паровоз и длинную вереницу красных вагонов, мама вздохнула:

— Сколько народу эти бессовестные в землю уложили, когда дорогу строили, сказать страшно!.. Говорят, голодом морили... пленные как мухи мерли... Да не одни пленные. И наших мужиков по деревням хватали, на работу гнали... А работали, говорят, днем и ночью, только бы побыстрей...

Все поле у полотна было уложено снарядами. Солдаты грузили их в телеги и по большаку везли в сторону Любаваса и Калварии. В вагоны и на платформы подгоняемые немцами люди грузили тяжелые мешки.

— Наше добро в Германию везут, гады... А нам хоть с голоду помирай — им до того дела нет...

По дороге из Айстишкяй солдаты гнали трех коров — наверное, их только что отобрали. Положив наклонно доски, привязав к рогам веревки, они затащили коров на платформу, со всех сторон обитую досками, чтоб коровы не сбежали.

— Безбожники, — вздохнула мама. — Как воры. Может, малые дети без молока остались... Только чтоб у них утроба была полная...

Я все больше и больше ненавижу немцев.

До Граяускай мы добрались уже под вечер.

По дороге мы видели много сгоревших хуторов. Там уже прошла война. На месте домов торчали печи и еще не обрушившиеся трубы, глинобитные стены хлевов, валялись бутовые камни. Вокруг руин торчали мрачные, опаленные огнем деревья. А людей не видать — сбежали, если кто и остался, то жил в землянках. Кого бы мы ни встречали, народ все был унылый, убогий, оборванный и грязный. Мимо нас по дороге в обе стороны громыхали повозки с немецкими солдатами, изредка виднелись куда-то спешащие верховые. Очень редко встречались люди в поле. Лишь у озера Дотамай два старичка косили рожь.

У Жукайтисов я бывал еще до войны. Мне нравился этот дом, как аистово гнездо, со всех сторон укрытый высокими могучими деревьями. Нравился и сад, полный старых яблонь и

груш, и боровые, старинные улы, за которыми ухаживал и подрезал соты старик Жукайтис. Это был человек старинной закваски — рослый, крупный, силы необычайной, но и ласковый, добрый. Однажды он приехал к нам, и я, здороваясь с ним во дворе, забыл, как надо целовать ему руку — ладонь или тыльную сторону. Он взял мою маленькую ручонку в огромную, с лукошко, лапу, и я поцеловал, кажется, кончики пальцев, но он не обратил на это внимания и, улыбаясь, сказал:

— Ого, ну и вырос же ты! Больше всех мужиков! Скоро до потолка дорастешь.

Старик, увидев, как мы с мамой входим в калитку, закричал:

— Эльзбета! Ну что ты скажешь?! А мои-то бабы всех вас давно похоронили... Ведь из самой что ни на есть войны, из самого огнища... Ну, иди в дом, там расскажешь. И этот воробей уже в мужчины вышел! Э, что это у него на лбу? Не шрапнель ли, часом?

Мы вошли на половину стариков. Жукайтене, согбенная в три погибели старушка, поздоровавшись с нами, принялась хлопотать у печки. Вскоре в избе запахло жареным салом. У меня тут же потекли слюнки. В избу вошли и молодые Жукайтисы, которые жили на другой половине, и их дети. Много было тут рассказов: мама выкладывала про нашу жизнь, изредка вытирая краешком платка слезы, а старая Жукайтене сидела рядом, вздыхала и, глядя мамину руку, приговаривала:

— Ах, все натерпелись и страху, и бед... да нам-то что говорить? Сколько народу из родного дому погорельцами ушли, сколько людей в чужие края угнали!.. А иных и в живых нету...

И она рассказала случай, как якобы за укрывательство пленных или лазутчиков в одной деревне расстреляли всю семью, а дом пустили пеплом. (Позднее, много лет спустя, вспомнив это, я написал рассказ «Ночь».)

Мне очень нравилась старая Жукайтене, а еще больше — Жукайтис. Я знал, что они живут на иждивении у сына, что сын не очень-то хочет их содержать, а для снохи они поперек горла стоят. Об этом в нашей семье говорили и позднее, уже после войны...

И теперь, когда молодые ушли на свою половину, старик Жукайтис, сунув в кармашек жилета потухшую трубку, вздохнул и сказал:

— Тяжко и нам, Эльзбета, ох как тяжело каждый кусок от детей брать!.. И несогласия хоть отбавляй, и мать вот по ночам не спит, плачет все... Надо бы тебе помочь, а думаешь, есть из чего? Молодые-то уже другие, нет охоты помогать, хоть бы и родным...

Старуха, собирая со стола посуду и сметая крошки, сказала:

— Ничего, Эльзбета, последним поделимся, что есть... Враги мы, что ли?

Мама, сидя под окном на лавке, снова вытирала слезы:

— Может, даст бог, кончатся наши беды... Отблагодарим, отплатим, чем сможем... Знаешь, народу-то у нас много... И малышей больше всего жалко... голодные, бедняжки.

— Не говори, не говори, Эльзбета, сам знаю... — сказал Жукайтис. — Уж как-нибудь... Сколько сможем...

Образ этой усадьбы и ее жителей долго с необыкновенной яркостью стоял в моей памяти. Много лет спустя я изобразил старика Жукайтиса под именем Юраса Тамашониса в рассказе «Дерево и его побеги». Там довольно точно, как мне сейчас кажется, передана атмосфера этого дома, хотя события, конечно, вольно перетолкованы — кое-что было действительно, а кое-что и присочинено.

Мы вернулись домой на следующий день сытые (усадебка Жукайтисов пострадала от войны меньше других в этой округе). Несли с собой и подарки. Старая Жукайтене завернула нам в тряпицу большой кусок сала, каравай хлеба, превкусные, пахнущие чесноком колбаски.

Чтоб не наткнуться на немцев, домой мы возвращались межами, тропами, заросшими травой проселками. Ведь если какому-нибудь солдату вздумается нас ограбить, что ему сделаешь...

Счастливо добрались мы до деревни Лепалотай. А оттуда увидели высоченный, с полнеба, столб темного дыма.

— Господи! Не наш ли дом горит? — вздрогнула мама и перекрестилась. — В нашей же стороне...

Мы прибавили шагу. Обогнув Александрас, где у узкоколейки вечно шлялись немцы, с Будвечайской горки разглядели, что горим не мы, а Андзюлявичюсы. Издали было видно, как вокруг дома бегают солдаты и деревенские. Хлев и гумно Андзюлявичюса уже успел сожрать огонь. Обгорели бревна, шел дым, а среди пепелища валялись трупы немецких лошадей. Я сосчитал чуть ли не с дюжину.

Закрыв руками лицо, у пожарища рыдала Андзюлявичене. Кастантас Бабяцкас, стоя у пруда, откуда, чтоб тушить пожар, вычерпали почти всю воду, рассказывал:

— Пес знает, как они эти избы подожгли. Мы со своего двора увидели, что соседское гумно горит. В гумне-то, верно, не только лошади стояли, там и патроны были и ручные гранаты. Загорелось и как заладит бахать, будто на фронте, можно подумать, русские вернулись. А у немчуры храбрости нет, чтоб в огонь лезть. Тут и хлев загорелся. А там ведь тоже лошадь к лошади, все сено у нас в деревне гадины сожрали. И тут патроны татакают, гранаты рвутся, слушать страшно. Народ согнали воду носить, а тут и гасить-то нечего.

От пепелища подул ветер. В нос ударил тяжелый запах горелого мяса. Рядом с лошадьми валялись винтовки с обгоревшими прикладами, пулеметы с облезшей краской, расплавленные латунные гильзы.

Наши очень нам обрадовались. Когда мама, закрыв от чужого глаза дверь, раздала всем по ломтику хорошего хлеба и по кусочку сала, это был такой праздник, какого никто из нас давно не знал. До поздней ночи мама рассказывала про наше путешествие. Отец с тетей Анастасией особенно радовались, что их родня Жукайтисы остались живыми в военной буре.

Лишь несколько дней спустя немцы, велев людям вырыть ямы, свалили в них лошадиные трупы. Мы же, дети, собирали на пожарище обгоревшие винтовки без прикладов и прятали их в кустах, совали под дерн, закапывали в песочных ямах на берегу озера.

КАДУШКА МЕДУ

Я не помню, когда исчезли немцы из нашего дома. Кажется, случилось это осенью, потому что в клети стало холодно. Все мы мечтали о тепле избы, о горячей гороховой похлебке, о щах. Дом был чист, хоть шаром покати. У нас не было не только лошадей (правда, та лошадь, что оставили немцы, чуть оправилась, но она стала старая, невероятно старая и немощная), и все-таки жизнь полегоньку налаживалась.

Может, и месяца не прошло, а на гумне, за соломой и сгребками, упрятанные поглубже, уже росли два поросенка. Их прислали те же Жукайтисы. По двору носилась маленькая собачонка: старого нашего Маргиса пристрелили еще первые стоявшие у нас немцы. Мама,

тетя Анастазия и девочки теперь работали на огороде — там еще осталось кое-что, чего не успела сожрать немчура, — длинная, красная, удивительно вкусная морковь, брюква — она стала для нас лакомством. Женщины усердно убирали капусту, шинковали и бросали в бочку. Хоть что-нибудь, да будет на зиму! Может, и не придется подыхать с голоду.

Немецкие солдаты теперь, когда фронт передвинулся на восток, редко забредали в наш дом. Говорят, власти даже реквизицию запретили — по правде говоря, поздновато, реквизировать-то больше было нечего. По деревням то и дело скакали верхом жандармы. Иногда они, изрядно откормленные, с двойными подбородками, задастые, появлялись в деревне и на телеге. Всем было ясно, что они явились не только из-за подушного и собачьего налога, но выискивают, не удастся ли еще чего-нибудь содрать с десятки раз ограбленных крестьян.

Однажды в выломанные ворота во двор въехала бричка, запряженная ладным гнедым конем. В бричке сидел тучный вахмистр из Любаваса, а рядом с ним — волостной старшина, местный немец Зикис. Едва выйдя из брички, вахмистр принялся орать, зачем по двору бегают непривязанная собачонка. Напрасно отец объяснял через Зикиса, что собачонка малая и никому зла не делает. Немец выписал квитанцию — тотчас плати собачий налог и штраф за содержание собаки не на привязи. Отец отказывался, говорил, что денег нет. Немец, побагровев, что-то крикнул, а Зикис тут же перевел:

— Господин вахмистр говорит: кто не хочет платить за свою собаку, тот сам собаки не стоит...

Жандарм, видно, был не в духе. Выбравшись из брички, он обходил со старшиной строения. На гумне штыком тыкал в солому (к счастью, поросят не нащупал, хоть мы и здорово перепугались). Рыскал по хлеву, лазил на чердак, наверное в надежде, что люди по-прежнему держат здесь сало и колбасу. Всюду было пусто, и это еще пуще взбесило вахмистра. Ничем он не мог тут поживиться.

Он двинулся в клеть. Разворошил солому в кроватях, еще не перенесенных в избу, лазил и там на чердак. Увы, и тут пусто, как подметено. Вахмистр стал шарить за стропилами и решетинами, словно там могли быть спрятаны какие-то сокровища.

И что вы думаете, немец вдруг обрадовался, даже глаза у него заблестели! Он нащупал рукой какой-то продолговатый предмет, крепко обхватил его и вытащил. Зикис беспокойно заерзал и взглянул на стоящего рядом отца, который был удивлен, даже ошарашен. Из соломенной крыши клетки вахмистр вытащил карабин — винтовку с коротким дулом, какие бывают у кавалеристов. Еще пошарив в соломе, он обнаружил несколько обойм патронов.

— Donnerwetter![26] — выругался жандарм и что-то быстро, зло затараторил. Он глядел на отца налитыми кровью глазами. Руки у него беспрестанно дергались.

— Господин вахмистр говорит, — переводил Зикис, — что за утайку оружия немецкие власти расстреливают без жалости любое гражданское лицо. Понятно? Сядешь с ним и поедешь в Любавас, господин вахмистр говорит, тебе придется ответить головой перед военной немецкой властью!

Я видел, что отец побелел как бумага. Руки у него затряслись. Он глядел на нас и, видно, хотел что-то спросить, но мы, стоя за немцами, испуганно молчали. А ведь не кто иной, как мы с Юозасом, после ухода немцев нашли на гумне в соломе оставленный ими карабин и сунули под стреху клетки.

— Это мы! — крикнул наконец я, задрожав и кинувшись вслед за отцом. — Папенька, это мы с Юозасом.

Зикис, видно, перевел мои слова жандарму, но тот не обратил на них ни малейшего внимания. Вытащив из кобуры большущий револьвер и приставив его к спине отца — найденный карабин был у него в левой, — он подгонял отца к бричке.

Весь дом сразу понял, что случилась страшная беда. Мы заревели еще громче. Подбежала мама и, говоря что-то по-литовски вахмистру, схватила отца за руку, но вахмистр дулом револьвера отпихнул ее в сторону.

Зикис, глядя на побагровевшее, даже черное от злобы лицо жандарма, вполголоса сказал отцу:

— Ей-богу, говорю тебе, хозяин, живым домой не вернешься! Слышал, что случилось со Свитоюсом из Крийобаляй? Тоже ведь оружие прятал. Вторая неделя как в земле гниет. А коли что, могут не только тебя, а и всю родню...

— Я не прятал... — говорил отец, и я видел, как трясутся его посиневшие губы. — Слышали же, дети... Малые, глупые... Будто они что разумеют...

— За свой дом хозяин в ответе, — сказал Зикис. — Тут никакого оправдания нету. Вот что я тебе скажу... Было бы у тебя золотишко...

— Откуда, человече? — удивился отец. — Будто в нашем доме может быть такое?

— А что бы ты мог дать господину вахмистру? Думаешь, он зверь? У него же тоже муттер есть, детишки в Инстербурге... А вы все марш отсюда! — крикнул Зикис, размахавшись длинными руками. — Los, los! Schneller![27] Чтоб духу вашего тут не было!

Мы кинулись врассыпную. Издали мы видели, что между вахмистром, отцом и Зикисом идет торг. От брички они втроем наконец повернули к избе и довольно спокойно уселись во дворике на лавке. Вахмистр сунул свой револьвер обратно в кобуру, лицо у него было уже не такое багровое. Зато лицо отца, совсем белое, теперь чуть покраснело. Говорили то отец, то жандарм, а Зикис переводил слова то одного, то другого. Наконец вахмистр остался один во дворике. Положив рядом с собой найденный карабин, он закурил сигару. В это время отец с Зикисом отправились на другой конец гумна.

Только теперь я узнал, как, наверное, и другие в нашей семье, что там, под фундаментом гумна, отец устроил тайник. В нем он держал разные припасы, спрятанные так тщательно, что никто их не нашел, хотя каждый немецкий отряд и тыкал штыками во все углы.

Через минуту вернулись отец с Зикисом. Отец, схватив в охапку, тащил кадушку с ведро величиной. Мы сразу поняли, что он несет жандарму мед, который уберегли от всех многочисленных немцев. Когда он поставил кадушку на лавку рядом с вахмистром, тот усмехнулся, снял крышку и понюхал. Потом вынул из кармана складную алюминиевую ложку, зачерпнул меду, попробовал и еще раз улыбнулся.

— Jawohl, jawohl!..[28] — сказал он и принялся что-то объяснять Зикису.

Зикис перетолковал отцу:

— Господин вахмистр говорит, мед хороший. Он доволен. Говорит, пошлет для своей муттер и деток в Инстербург... А ты гляди... Коли бы не мед, сам знаешь: пиф-паф, и все! Немецкие власти machen keinen Spass.[29]

Обняв кадушку, Зикис с трудом потащил ее через двор и поставил на передок брички. Вслед за ним шел вахмистр с карабином в руке.

Когда они уехали, мы стояли ни живые ни мертвые. Вошли в избу. Мама, рыдая, бросилась

на шею отцу.

— Тамошелис, родимый... Слава тебе господи...

— А этих гадов ребят убить не жалко... Этакое несчастье всем на голову накликали. Идите сами обыщите все углы и, что куда ни засунули, чтоб тотчас в озеро у меня! Коли найду — убью!

Впервые в жизни мы поверили, что отец и правда может убить. Мы понеслись разыскивать и уносить из дому оружие и патроны, а их было насовано в разных местах немало.

Все это мы перепрятали в поле, в песочных ямах. Ведь до чего хорошо понатыкать патронов в землю и разжечь наверху костер. Как они грохают там и подскакивают! А самое большое удовольствие — зарядить винтовку (правда, обгоревшую, принесенную от Андзюлявичюсов) настоящим патроном и выстрелить из нее в воду в озере или просто в пригорок.

Хоть и крепко запрещал нам отец такие игры, еще долго в поле гроыхали патроны — ребята со всей деревни продолжали эту страшную игру, которой научились у солдат. Юозас приладил к обгоревшей винтовке колеса. Теперь он тащил по полю на веревке своего рода пушку и изредка бухал из нее. Однажды отец увидел, отобрал у него это злополучное орудие и расколошматил обухом. Согнутое дуло он бросил в лужу за гумном.

Такие-то были наши заботы и игры в те годы.

НАДЕЖДА

Однажды отец вернулся из местечка веселее обычного и, поглядев на меня, сказал:

— Ну-ка, сынок, собирайся в школу! Приехал учитель. Снова начнет учить детей...

...И вот я снова ученик.

Весь Любавас сгорел. Нет больше костела на холме. Вокруг торчат лишь опаленные деревья. Не стало почти всей той улицы, где была старая школа и лачуга Калинаускаса. Неизвестно, живы ли Калинаускасы, а если живы, где они ютятся с тех пор, как сгорел их домишко. На той же улице на углу рыночной площади торчат обгоревшие стены кабака... В местечке тихо и неприютно. По улицам бродят изможденные люди. Лавки пусты — хоть шаром покати. Лавочники уныло стоят за прилавками, если только дом, где устроена лавка, вообще не сгорел...

Вот Верхняя, куда меня однажды прислали из дому за имбирем, а я забыл, как называется это снадобье от резей в животе, и попросил люциферу, рассмешив этим владелицу Верхней. Вот лавка, куда нас послали с Юозасом купить сахару, а мы по дороге домой почти весь съели. Мама удивились, когда мы отдали ей каких-нибудь пять или шесть кусочков. Это было еще до войны...

А теперь я как большой иду в школу. Школа устроена в уцелевшем доме органиста Грудзинскаса, в двух комнатах. Сюда уже приволокли откуда-то школьные парты, доску. Когда я впервые открыл дверь, меня встретили взгляды десятка детей. У окна стоял высокий, красивый учитель. Он громко спросил меня:

— Новый ученик? В школу пришел?

— Да, господин учитель, — смело ответил я.

— Что-нибудь умеешь?

— Умею читать.

Учитель подал книгу для чтения и, не глядя, открыл:

— Читай!

Я читал про странного человека, которого называют сутужником. Этот человек ходит по дворам и кричит: «Горшки сутужить! Горшки сутужить!»

Никогда я не видел такого странного человека и не понимаю, что это такое — сутужничанье.

— Хватит, — сказал вдруг учитель, едва я только вошел во вкус. — Читаешь хорошо, только тихо. Ори так, чтоб весь класс слышал... А писать?

— И писать немножко умею...

Он махнул в сторону доски. Я смело взял кусочек мела.

— Напиши: «Я хочу хорошо учиться». Я написал.

— Еще напиши: «Единственная корова еще не доена». Оказывается, я сделал несколько ошибок. Подойдя к доске, учитель поправил меня.

— Пустяк, — сказал он, явно довольный. — Почему тут надо писать иначе, узнаешь потом. А теперь иди и садись за ту парту, к Жилинскому. Будешь учеником второго класса.

Я был страшно доволен, что сразу стал учеником второго класса и буду сидеть с таким большим парнем, на голову выше меня. Учитель дал мне книгу для чтения, две тетради, грифельную доску, вставленную в некрашеную деревянную рамку. Никогда я еще такой доски не видел, она мне очень понравилась. К доске полагался грифель с заостренным концом. На рамке дырочка, через нее протянута красная нитка, на нитке болтается крохотная подушечка.

— Для чего это? — тихо спросил я Жилинского.

— Стереть, если плохо написал.

Мы тотчас переписали на свои доски то, что учитель написал на классной. Он проверил ошибки. Затем мы стерли написанное. На следующем уроке считали, сколько будет два и десять, два и двенадцать, сколько будет, если от восемнадцати отнять семь. Все это казалось мне легким и понятным.

Потом урок немецкого языка. Я уже знал такие слова, как Mutter, Wasser, Eier, Brot[30] и другие. Нам надо было выводить немецкие буквы. Это не так-то просто: буквы у немцев с острыми углами, а некоторые еще со странными завитушками. Мы все писали и писали немецкие А и В, а они все какие-то кривые, некрасивые.

Потом читали из «Фибеля»:

— Ich lese. Ich schreibe...[31]

...Надо ли говорить, что теперь я самый счастливый человек на свете? Я снова ученик, каждый день я становлюсь все умнее, все ученее. Бывает, просыпаюсь ночью и кричу из чулана:

— Мама! Мама!

— Спи, спи, чего тут? — сонно откликается с кровати мама. — Недавно ведь еще заснули.

— Вставать не пора? Я в школу опоздаю.

— С ума сходит этот ребенок... Ночь еще, самый сон...

Я вроде засыпаю, но вскоре опять:

— Мама! Мама!

— Опять этот ребенок не спит, — вздыхает мама. — Ночь еще, темень крошечная...

А мне все чудится, что я опоздал, вхожу в школу, а все уже после молитвы и пишут или читают. Учитель взглянет на меня с удивлением и злостью, выбранит, а то и домой прогонит, велит явиться родителям, как он поступает с лодырями и теми, кто пропускает уроки.

— Мама! Мама!

Мама наконец встает.

— Истинное горе, что нету часов... — говорит она. — А вроде еще рано. — Мама подходит к окну. — На востоке-то едва брезжит.

Я уже встал. Мне холодно. Я дрожу, пока не натяну одежонку из домотканой пестряди. Ничего потеплее мама не сумела мне сшить. Мама растапливает печь, говорит мне, чтоб еще не умывался, а подождал, пока она воду согреет. Но в школе нам сказали, что настоящий ученик не должен бояться холодной воды. На табуретке стоит большой эмалированный таз. Зачерпнув из стоящего в углу ведра, наливаю в этот таз две большие кружки воды и сую туда пальцы. Вода обжигает руки и лицо, но мне все нипочем. Фыркаю, как делает папа, когда моется, обтираю руками заспанные глаза и нос. Хоть учитель велит мыть и уши и шею, это откладываю на другой день: вода и впрямь слишком холодная...

— Просто ума не приложу, что с этим ребенком делать, — говорит мама тете Анастасии, которая тоже встала. — Ничего не ест, хоть ты его живьем в землю зарывай... Слава богу, масла льняного получила бутылочку от Кярялявичене да картошки полмешка, хоть оладьи картофельные могу испечь...

Быстро съедаю несколько оладий и кусок черствого, невкусного хлеба.

— Ешь, ешь, проголодаешься ведь! — уговаривает мама, она принесла из кухни целую сковородку горячих оладий.

— Некогда, — говорю. — Съем на ходу.

Натягиваю пальтишко, на спину надеваю ранец с книгами.

— Подожди, платком уши обвяжу, еще отморозишь, — идет ко мне тетя со своим платком.

— Будто я баба?! — защищаюсь я от тети. — На кого я буду похож?

— Ты не смотри, на кого ты будешь похож, а смотри, чтоб не замерзнуть... — снова уговаривает мама.

Но я уже не слушаю. Взяв в руки миску с оладьями, иду в дверь. Во дворе съедаю еще несколько штук, а остальные вместе с миской сую под куст в саду. «По дороге из школы занесу миску в избу», — думаю я.

Все это повторяется каждое утро. На самом деле странно, что мне так не хочется есть. А возвращаюсь уже под вечер, иногда даже в сумерках, дни-то ведь все короче и короче. Да и вернувшись, съем ложки две вареного гороха с капустой, и все — больше не могу, ничего не хочется...

— Не знаю, сколько ребенок так выдюжит. Ведь от такой еды ноги заплетаются. Чем он жив, ума не приложу, — не раз приговаривала мама.

В нашем чулане лежал больной отец. Это повторялось каждую зиму. У него страшно болела нога — на голени была небольшая ранка. От боли отец стонал так, что, по словам мамы, слышать было жалко. Иногда эта ранка почти затягивалась, а иногда из нее сочился гной с кровью. Отец корчился от боли, неделями не вставал, ничего не мог делать. Лечил он свою ногу мазью, смешанной из воска, сосновой смолы и еще каких-то снадобий. Когда пришли немцы, он ходил, опираясь на палку. Мы сами не знали, оттого ли, что нога разболелась, или он боялся, чтобы немцы не угнали его на работы, как мужиков из Будвечяй и других деревень.

Теперь он снова лежал в кровати, накрывшись латаным одеялом, и до того жалобно стонал, что я, уходя в школу или вернувшись, едва сдерживал слезы. Он подзывал меня к себе, расспрашивал про ученье. И был доволен, когда я показывал ему тетради, книги, рассказывал, что объяснял нам учитель, что задал.

— Хороший учитель Юлюс Бутаускас, — говорил отец. — Не заносчивый, и голова у него светлая. Он меня уже донимал, чтоб я пустил тебя в гимназию, говорит, в Мариямполь скоро откроется.

Я не знал, что такое гимназия, но если наш учитель говорит, значит, это дело стоящее... И я очень просил отца послать меня в гимназию.

— Послать-то послать, — рассуждал отец. — Но на какие шиши? И раньше ведь не по-барски жили. А германец нас совсем обобрал. Слава богу, еще дом цел, не надо, как другим, в землю зарываться... В гимназии и одежда нужна получше, и квартиру надо снимать, и за ученье платить, опять же еда...

— Ах, все ведь говорят, что ребенок к ученью способный... Да и сами видим, не слепые же, — прерывала отца тетя Анастазия. — Всем бы честь была да перед богом заступничество, коли бы в ксендзы вышел... Да вот, нашего ли разума дело, Тамошелис...

Отец задумывался, но ничего не отвечал тете. Мама тоже сомневалась в моем будущем:

— Блюджюсам из Скардупяй не диво детей в ученье отпускать, — говорила она. — И город под боком, и живут побогаче... А где уж нам!

А я учился все старательней... Я не знал, как там, в Мариямполье, что это за гимназия, но она манила меня, как земля обетованная...

И я каждый день шагал в школу. Выходил обычно еще затемно. Только у тополей трямпиняйского поместья, у дремлющей в снегах, потрескивающей голыми сучьями деревьев Часовенной горки, на востоке обычно занималась холодная сиреневая заря.

Иногда день рассветал без солнца, словно застланный серым молочным туманом, набухавшим меж кустов и деревьев в трямпиняйском овраге. Ручей внизу замерз. В этом овраге очень страшно. В памяти оживают рассказы о разбойниках. Я плетусь через него, кажется, даже не дыша, обливаясь холодным потом. А вдруг натолкнусь здесь на волка или на целую стаю... Где-то я читал, что зимой волки бегают прямо полчищами, голодные, хватают все, что подвернется.

Однажды, когда я вышел из дому, поднялась метель. До поместья я еще кое-как добрался, а дальше началось такое, что исчезли и небо и земля... Шел я в эту метель все дальше и дальше, сперва дорогой, а потом напрямик по полям. Снег с горок сдуло ветром, и ноги только скользили. Зато в лощинах клумпы с верхом черпали снег. Пройдешь несколько шагов, остановишься, вытряхнешь, а через минуту снова полны. Студеный ветер проникал в каждую щелку худой одежки и огнем обжигал руки, лицо, ноги. Потом я чуточку отогрелся, воюя со снегом, оттирая щеки, уши и нос, вспомнив советы нашего учителя, как поступать в подобных случаях.

Казалось, не было конца белым заснеженным полям, утонувшим в белой вьюге. Куда я иду? Где дорога? Мне стало страшно жалко себя. Вдруг никогда не выбраться из этих полей... Никогда меня больше не увидят ни мама, ни братья, и я их...

Спотыкаясь, я брел по какому-то туманному лугу, на краю которого я разглядел в снежном вихре серые прутья вербы. Зашел за незнакомый дом, где метель вроде была потише. Через двор подошел к избе, и в окне сверкнул огонек...

— Откуда же ты, сынок? — встретила меня в избе едва вставшая, заспанная, закутанная в платок женщина. — Неужто из дому выгнали? Пес и тот по такой метели не пойдет...

— В школу, в Любавас... — с трудом пролепетал я.

В избе было холодно. На припечке мерцала тусклая керосиновая лампочка. Женщина совала в печь хворост, и вскоре занялся жаркий огонь.

— Пододвигайся, сынок, поближе к огню, промерз ведь до костей! — ласково говорила женщина. — Ну и родители же у тебя, скажу я, просто сердца нет у них... Выпустить ребенка из дому в такую метель...

— Это не родители, — попытался оправдать я отца и маму. — Мои родители хорошие... Я сам... Меня пускать не хотели...

— Ах, что и говорить!.. И все этого ученья мало... А что из него получается? Германец-то учение русского, а, гляди, сынок, какой зверь... Ни взрослых, ни детей не жалеет — сколько народу погубил, подумать страшно... И теперь все с голоду из-за германца пухнем...

Я грелся перед огнем, но по-прежнему зяб. Страшно заныли голени, с которых при ходьбе сползли онучи. Согрев ноги у огня, я переобулся и крепко обкрутил онучи оборами.

Когда я пришел в местечко, школа еще была на запоре. Вставший недавно сторож тащил охапку дров, собираясь топить печь.

НОВЫЙ МИР

До весны в школе набралось немало учеников — мы едва уместались в двух комнатах дома органиста. Ученье мне давалось легко. Читал я, как все говорили, словно орехи щелкал, писал и считал тоже неплохо. Лучше всех в классе мог продекламировать «Взгляни, прохожий, в долине — Вильнюс». Почему-то всякий раз, когда я начинал читать эти стихи Майрониса,[32] сердце у меня билось сильнее — так мне нравились торжественные, звонкие, столь красиво сплетенные слова.

И отец, и тетя Анастасия когда-то побывали в Вильнюсе. Из наших мест тянулись паломники в знаменитые вильнюсские Калварии — часовни с изображением крестного пути Христа. Хотя

отец был не из рьяных в делах веры и лишь после постоянных маминых понуканий с трудом собирался раз в год к пасхальной исповеди, он, надо думать, когда-то пристал к толпе богомольцев и таким образом добрался до Вильнюса. Это было большое событие по тем временам.

Тетя, вернувшись, долго распространялась про часовенки Калварий и образы, перед которыми она тысячи раз сотворила молитву и спела сотни псалмов, зато отец рассказывал совсем о другом. Теперь я мало что помню из его рассказов, не забыл только, что он где-то слышал выступление писателя Юозаса Тумаса[33] и что его повели в какую-то редакцию или типографию, «где делают газеты». Все это он часто вспоминал; видно, эти события были значительными в его жизни.

Весной, перед уроками, а иногда и во время уроков, учитель выводил нас во двор. Там мы делали гимнастику. Это было новое для нас дело, о гимнастике раньше не слышали ни в одной школе.

Потом он отвел нас на участок бывшей школы, где мы, как кто умел, заступами и лопатками копали землю, делали грядки, сеяли и сажали на них овощи. Тут же черпали воду из уцелевшего школьного колодца и поливали рассаду. Потом рассаду пересаживали более просторно и снова поливали.

Было радостно видеть, как тянутся вверх наши капуста, салат и свекла, как вокруг воткнутых в землю жердочек вьется фасоль и хмель. На краю огорода поднимались крупные подсолнухи, невиданные в наших краях. Мы не могли дожидаться, когда снова пойдём в школьный огород полоть и поливать овощи. Сам учитель работал вместе с нами и говорил нам, чтобы мы и дома завели каждый по грядке и ухаживали за ней, пока овощи не созреют. Многие из нас последовали этому совету.

Зная, что мой отец — завзятый пасечник, учитель стал захаживать к нам в Трямпиняй. Для нашего дома была большая честь, что такой человек, как учитель, бывает у нас. Но женщины страшно боялись, как бы он нечаянно не застал захламленную избу, засиженный курами стол, раскиданную по двору солому, а женщин и нас, детей, немытых и оборванных. Посещение учителя, как и приезд ксендза с колядой, заставляло всех подтянуться, прибраться.

Учитель битые часы толковал с отцом о том, как делать новомодные ульи, как усовершенствовать центрифугу. Разговаривали они и о другом — о том, что в России свергли царя, что там будет другой порядок, что войне скоро конец. Немного я из этих разговоров слышал, мало понимал, но мне было ясно, что на всем свете творятся новые, интересные, даже необычайные дела.

Учитель каждый раз, встретив отца в местечке или явившись к нам, заводил разговор все о том же, что меня так волновало.

— Не дает он мне покою, и все, — говорил и отец, посасывая трубку, из которой шел невероятно вонючий дым, — как и наши соседи, отец курил теперь сушеные вишневые листья и мох, вытщенный из щелей меж бревен. — Говорит, надо этого ребенка в Мариямполье пускать, и дело с концом. Слыхали, уж Янушавичюсов Антанас из Эпидямяй в городе, в гимназии учится. Говорят, ему наш ксендз помогает...

— Как не помочь! — откликнулась тетя. — Святое дитя этот Антанас. Сколько раз видела, как ксендзу у алтаря прислуживает! Как затрезвонит перед алтарем колокольчиками, ну, просто сердце тает...

— Что ж, пускать так пускать, — снова рассуждал отец. — Жеребенка завели, подрастет, как-нибудь поле продерем. И телка, слава богу, есть, скоро молоко свое будет. Никто даром

ничего не даст. А гимназия — страшное разоренье. Тут и с сумой пойти не долго...

— Пустите, пустите, папенька, я очень прошу... — снова упрашивал я отца. — Янушявичюсы ведь беднее нас, а Антанас... Я так буду учиться, так буду учиться, вот увидите...

— Верно, Тамошюс, жалко на ребенка смотреть, — откликнулась мама. — Просто дрожит, до того в эту гимназию хочет... Может, опять разживемся, дети будут побольше — не весь же век горе мыкать...

Так, бывало, судят да рядят чуть не каждый вечер. И наконец учитель, оставив меня после уроков, сказал:

— В школу больше не пойдешь. Будешь приходить прямо ко мне на дом, знаешь, где я живу, после уроков. Буду тебя готовить в гимназию, понял?

— Спасибо, господин учитель, — едва не заплакал я от радости и поцеловал ему руку.

— А ты запомни такую вещь: руку надо целовать только женщинам — своей матери и другим, пожилым. Мужчинам руку целовать не пристало! Ну, отцу еще можно, а другим — фу! — сказал учитель и рассмеялся, но, заметив, что я покраснел, произнес: — Это чепуха, конечно! Главное, что твои родители дали согласие. Теперь, парень, берись за науку еще горячее...

На следующий день, перед полуднем, хоть мне и было велено явиться лишь после обеда, я уже сидел в единственном уцелевшем каменном доме местечка. На одной его половине находилось волостное правление и жил немецкий жандарм, а на другой — учитель с семьей. Дверь мне открыла миловидная молодая женщина, жена учителя.

— А, это новый ученик? — сказала женщина и улыбнулась своим полным лицом. — Слышала, слышала. Вот, посиди тут, пока учитель не придет. Смотри не шуми — наша Дануте хворает, только что заснула...

Я долго сидел у письменного стола, на котором стопками были сложены ученические тетради. Тут же стояли пузырьки красных и черных чернил, в высоком стаканчике — острые карандаши. В конце стола высилась кипа книг, совершенно новых, еще не читанных никем. В углу на столике стоял глобус. Вообще от этой комнаты веяло чистотой, какой-то добротой и спокойствием.

Теперь я выходил из дому гораздо позже. Была весна, все зеленело, цвело. Щебетали птицы на помещичьих тополях, на Часовенной горке, в трямпиняйском овраге. Мир заполнила красота. Мне казалось, что война, свист снарядов, раненые и мертвые, пожарища, озаряющие ночью далекое небо, — все это осталось где-то далеко, а может быть, и не было вовсе. В Любавасе, правда, еще живет немецкий жандарм, но и он как-то изменился. Хоть и ездит иногда верхом по деревням, люди его больше не боятся — все видят, что его власти скоро конец, что он, как осенняя муха, доживает последние дни.

А меня обуял пыл ученья. Я зубрил теперь арифметику и географию, учил немецкий язык, писал диктанты и пересказы. Задания учителя я старался выполнить как можно лучше. Видя, что я легко справляюсь с уроками, учитель позволил мне брать домой книги из той кипы на его столе. Очень любил я листать толстую, изданную в Америке «Географию», где были изображения белых и чернокожих, дикарей с перьями на голове и с лошадиными хвостами, ледяных гор, плавающих в море, курящихся вулканов... Эта книга, сохранившаяся у меня дома, настолько зачитана, что ее засаленные, почерневшие страницы еле держатся, вся она распухла.

Найдя где-то руководство по переплетному делу, Пиус смастерил какой-то пресс, наварил из муки клейстеру и пробовал переплетать книги. Увы, книги из-под пресса выходили косые,

страницы, кое-где перепутанные, с трудом раскрывались, а клейстер не держал.

Однажды я получил от учителя «Хижину дяди Тома». Это была не толстая, но большая книга с замечательными картинками. Стоит ли говорить, что дома, когда я ее читал, плакали все, жалея бедного черного Тома. Мне так она понравилась, что я начал ее переписывать и в конце концов всю переписал.

Теперь я снова читал те книжки, что когда-то слушал у отца: «Сноху», «Пятраса Курмялиса», «Ксендзово добро чертям впрок шло» Жемайте,[34] книги Лаздину Пеледы,[35] Шатрийос Раганы[36] и волшебный «Аникщяйский бор» Баранаускаса.[37] Все эти книжки я брал в руки как что-то святое. Читал я их чаще всего, шагая домой по дорогам и полям — через скайсчяйское поместье, через Деревню Эпидямй и через знакомые сызмальства поля трямпиняйского поместья и нашей деревни.

Все, что было в этих книжках, все, что я нашел в книге «Чтений», изданной в Вильнюсе, словно превращало меня в другого человека. Сотни новых картин, о которых я раньше не имел понятия, волновали меня, снились по ночам. Я постоянно возвращался мыслями к «Проклятым монахам» Венуолиса,[38] к несчастной Веронике, которую так жестоко оттолкнули и погубили злые люди... Охваченный непонятной радостью, повторял стихи Май-Рониса, полные невыразимого очарования:

Сентябрь на исходе. И не торопясь

Без ветра летит паутина.

По небу осеннему, к югу стремясь,

Проносится клин журавлиный...

А солнце уже улыбается так,

Как будто прощается с нами...

Рядом с миром настоящим выростал, окружал меня иной, удивительный мир, уложенный в книги неизвестными чародеями...

Я заболел какой-то нетяжелой болезнью и несколько дней не ходил к учителю. Эти дни я не забуду никогда. Перед тем я взял у учителя толстую книгу о Робинзоне. Уже первые страницы книги так увлекли меня, что я, лежа в кровати, отказывался от еды и питья. Помню, несколько дней я читал эту книгу и отрывался от нее, лишь когда темнело и ничего нельзя было разобрать.

Лежа в темноте, я заново переживал прочитанное за день. Я воочию видел море и остров, на котором жил этот необыкновенный Робинзон, видел и его — отважного, ловкого.

Мне казалось, что и я раньше или позже попаду на такой остров и буду жить под высокими пальмами в маленькой хижине, слушать неумолкающий гул прибоя, кормиться кокосовыми орехами, козьим молоком, земляникой, малиной и другими ягодами, которых летом полно в наших оврагах и кустах... Потом, сидя на высоком утесе, я издали увижу корабль. Он

подплывет к острову и привезет меня домой, в нашу избу... А здесь меня с нетерпением будут ждать и отец, и мама, и тетя Анастасия, и Кастанция, и Забеле, и братья, не только старшие, но и Пранукас, и маленький Казукас, даже самая маленькая Аготеле, которую качает Пранас, но покачать которую, когда есть время, не отказываюсь и я...

Это были удивительные дни. И я уже тогда понял, что самое большое счастье — радоваться миру: тому, что нас окружает, и тому, который заколдован в книгах. И чем больше я жил, тем яснее становилось, что этот второй мир, мир книг (к нему позднее добавились картины и музыка), не меньше настоящего, что он поразительно многолик и красочен, что в нем, как и в мире настоящем, люди смеются и плачут, радуются и страдают, любят и ревнуют, мечтают и стремятся к счастью. Я не знал тогда, что такое счастье и можно ли его достичь, но уже ждал его. Казалось, непременно случится что-то радостное, очень важное, что определит всю мою жизнь. Днем и ночью я жил этой надеждой...

Семь лет

ЭКЗАМЕНЫ

Первая ночь вдали от дома была беспокойной. С вечера я долго ворочался на жестком диванчике, прислушиваясь к посвистыванию и похрапыванию моей хозяйки барышни Морта. Морта — мамина подруга юности. Вот почему она приютила меня у себя в маленькой чердачной комнатке на несколько дней, пока я буду держать экзамены.

Проснувшись, я увидел комод, на нем стояли гипсовый кот и будильник. Будильник давно уже не ходил. В чердачное окошко глядело теплое летнее солнце.

— Проснулся, значит, сынок, — сказала барышня Морта. — А я в костел уже успела сбегать...

Сообразив, что мне надо встать и одеться, богомолка скромно вышла за дверь. В комнатке оказался таз с водой, на спинке стула висело чистое полотенце, а около таза лежал кусочек мыла.

Вскоре я сел завтракать. На тарелке был нарезанный тонкими ломтиками сыр, что дала мне в дорогу мама, в неглубокой масленке — масло.

— Ты чайку попей, — сказала Морта, по-матерински глядя на меня. — Чаек у меня целебный — из ромашки. Сама ромашку в то лето собирала, как на родину ездила, в Видгиряй, где мы с твоей мамой вместе в девках ходили. А вот и цакарину малость осталось, — она положила передо мной несколько крохотных таблеток сахарина.

И во сне и наяву я ни на минуту не забывал, что сегодня самый важный для меня день. Об этом дне говорил учитель Бутаускас, провожая в город. Как сейчас вижу, он — высокий, серьезный подал мне, как равному, руку и сказал:

— Главное — спокойствие, не волнуйся, а перед тем, как ответить, сперва подумай! Хладнокровие на экзаменах, братец, — половина успеха...

Он похлопал меня по плечу, и я отправился домой, все время раздумывая, как бы сохранить

на экзаменах это пресловутое хладнокровие.

Всю ночь снились тревожные сны — незнакомые места и люди, дома, из которых я никак не мог выйти, заколдованные комнаты, вроде калварийских лавок, опустевших за войну.

Намного раньше, чем нужно, я вышел из комнатки барышни Морты, прогремел вниз по невероятно крутой лестнице и выбежал на улицу. Улочка узкая. По обеим сторонам выстроились чистые одноэтажные деревянные домики с мезонинами. Меж домов разрослась сирень, акация, попадались вишни и даже яблони. Мне даже показалось, что я в родной деревне.

Всего лишь вчера отец привез меня в город. Дорогу в гимназию я уже знал — мы ходили туда, когда отец носил в канцелярию прошение, чтоб меня допустили к экзаменам.

Я шагал по знакомой улице, озираясь по сторонам, держа в руке свернутые в трубочку листы бумаги, перо и пузырек с чернилами. Слева, залитые утренним солнцем, высились высоченные белые башни костела. Через несколько шагов меня остановила большая витрина фотографа. Такой я не видывал ни в Любавасе, ни в Калварии.

Каких только фотографий там не было! Молодые парни и девушки сидят в лодках и гребут. Другие взобрались в нарисованный автомобиль и держатся за руль. Третьи отважно скачут на нарисованных конях.

Но одна фотография показалась мне особенно занимательной. Молодой парень стоит на коленях, подняв руки, а другой с веселой улыбкой приставил к его груди револьвер. На земле, перед стоящим на коленях парнем видна табличка, на ней написано мелом: «Если знаешь наверняка, что я виноват, — убей!» Трудно было поверить, что это на самом деле: мне сразу же показалось, что парни лишь шутят так жестоко друг над другом...

Лавки были еще закрыты. Над ними — немецкие вывески. На Варшавской улице слонялись немецкие солдаты. Странное дело — ведь люди говорят, да и «Летувос айдас» пишет, что Литва с весны независимое государство. Но вот идут и два литовских милиционера. Такие точно милиционеры вчера на мосту остановили нашу телегу и стали шомполами тыкать в солому. Отец сердился — чего они лезут, куда не надо, но боялся слово сказать, наверное, чтоб не арестовали, а то и чего хуже не сделали. Милиционеры были в штатском, только с винтовками через плечо. Они говорили, что у нас и в других телегах ищут первач. Так называли водку, которую гнали дома.

— Будто не видите? — в сердцах говорил отец. — Ребенка в гимназию везу! Какой тут вам первач!

— Замолчи! — прикрикнул милиционер в фуражке набекрень, видать выпивший. — Не только первач нынче возят!.. Вчера большевистского начальника из Калварии, спрятанного в соломе, сюда переправили...

— Ну и как, поймали его? — спросил отец.

— Поздно дознались... Теперь ищи-свищи... — уже любезнее стал рассказывать милиционер.

Ни солдат, ни милиционеров я теперь совсем не боялся. По правде сказать, и они мною не интересовались.

Над городом плыло теплое утреннее солнце. По улице грохотали тяжелые немецкие повозки, запряженные сильными лошадьми. Отец называл таких лошадей бельгийскими.

Подойдя к зеленой, но уже полинявшей ограде, я увидел за ней в глубине просторного двора

знакомый длинный двухэтажный белый дом. В открытую калитку я снова вошел в этот двор. Дом казался мне торжественным и прекрасным. Я уже читал где-то, что здесь учились Йонас Басанавичюс и Винчас Кудирка. Неужели и на мою долю выпадет такое счастье — учиться здесь, в этом самом доме?

Дверь гимназии уже открыта. Но лишь через полчаса в нее толпой повалили экзаменующиеся. Высокий рябой рыжий паренек подошел ко мне во дворе, подал, как большому, руку и представился:

— Стадальникас. А ты?

Я назвал ему свою фамилию. Видно, здесь так заведено.

— Экзамены держать?

— Да, экзамены.

— В какой класс?

— Во второй.

— Я тоже во второй. Знаешь что, давай сядем за одной партой на письменном.

— А письменный будет?

— Дурак! Сам ведь несешь чернила и бумагу! Зачем спрашиваешь? На дверях учительской вывешено расписание. Не видал? Там все экзамены перечислены. Пошли!

Схватив меня за руку, он потащил к двери. Да, верно. Все написано, когда какой экзамен и в каком классе.

В вестибюле гимназии потолок подперт белыми столбами. Длинные коридоры, по обеим сторонам двери со стеклом, в коридорах галдят ученики. Некоторые пришли с родителями. В коридорах жарко, душно, пол не высох после мытья и пахнет дешевым мылом.

Тренькает колокольчик. Мы с новым другом входим в класс. Здесь похоже на нашу школу в Любавасе, только комната куда выше и больше. Хочу занять переднюю, еще свободную парту, но Стадальникас хватает меня за руку и тащит дальше.

— Не будь дураком! — говорит он. — У учителя на виду ничего не спишешь. Я уже в прошлом году сдавал — все знаю, меня не проведешь.

Мы занимаем места за последней партой, хоть я и не понимаю, что и как мы будем списывать. В класс входит молодой строгий учитель и вызывает нас по списку. Я даже вздрогнул, услышав свою фамилию. Учитель велит нам написать наверху листа имя и фамилию, а чуть ниже «Диктовка». Когда мы с этим справляемся, учитель, обойдя парты и проверив, все ли мы написали, принимается диктовать. Диктует он как-то странно, растягивает краткие гласные, коротко произносит долгие — как будто нарочно хочет запутать.

Мне-то ясно, как надо писать. Не зря, словно зная, что именно понадобится мне на экзаменах, учитель Бутаускас еще в Любавасе заставил меня вызубрить правила правописания. Хотя теперь учитель и произносит все слова по-другому, я, не колеблясь, пишу все как полагается. Стадальникас пихает меня локтем:

— Осел! Что ты пишешь? В мою тетрадь смотри!

Я знаю: так поступать дурно, но все равно украдкой кошусь вправо и вижу, что Стадальникас уже сделал две ошибки.

— Исправь! — тихо говорю я ему. — Ты две ошибки сделал...

— Сопляк! — бросает мне Стадальникас.

А учитель диктует дальше. И тут я четко знаю, как пишутся эти слова. Через минуту Стадальникас снова пихает меня:

— Как ты пишешь, теленок несчастный?! Ничего не смыслишь! Кол схватишь!

Я снова кошусь на тетрадь Стадальникаса и снова вижу — целых три ошибки сразу.

— Нехорошо, — говорю я ему.

— Что плохо? — шепчет он мне.

— Опять у тебя ошибки.

— Осел! — возмущается Стадальникас. — Нечего меня путать. Я-то знаю, как писать...

Диктовка кончается. Учитель собирает наши листки и выходит. Стадальникас показывает на меня и вопит:

— Такого барана в жизни не видел. Кол схлопочет, чтоб меня мешком по голове ударили!

На диктовке по немецкому Стадальникас сидит уже за другой партой. Я спрашиваю, почему он пересел, и он грубо отрезает:

— Знаешь, братец, с баранами лучше не связываться...

Он показывает на меня своему новому товарищу по парте и хихикает, пока в класс не входит учитель немецкого языка.

Потом мы решаем на доске арифметические задачи, показываем на карте, где Европа, Африка и Германия. Вопросы вообще-то не трудные. И я все думаю, что главное — сохранять хладнокровие, как советовал учитель Бутаускас.

Кажется, недурно удалось мне ответить и по литовскому языку. Вершиной всего оказалась декламация. Читал же я давно полюбившееся мне стихотворение Майрониса «Взгляни, прохожий, в долине — Вильнюс...». Вспомнив слова своего учителя, что декламировать надо внятно и громко, я вопил во всю глотку. С явным удовольствием слушали меня учитель, что давал нам диктовку, и какая-то красивая барышня учительница. Оба они почти сразу закричали: «Хватит, хватит!», и я вдруг остановился, прочитав, кажется, всего две строфы. Как на грех, еще в школе меня вечно прерывали, едва я только входил во вкус.

Экзамены кончились на следующий день, намного быстрее, чем я думал. Из гимназии мы не уходили, потому что кто-то сказал, что еще сегодня объявят, кто выдержал экзамены, а кто нет. Наконец уже под вечер на двери учительской вывесили списки. Увидев, что среди сдавших во второй класс есть и моя фамилия, я с другими счастливыми просто запрыгал от радости. Потом я поискал в этом списке Стадальникаса. Его не было: он был принят лишь в первый класс...

На несколько дней нас распустили по домам — за продуктами и за деньгами, чтобы заплатить за учебу.

Наутро я уже шагал по шоссе домой. Дорога дальняя — три десятка километров. Но я несся

словно на крыльях. Шагал я босиком по обочине шоссе, по траве, и думал, как меня встретят дома, что скажет добрый учитель Бутаускас. Тачилаускас, должно быть, уже стачал мне башмаки. По пути в Мариямполь отец обошел всю Калварию — увы, после войны сапожные лавки опустели. Я и приехал держать экзамены в клумпах. В них неловко было ходить, и я бегал босиком. Когда Стадальникас еще в первый день меня спросил, с чего это я босиком, я постеснялся признаться, что у меня нет ботинок, и ответил:

— Башмак ногу натер, вот и босиком...

И вот я шагаю по шоссе на юг. Теплынь, шоссе ровное, но все вокруг скучное. Изредка протарахтит мимо тяжелая зеленая подвода с немецкими солдатами. Покажется одинокий путник, появится крестьянская телега, запряженная одной лошастью. Для наших мест, где ездят парной упряжкой, это ново, непривычно. Если крестьянин едет по пути, нетрудно упросить его малость подбросить меня. Когда крестьянин сворачивает на проселок, я слезаю с телеги и снова шагаю вперед.

Мне весело как никогда. В моей жизни настала новая пора. Я ведь не знал, что принесут мне завтрашний день, грядущие месяцы и годы. Но казалось, впереди что-то хорошее — новые знания, новые друзья, много книг и приключений... Я шел вперед и улыбался — словно вот-вот откроется земля обетованная...

НОВАЯ ЖИЗНЬ

У маминой подруги богомолки Морты жить было негде, и меня поселили на улице Пятраса Арминаса,[39] что идет от костела к кладбищу. Улица по тем временам была чуть ли не самая чистая в Мариямполье. На ней, кажется, стояло не больше двух каменных домов (один из них — больница). Деревянные домики выглядели приветливо — в палисадниках росла сирень, а кое-где и цветы. Летом улица сухая, даже пыльная, а поближе к оградкам, подальше от дороги, растет трава. Куда хуже весной, осенью или в зимнюю оттепель, когда дорогу развозит. Тогда приходится прыгать с камня на камень, чтобы не угодить в грязь. Но так выглядели тогда улицы многих городов.

Жили мы у серьезной и степенной барышни Пликюте. Она редко вмешивалась в наши дела, только следила за тем, чтобы комнаты были подметены да все стояло на своих местах. Было ей лет сорок, свою жизнь, как и многие незамужние женщины ее лет, она посвятила служению богу. Но даже в этом она сохраняла умеренность. Домик у нее был небольшой, о двух половинах, в каждой по две комнаты. Наверху находился мезонин, тоже в две комнаты.

В одной из этих комнат поселили меня с Антанасом Каросасом — он был родом из наших мест. Железную кровать для меня поставили в углу с покатым потолком, отгороженным дощатой стенкой от комнаты чуть побольше, в которой жили Антанас Янушявичюс из Эпидямьяй, немного старше меня, поступивший в гимназию в прошлом году, и щеголеватый парень, рослый, вдвое выше нас — Антанас Васаускас. Выходит, четверо Антанасов под одной крышей.

Утром, после завтрака, мы неслись в гимназию. Каждый раз пробегаешь городской сад — старый, тенистый, с чистыми дорожками. Здесь как в настоящем лесу, хоть растут только лиственные деревья. Потом проходишь чуть ли не всю Варшавскую улицу, минуя рынок, аптеку Бартлингаса, синагогу, и наконец показывается зеленая ограда нашей школы...

А после обеда, пока дни стоят длинные и не испортилась погода, мы исследуем город. В конце нашей улицы — кладбище, заросшее деревьями и кустами. Гулять там интересно:

встречаются роскошные памятники из тесаного камня и мрамора (таких в Любавасе не найдешь) за железными и деревянными оградками. Среди разросшихся кустов сирени мы отыскивали могилу Пятраса Арминаса. Из камня изваян свиток бумаги, на нем — имя поэта и еще какое-то изречение. Мы удивились, когда выяснили, что именно он написал басню «Путники и собаки» и ту, что начинается словами «Две лошадки в день холодный». Еще дома я читал их и любил.

Каждый раз я с опаской вступал на неосвященное кладбище, начинавшееся слева от главной тропы. Здесь хоронили всяких горемык — кто повесился, застрелился и все такое. Кто-то показал мне еще свежую могилу и объяснил:

— Здесь лежат братья Майлы. Их расстреляли немцы. Они страшно избили их, так, что кровь ручьями хлестала, а свежие раны солью посыпали, чтоб Майлы еще сильнее мучались...

— За что? — испуганно спросил я.

— Кажется, сопротивлялись им или выгнали солдат, что приехали за реквизицией...

Даже здесь — страшные следы войны... Как-то мы с одним гимназистом, мариямпольцем, за казармой у реки нашли кирпичный домик, стоявший посреди поля. Домик был небольшой, с зарешеченными окнами.

— Здесь немцы людей расстреливали, — сказал товарищ. — Давай зайдем.

Мне было страшно, но скрепя сердце я вошел вслед за ним во взломанную дверь.

— Гляди... на стенах... и на полу еще видна...

— Идем отсюда! — крикнул я, схватив товарища за руку. Мы вышли, а вокруг снова светился яркий, ласковый осенний день, полный солнца и сверканья воды в реке.

Берега Шешупе, особенно за казармой, круто спускаются к воде. За городом река беззвучно бежит по поймам. В Шешупе сколько хочешь прекрасных мест для купанья. И мы, бывало, приходили сюда купаться каждый вечер, грелись на солнышке, а самые смелые переплывали на тот берег и обратно.

Река вообще-то неширокая и даже не особенно живописная, но это была первая увиденная мной река. На бесшумно плывущие воды ее я глядел, думая о жизни и о будущем; по ее берегам, как мне казалось тогда, самым живописным на свете, полным поэзии и очарования, я гулял с друзьями, и мы вместе мечтали о хорошем и прекрасном...

После обеда, приготовив домашние задания, мы носились по двору и вокруг склада, играли в салки. Гимназисты постарше смотрели на наши забавы с снисходительной насмешкой и с нами не водились.

Когда погода испортилась и заладил дождь — то морозящий, а то просто как из ведра, — нам пришлось сидеть взаперти в своих комнатухах. Только поесть мы спускались вниз, в большую комнату, и все сразу садились за стол.

Кормили нас не очень-то, чаще картофельная похлебка или крупеник, в котором болтался кусочек мяса. Дети родителей побогаче (такие, как Васаускас или кулацкий сынок Каросас) держали еду в своих сундучках и запирали их на замочек. У меня слюнки текли, когда Васаускас с Каросасом открывали свои сундучки и принимались уплетать окорок, сало или сыр так, что даже за ушами у них трещало. А ведь не предложат нам с Антанасом Янушявичюсом. Мы с ним, бывало, перемигнемся и, притворившись, что ничего не замечаем, удерем из комнаты, хотя кишки с голоду марш играют...

Самая интересная часть дня, если не считать гимназии, начиналась сразу после ужина. Собравшись из всего дома, разновозрастные ученики (среди нас были прямо-таки мужчины — после войны в школу повалили и взрослые и дети сразу) продолжали разговоры, начатые еще за ужином. Разговоры эти были ужас как интересны, хотя я иногда и побаивался: ведь тетя Анастасия непременно сказала бы, что слушать такие разговоры — страшный грех, в котором надо исповедаться.

— Не нгавятся мне святоши, — картавя, говорит Глинскис — рослый детина с нагловатыми глазами, живший внизу, в другой половине дома. — Лицемеры, гады!

Атейтининк[40] Матулайтис, тоже парень уже с усами, кричит:

— Цицилист! Цицилист! Мы знаем, что цицилисты в России творят!

— А что они твогят? — отрезает Глинскис. — Цагя с тгона свеггли. А для ксендзов цагь — святой, вгоде папы, вегно?

— На что нам этот царь?! — кричит Матулайтис. — Нам никакой царь не нужен! Мы желаем жить независимо!

— Только чтоб Литвой баре да ксендзы правили! — смеется приземистый, но страшно сильный Веливис, гимназист четвертого класса. — Ичас с ксендзом Ольшаускасом, которые нами еще в Воронеже командовали!

Иногда спорят о вопросах веры. Глинскис, хитро усмехаясь, начинает:

— Ну бгатья атейтининки, ежели вы такие хитгые, то скажите-ка мне одну штуку. Бог все может и все знает. Вегно?

— Ясное дело, — отвечает Красницкас, который, как нам известно, собирается поступать в духовную семинарию.

— Хогошо, — продолжает Глинскис. — Значит, он еще в начале веков, когда нас и в помине не было, знал, что мы годимся, будем ггешить и умгем.

— Ясное дело, знал, — не моргнув глазом, отвечает Красницкас.

— Выходит, он еще в начале веков знал, что я буду воговать, вгать, по девкам ходить, стгашные штучки вытвогять?

— Ясное дело, знал, — снова поддакивает Красницкас.

— И знал, что я за ггехи свои после смегти в ад угожу? Вегно? Зачем же он меня сотвогил, пустил на свет? Где же тут логика?

— Нет, погоди, погоди! — кричит Красницкас. — У человека свободная воля! Он может не грешить, не воровать, добродетельно себя вести и попасть в рай!

— Чушь погешь, бгатец! — говорит Глинскис. — То я буду делать или се, а бог заганее знает, что я буду делать. Без воли божьей ничего не случается; итак, без его воли я ни вгать, ни воговать, ни к девкам ходить не могу... Ха-ха-ха! — смеется Глинскис. — Ни один святоша мне этих штучек гастолковать не может. Я все собигаюсь задать этот вопгос нашему капеллану. Посмотгим, как он выпутается!..

— Дурак! — кричит в бешенстве Матулайтис.

— От дугака слышу! — отбривает Глинскис. — И попгосил бы без подобных выгажений, а то

схлопочешь по могде!

— Культурнее, ребята, культурнее! — негромко, спокойно говорит ученик, являющийся к столу из другой половины дома — его фамилии я не знаю. Он тоже рослый, чернявый, весь какой-то аккуратный и подтянутый. — Мы ничего не докажем друг другу, если вместо того, чтобы каждый обосновал свою мысль, начнем обзывать друг друга. Глинскис говорит чистую правду, но я не согласен с его тоном!

Все умолкают, даже Глинскис и его противники слушают рослого гимназиста.

— Я бы поддержал мнение, — продолжает серьезный гимназист, — что религия — только куча предрассудков и бессмыслиц. Ее создал сам человек, страшась непонятных ему сил природы. Ведь и поныне темный крестьянин, увидев молнию, крестится: он думает, что гром — это божья кара. Нам же известно, что это и не божья и не дьявольская затея, а самое обыкновенное электрическое явление.

Матулайтис снова принимается доказывать, но уже спокойнее: то, о чем только что рассказывали, — бессмыслица, выдумки цицилистов, без веры человек превратится в животное.

— В такого бога, как ты, — вставляет Глинскис.

— Не замолчишь ты? — Матулайтис, выйдя из терпения, вскакивает, хватая стул и вот-вот запустит им в Глинскиса, но серьезный гимназист сдерживает его.

— Нет, друзья, подобными аргументами мы ничего не докажем! — говорит он и ставит стул на место. — Мы можем обосновать свои мысли лишь серьезными, продуманными, научными аргументами.

Один из учеников, высокий и бледный, который, как мы знаем, недавно вернулся из Воронежа, вдруг звонким голосом затягивает песню. Несколько голосов нестройно подтягивают:

Голод, жажду мы терпели,

Взять оружие посмели.

Топоры пустили в дело,

Рубим кровопийц,

Топоры пустили в дело,

Рубим кровопийц!

Мы вином не глушим разум,

Свет дадим народу сразу,

Чтобы видели и знали,

Кто тут винова-а-ат,

Чтобы видели и знали,

Кто тут виноват!

Эту песню я слышу не первый раз. Мне нравится ее мелодия, да и слова просто замечательные. Я согласен, что надо порубать топором помещиков, таких, как трямпиняйский Аушлякас, всяких перекупщиков, которые только обманывают людей, и таких гадов, как Антанас Васаускас, который каждый день набивает брюхо колбасой и скиландисом...

Мне очень понравился гимназист, который так долго и интересно говорил о боге, спорил с атейтининками. Но страшно было подумать, что такой симпатичный с виду парень, даже довольно образованный, во многом разбирающийся, говорит такие ужасные вещи! Ведь если его послушать, получается, что и бог, и ангелы, и черти, и даже рай и ад в конце концов не больше и не меньше как сказки! А я сызмала знаю, что люди, не признающие бога, хуже убийц, потому что, как говорила тетя Анастазия, они «губят душу человеческую». Этот гимназист из таких. Он, без всякого сомнения, «цицилист»!

Когда я возвращаюсь наверх, Васаускас, подняв голову, наверное, от письма, которое он пишет какой-нибудь гимназистке (однажды мы с Каросасом перехватили такое письмо), говорит:

— Ну что, этого безбожника Гловацкиса слушал? Может, тоже уже в бога не веруешь?

Не сказав ни слова, я опускаюсь, как и каждый вечер, на колени у своей кровати и пытаюсь сотворить молитву. Но мои мысли то и дело возвращаются ко всему, что я слышал сегодня вечером. Нет, нет, этот Гловацкис не то говорит! Но парень он просто замечательный! И в его словах все-таки есть доля истины. Ведь ясно, что прав не Васаускас, не эти горлопаны Матулайтис и Красницкас, а этот степенный, хороший парень Гловацкис!

— Как его зовут? — спросил я громко, уже лежа в постели.

— Кого? — сонно откликнулся Васаускас. — Этого безбожника Гловацкиса? Пиус. Имя как у папы римского, а что болтает! В тюрьму бы такого!

Я ничего не отвечаю, чувствуя всей душой, до чего же я ненавижу Васаускаса и как тянет меня к новому знакомому — Пиусу Гловацкису.[41]

УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ

Наш класс назывался вторым «В». За первыми партами сидели те, кто поменьше. Ученики съехались в Мариямполе издалека, из всей обширной, на многие десятки километров, округи. Ближайшие гимназии, кажется, действовали тогда в Алитусе, Вил-кавишкисе, Каунасе. А эти города казались нам невероятно далекими. В лучшем случае туда можно было добраться на колымагах, запряженных полудохлыми клячами.

На последних партах в классе рассадили больших, которые за годы войны не могли, хоть и хотели, учиться. Парни как на подбор — рослые и статные. Многие из этих второклассников уже брились и на переменах беспокойно шныряли глазами по коридору и двору, пытались завести знакомство с гимназистками старших классов (девочки учились в женских классах, во втором этаже здания).

Ученическая толпа была пестрой и в другом смысле: кто приехал из деревень, а кто вернулся из русских городов, в основном из Воронежа, где провел войну. Это был народ тертый, пронырливый, многие из них свободно говорили и читали по-русски. Одни из гимназистов были богобоязненные и даже в будни бегали перед уроками в костел, другие же, напротив, не признавали ни бога, ни черта и откровенно издевались над ксендзами.

В классе были и городские, то есть жители самого Марьямполье. Городские отличались невиданной смелостью, даже нахальством. С первых же дней один из таких городских сорванцов стал буйствовать в нашем классе, все время приставая к нам, деревенским ребятам. То дождешься от него такого подзатыльника, что искры из глаз посыпятся, то защемят пальцами тебе нос, да так, что слезы хлынут в три ручья, то подтолкнет, то ножку подставит, а когда упадешь, схватится за живот, лопаясь от смеха, и еще будет в тебя тыкать пальцем: вон, мол, какой рохля.

Нечего и говорить, что подобные замашки сперва нас поражали и даже пугали (единственное спасение — не попадаться такому сорванцу на глаза). Затем это надоело. Несколько дней спустя мы уже стали держать совет, как бы обуздать буйна. Кто-то подучил нас, и на перемене мы навалились на него со всех сторон, уложили ничком на учительский столик и всыпали столько, сколько хотелось.

Поставленные у двери ребята следили, чтобы в дверь не вошел кто-нибудь лишний, тем более учитель. Буйн извивался словно угорь на сковороде, но не мог выскользнуть из множества рук. Он царапался, скулил, наконец запросил пощады, но, пока с ним не рассчитались сполна за обиды нескольких дней, так его и не отпустили. А потом он всю перемену проплакал, лежа на парте, даже плечи тряслись. Но эта взбучка столь благотворно на него повлияла, что с того дня он стал замечательным товарищем — предупредительным, ласковым, помогал каждому и не только не обижал слабых, но и другим сорванцам не давал их в обиду.

Мы были дети, и шалости наши были наивные, детские. Самого маленького в нашем классе, Гейштораса, как-то на перемене мы водрузили на высокую кафельную печку. Учитель, войдя в класс, услышал невероятный гомон. Он сначала не мог понять, что же случилось, потому что Гейшторас сидел не шевелясь. Лишь потом он расслышал тихий плач, поднял глаза и увидел высоко, под самым потолком, на печке, маленького, чистого, хорошо одетого мальчика. Разумеется, он велел нам тотчас же снять Гейштораса, но и сам не выдержал и засмеялся вместе с нами. Хотел было он выявить зачинщиков, но махнул на это рукой.

Были и другие события.

Однажды на уроке немецкого языка у вахмистра германской армии Шульца мы, следуя за указкой учителя, которой он размахивал у нас перед носом, повторяли хором:

Fuchs, du hast die Gans gestohlen,

Gib sie wieder her,

Sonst wird dich der J?ger holen

Mit dem Schiessgewehr![42]

В эту минуту в открытое окно влетела начиненная порохом гильза и, упав около доски, взорвалась. Мы все умели мастерить такие бомбы: вытаскивали из патрона пулю, высыпали

порох и сверлили сбоку дырочку. Потом засыпали порох обратно, загибали конец гильзы и к ней, головкой к дырочке, привязывали спичку. Взяв гильзу в руку, мы чиркали спичкой по коробку и, едва она вспыхивала, тотчас швыряли патрон подальше. Видать, какой-то сорванец, выгнанный из класса, вспомнил, что у него в кармане лежит готовая бомба, и решил, долго не думая, взорвать ее. После взрыва наш вахмистр побледнел, потом побагровел и завопил:

— Donnerwetter! Dieser Sauhund konnte ja tips alle umbringen![43]

Он оставил нас в классе, а сам понесся во двор ловить преступника. Того, конечно, и след простыл. Вернувшись в класс, где мы скакали и рисовали на доске вахмистра и взорвавшийся рядом с ним снаряд, Шульц еще долго бранился, закручивая острые, как у кайзера, усики.

На перемене по его требованию начался допрос. По слухам, вахмистр угрожал директору и учителям, что, если преступник не будет пойман, он сообщит о случившемся немецким властям и потребует закрыть гимназию. Продолжавшийся несколько дней допрос не дал результатов, и, кажется, сам вахмистр Шульц в конце концов забыл свой испуг...

Так шли первые мои дни в этой школе, о которой я столько мечтал.

Из многих соучеников особенно хорошо мне запомнился один, которого мы прозвали «аристократом». Приехал он к нам из Лаздияйской прогимназии уже много позднее и поступил, кажется, в пятый класс. Это был приземистый, краснощекий паренек с зачесанными вверх русыми волосами. В гимназию он приходил в пелерине, в шляпе, в суконных ботинках, из которых выглядывали пальцы ног. На руках — перчатки, из которых тоже торчали кончики пальцев. Широкую грудь «аристократа» обтягивала черная гимнастерка, а на шее был грязный, засиженный мухами гуттаперчевый воротничок.

Является «аристократ», бывало, торжественным, медленным шагом, не глядя по сторонам, уставившись прямо перед собой. Мы уже в вестибюле встречаем его криками: «Аристократ! Аристократ пришел!» — и подбегаем к нему — один снимает с него и несет на вешалку его пелерину, другой хватает шляпу, третий берет у него из рук потертый портфельчик и вносит в класс. А наш «аристократ», снисходительно улыбаясь, роняет нам два французских слова:

— Merci beaucoup![44]

И, таким же размеренным шагом прошествовав по классу, садится за свою парту.

Да, он считал себя аристократом, чего доброго, даже графом или князем. Только на своих литовских учебниках, он, как мы заметили, писал свою фамилию просто — Ракаукас. На учебнике же немецкого его фамилия была написана как «фон Рокофф-Рокоффски», во французской книге для чтения — «де ля Рако». В латинской хрестоматии фамилия приобрела затейливую латинизированную форму — «Раковиус». Это смешило нас, но мы сдерживались и воздавали почести своему аристократу.

Учился он неважно, в основном на тройки. Но была область, в которой он нас прямо-таки поражал. Откуда-то он выискал и вытвердил несметное множество латинских и французских изречений. Он говорил, что кончит гимназию и при помощи дяди, чиновника министерства путей сообщения, уедет учиться в Париж. Там все эти изречения ему как раз и пригодятся. Но и теперь, частенько говоря с кем-нибудь из нас, он ни к селу ни к городу вставлял:

— Comme ci, comme ça...[45]

— Или:

— Iustitia est fundamentum regnorum...[46]

Он все время сыпал такими изречениями: «ab ovo», «ave, Caesar, morituri te salutant», «homo sum, et nihil humanum a me alienum puto», «o, sancta simplicitas», «urbi et orbi», «libert?, egalit?, fraternit?», «qui vivra verra», «plus catholique que le pape m?me».[47]

Кто-то из учеников, родом из тех же мест, что и наш «граф», утверждал, что никакой он не аристократ, а вроде нас всех, что дома его мамочка тоже задает корм свиньям и доит коров. Может, оно так и было. Но мы не пытались разобраться в его родословном древе — не хотели, чтобы наш класс лишился своего «аристократа».

Года через два выяснилось, что «аристократ», подделав свидетельства, добился того, что его и его сестрицу перевели в нашу гимназию классом выше, чем следовало. Много раз наш классный наставник вызывал «аристократа» к себе, допрашивал, угрожал, но в конце концов все махнули на это рукой и, за давностью времени, оставили «аристократа» в покое.

И он ходил в гимназию, как и раньше — спокойный, довольный. Мы, как и раньше, угождали ему, а он, безмятежно улыбаясь, снисходительно кивал нам головой и ронял свое обычное:

— Merci beaucoup!

И, улыбаясь всегдашней улыбкой, задрал голову, не глядя по сторонам, шествовал в класс и садился за парту.

Еще в гимназии он стал хвалить Вольдемараса и начал создавать кружок неолитуанов.[48] Желающих участвовать в этом кружке из нашего класса, кажется, так и не нашлось.

После каждой перемены, едва только сторож громко зазвонит в звонок в вестибюле, мы стремглав несемся в класс. На каждый урок к нам входит новый учитель. В первые недели интересно было наблюдать за внешностью учителей, за их манерой вести себя, за привычками — словом, за всем, чем один отличается от другого.

Особенно поражал нас преподаватель литовского. Рассказывали, что раньше он учительствовал где-то в Дзукии, в начальной школе. Теперь, за нехваткой преподавателей, его пригласили преподавать в младших классах гимназии. Это был еще довольно молодой человек, здоровенный детина, хорошо одетый, чисто выбритый, зализанный. Волосы у него просто сверкали. Городские ребята рассказывали, что он их смазывает каким-то немецким снадобьем. В класс он, бывало, входит со звонком, и упаси господи, если кто-нибудь из нас окажется не на своем месте или если дежурный не успеет вытереть доску и приготовить кусочек мела! Но даже если все и как полагается, мы уже видим, что учитель чем-то разъярен и только и ищет случая придраться. Вызовет кого-нибудь к доске, и, если тот не может правильно написать продиктованное предложение, учитель просто меняется в лице. Лицо становится грозным, глаза сужаются, он начинает часто дышать и, наконец, раздражается страшным криком: — Осел! Медная башка!

Почему он нас называет ослиами, было понятно, но что такое «медная башка» — так и осталось тайной.

Весь класс дрожал мелкой дрожью, если учитель являлся на урок в сапогах. Ученики поговаривали даже, что в сапогах он приносит дьявола. И в самом деле, в таких случаях его ярость не знала границ. Вызванный к доске ученик обычно сбивался до того, что со страху не мог выдать ни слова. Никогда не забуду я тот урок, когда учитель написал что-то на доске и велел прочитать Викторасу Вищюлису, слабому и запуганному гимназисту. Глядя на доску и, кажется, из-за своей близорукости ничего как следует не разобрав, Вищюлис что-то лепетал, хоть почерк у учителя был отменно четким. Это окончательно вывело учителя из себя. Он твердым, солдатским шагом подошел к парте, схватил Вищюлиса под мышки, выдернул из-за парты его легкое тельце и поднял в воздух. Потом поднес вплотную к доске и, трясаясь от бешенства, рывкнул:

— Читай! Медная башка!

Вищюлис, видно, еще больше перепугался и что-то пытался сказать, но ничего у него не вышло — он только мекал, и нам было видно, как трясутся с перепугу его болтающиеся в воздухе ноги.

— Читай! — снова рявкнул учитель и сунул Вищюлиса к самой доске, да так, что тот выпачкал мелом нос. Когда учитель наконец отпустил Вищюлиса, тот был ни жив ни мертв...

Совсем другим характером отличался наш натуралист. По образованию он, кажется, был врачом, но был приглашен преподавать естественную историю. Он сразу же заявил нам, что человеку ни к чему знать много, но плохо. Куда лучше, мол, знать мало, но хорошо.

— Слыхали такое латинское изречение: «Non multa, sed multum»? [49] — спросил он и, записав его на доске, перевел нам. — Запишите эти слова и запомните на всю жизнь! — И он еще раз повторил: — Non multa, sed multum.

Преподаватель естественной истории был спокойный человек, предмет он объяснял не торопясь и требовал вести записи — учебника по его предмету тогда еще не было или он просто не дошел до нас. Уроки свои он начал с лошади. Сперва мы описывали внешний вид лошади и узнали, что туловище ее делится на переднюю, среднюю и заднюю части. Верхняя линия туловища называется линией спины. У линии этой есть две высшие точки — холка и круп. Холка должна быть выше крупа. Узнали, сколько у лошади зубов и сколько ребер, какие кости в передних и задних ногах. Выяснили, что лошадь со всех сторон, обтянута шкурой, что у нее пара ушей и пара глаз, а также один хвост. Прекрасно ознакомились с ее пищеварительным трактом и, разбуди нас даже посреди ночи, мы бы ответили, что лошадь питается травой, клевером, сеном, овсом, а также смесью отрубей и муки. Хотя и меньше, мы узнали и о лошадиных породах — об арабском коне и лошади Пржевальского, от которой произошли монгольские лошади калмыков, киргизов и башкир. Многие из нас могли долго распространяться об английских чистокровных, различных рысаках, скакунах, тракенских, ганноверских, мекленбургских, остфризских и ольденбургских лошадях. Мы знали назубок, что лошади идут под седло, на перевозку грузов (соломы, сена, различных товаров, а в военное время орудий, подвод, солдат), участвуют в скачках.

Разобрав со всех сторон лошадь, через полгода мы перешли к другой твари, обитающей не на земле, а под землей, а именно к кроту. Его тоже основательно исследовали, тем паче что учитель где-то достал чучело настоящего крота. Это чучело было прикреплено к доске и выглядело как живое. Поговорили о пользе кротовьих шкурок, о том, что состоятельные люди подбивают ими шубы. Пришлось научиться рисовать на доске систему подземных кротовьих ходов и еще многому другому, о чем я давно позабыл...

Весьма любопытным типом оказался наш учитель рисования. Это был простой, бесцеремонный человек, с залысынами на лбу и седыми висками. Он расхаживал по классу, засунув руки в карманы, а изредка, встав у окна и глядя на улицу, принимался насвистывать.

— Мужики! — сказал он нам на первом уроке. — Я хотел научить вас делать скульптуры. Поговорил с директором, но он против — говорит, со скульптурами ваши классы глиной замараем, а он, видишь ли, чистоту любит... Что ж, начнем с рисования. Купите себе тетради и, если достанете, мягкие и твердые карандаши.

Когда мы к следующему уроку обзавелись тетрадями и карандашами, он вызвал одного ученика, посадил на учительский столик боком к нам и сказал:

— Валяйте в профиль!

Нам хотелось научиться рисовать, но никто не слышал, что такое профиль. Поэтому, не

дождавшись дальнейших объяснений, мы принялись за дело кто как умел, в основном по известной формуле: «Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая». Эту формулу пустил в класс какой-то гимназист, вернувшийся из России. Вскоре она распространилась даже среди тех, кто не разумел по-русски ни слова. Кому не удавалась человеческая голова, тот рисовал лошадей, кротов, коров и прочих зверей.

Наш учитель, по-видимому, никогда до этого не сталкивался со школой, учениками, да и вообще с детьми. Веселый, разговорчивый человек, он частенько навевался туда, где никто лимонаду не пьет. Пройдясь по классу и увидев, что почти никто не рисует ученика, сидящего на столе, зевающего со скуки и болтающего ногами, а все поголовно изображают коров да баранов, подскочил к одному бойкому гимназисту из городских и закричал:

— Хочешь схлопотать по уху? Что я велел рисовать, а?

— Корову в профиль, — не моргнув глазом ответило городское дитя.

— погоди, погоди, сейчас я тебе ка-ак дам, сразу увидишь коровий профиль! — кричал учитель, ударившись в амбицию.

Ученик же не смутился и отбрил еще наглее:

— Я сам дам, господин учитель!

— Ах ты поросенок! — завопил учитель и схватил ученика за шиворот. — Ну-ка, пошли сейчас к директору! Посмотрю, что он тебе скажет за такие слова! — И учитель выволок ученика из-за парты.

Но тот был не робкого десятка.

— Пошли, пошли! — согласился он. — Вот я директору расскажу, как вы нас обзываете и что грозилась заехать по уху! Я знаю, директор вас за такие слова не похвалит. Ну, пошли!

Не знаю, то ли учитель решил, что слишком погорячился, то ли испугался ученика (в это поверить было трудно — учителя нам казались тогда самыми могущественными людьми на свете), во всяком случае, он отпустил его и сказал:

— Пшел на место и молчи!

Надо ли рассказывать, что на уроках рисования после этого уже никогда не было порядка? Учителя никто не боялся. Даже Вищюлис, бывало, выйдет из-за своей парты и гуляет по классу, а когда ему велят сесть, еще не сразу послушается. Были и такие, кто просто на голове ходил. Другие читали какую-нибудь старую, довоенную книгу, третьи же списывали домашние задания у прилежных учеников.

Историю преподавала до удивления робкая барышня. Лежит перед ней раскрытый учебник, и она не торопясь читает, что нам следует выучить к следующему разу. Говорят, она даже не успела окончить гимназии. Она невероятно волнуется, если мы ее спросим о чем-нибудь, чего еще не проходили. Вскоре в классе появились «историки» куда сильнее барышни учительницы, которые с наслаждением допытывались:

— Барышня учительница, чей сын был Швитригайла?

— Сколько детей было у Витаутаса?

— Барышня учительница, где похоронен князь Гедиминас?

Барышня учительница краснеет и бледнеет. Мы глубоко убеждены, что по своему положению

она обязана знать такие вещи. Увы, бедняжка не знает и, тоскливо глядя на класс, отвечает:

— Теперь некогда. Объясню в следующий раз...

А шалуны, особенно те, что сидят на задних партах, откровенно хихикают. Барышня учительница чуть не плачет — до того ей тужо приходится.

ТУМАННЫЙ ДЕНЬ

Из окон нашего мезонина виднелось немецкое летное поле, устроенное за кладбищем. Когда возвели сахарный завод, этот пустырь застроили жилыми домами.

С самого утра до позднего вечера немцы на своем аэродроме поднимались на небольших бипланах, рычащих так, что мороз по коже подирал — этот ужасающий рев повторяли кровли далеких домов, — делали круг над полем и, подлетев к установленным на краю луга мишеням — дощатым щитам, строчили в них из пулеметов. Потом возвращались, делали круг, и снова стрекотал пулемет. К чему немцы тогда готовились? Трудно сказать. Всем казалось, что война подходит к концу и пора бы кончать эту пальбу.

Летное поле стало черным, рыхлым, как пашня, но с него каждый день взлетали самолеты. Нас интересовало, как это пули, вылетающие из дула, не попадают в винт, который вертится с такой страшной силой. Несколько раз мы видели, как самолет вдруг шмякался на землю и вверх взмывал клуб дыма, — наверное, и авиаторы гибли вместе с бипланом...

А по городу уже ходили литовские солдаты. Они, как и милиционеры, одевались в домотканую пестрядь или сермяжное сукно и на солдат смахивали лишь тем, что таскали с собой винтовки, а кое-кто прицеплял к ботинкам шпоры. Они несли караул, слонялись по рынку, стояли у мостов и обыскивали всех, кто ехал в город, протыкая шомполами солому в телегах.

Шли толки, что в деревнях развелось много разбойников, которые заявляются к крестьянам, подвешивают их к балке и подпаливают соломой пятки, требуя золота. Рассказывали, что ни одна колымага не может спокойно добраться из Мариямполе до Каунаса — где-нибудь в лесах под Казлу-Рудой пассажиров грабят до нитки. А другого сообщения тогда с Каунасом не было. Собираясь в Каунас, заказывали мессу, спасая душу от гибели.

Кто были эти разбойники? Трудно сказать. Одни, по-видимому, были просто головорезы, польстившиеся на легкий хлеб. Другие партизанили в лесах, нападая на немцев. Среди них было немало беглых пленных или дезертиров из русской и германской армий, скрывавшихся от немцев. После всех этих страшных рассказов все они без разбора казались нам убийцами и мучителями и вызывали невероятный ужас. Не раз ночью я просыпался потный от страха: в нашем двореке уже толпятся разбойники, вот-вот распахнется дверь, и они ворвутся в наш мезонин — ужасные, бородатые, с винтовками наперевес... Только заскребется что-то ночью за окном, уже кажется: разбойничьи банды шагают от кладбища...

Был сырой, туманный день, когда мы бежали после уроков домой и увидели расклеенные на стенах литовские объявления. Мы любили их читать, потому что каждый день здесь сообщалось что-нибудь новое. И вот из размноженных на стеклографе объявлений вычитали, что за казармой, у реки, сегодня под вечер расстреляют группу разбойников.

Второпях пообедав, напрямик по пашне за кладбищем мы помчались за казарму. Подмокшая земля липла к подошвам. Мы скользили на межах, кое-где увязали в глине, да так, что едва

вытаскивали ноги. Зачем мы туда бежали? Посмотреть, как будут убивать людей? Из простого любопытства? Или нас тянуло какое-то другое неясное чувство? Я не раз об этом думал впоследствии и не мог понять почему. Какая-то жуткая сила увлекала туда нас — и детей и взрослых. Остановившись на минуту, я увидел, что на пашне полно народу — женщин, мужчин и детей. Все они шли и бежали, словно кто-то гнался за ними, словно они боялись опоздать.

Издали мы увидели большую толпу на берегу Шешупе. Справа от нее стояли литовские солдаты, со всех сторон обступив арестантов. Было непонятно, что там происходит. Но вскоре все выяснилось: арестанты рыли лопатами ямы.

— Это они себе, самим себе копают, — услышал я от женщины, стоявшей рядом.

— Видишь, один шапку на землю положил. Плешивый уже, — сказала другая, и я увидел плешь, то поднимавшуюся из еще неглубокой ямы, то снова исчезающую, когда владелец ее втыкал лопату.

Мне стало не по себе. Сердце отчаянно колотилось. Я думал: не лучше ли уйти домой? Но никто не двигался с места. Люди топтались, потирали руки и носы, стараясь согреться, изредка перебрасывались словами:

— Вот, рассказывают, у этого, что с плешью, хозяйство было. Оставил жену и детей, а сам на промысел ушел...

— А этого видишь, вот что теперь голову из ямы высунул, молодой такой, бородатый? Говорят, его мать из Пильвишкяй приезжала... к коменданту ходила... Хотела выволить, на поруки взять... Да кто такого отпустит...

— А людей, наверно, порезал не мало, хоть и молоденький...

— Он, говорят, больше насчет баб... У бабы его и схватили... Кто-то непристойно выругался и плюнул.

Наконец все смертники вырыли себе ямы и сзади них вкопали по колу. Несколько солдат по приказу командира привязали их к кольям. Какой-то солдат поднял с земли ворох мешков. Каждому из смертников нахлобучили на голову мешки. На двоих мешков не хватило, — наверное, кто-то обсчитался. Этим глаза завязали платками, которые вытащил из кармана стоящий поодаль офицер.

Я глядел на обреченных. Ведь уже сегодня, через час или даже несколько минут спустя, они перестанут дышать. Я представил себе, что стою на месте одного из них. Но я не мог, не в силах был вообразить, что вот-вот перестану жить, дышать, видеть людей, деревья, тучи, перестану ощущать воздух и тепло, что никогда, никогда больше не увижу мне ни отца, ни мамы, ни братьев, ни сестер... Всем телом, всей душой я чувствовал: самое страшное для человека — понять, что вот он исчезнет, перестанет существовать и ничто не изменит этого... В войну я не раз сталкивался со смертью, и все-таки никогда еще так отчетливо, жутко не ощущал, что смерть близко, что она так неумолима и страшна.

А суровые, багровые тучи все бежали по небу. Приближался вечер, темный и промозглый, полный призраков и привидений... И вот я вижу, как солдаты встают цепью в нескольких шагах друг от друга, как они вскидывают винтовки и целятся. Целятся они, кажется мне, бесконечно долго — я несколько раз зажмуриваюсь и снова, не выдержав, открываю глаза. А перед нами, как и раньше, вываленная из могил мерзлая земля, она светло-желтая, — видно, здесь песок. Стоят смертники с напыленными на голову мешками, и перед ними — солдаты.

Офицер, в форме, похожей на немецкую (говорят, наши офицеры носят форму, купленную у

немцев), гортанно вскрикивает и взмахивает револьвером. Грохает залп, потом второй, третий. Ружейные выстрелы куда тише, чем я ожидал, только крутой берег Шешупе вторит этому звуку. Смертники, кто с первого залпа, кто позднее, обмякают, но, придерживаемые кольями, не падают наземь. Какой-то солдат стреляет с опозданием, и все смолкает. Ветер разносит пороховой дым.

Солдаты, взяв пилы, пилили колья вровень с землей. Сперва в яму вместе со столбом упал крайний справа — плешивый. Потом бросили кривого бородача, а потом свалились и остальные — все семеро. Теми же лопатами, которыми час назад смертники рыли себе могилы, солдаты бросали на них желтый песок.

Люди прямо по полям, по вязнущему к ногам глинозему, возвращались в город. Уже сильно стемнело. Все казались мне сказочными привидениями, которые спешат на какой-то жуткий пир, где ночь напролет ведьмы и драконы пьют из человеческих черепов, обгладывают кости мертвецов... Я тоже попал на этот пир. Все страшные сказки, которые я слышал и читал, вдруг всплыли в памяти и навалились на меня, охватив страхом, тревогой, унынием. Казалось, мир после всего, что случилось сегодня на берегу Шешупе, под кручей, стал еще сумрачнее...

За ужином мы сидели молча. Хоть и проголодались, но ели как-то нехотя. Даже после ужина, когда все уселись, кто на койках, кто на стульях, а кто просто прислонился к стене, никто почему-то не заводил обычных споров о ксендзах или какая власть лучше: бар, коммунистов или еще кого. Сегодня мы видели то, что многие не увидят никогда; это, без сомнения, лучше вообще не видеть.

Мы уже собирались уходить каждый в свою комнату готовить уроки при тусклой керосиновой лампе (электричества не было), когда Пиус Гловацкис, словно стерег ладонью с лица что-то не видное глазу, волнуясь, сказал:

— Я свято верю, что настанет такое время, когда человек не будет убивать человека... потому что никто не давал человеку права... понимаете... не дал права...

— А кто дал право разбойникам грабить, убивать? — только теперь раздался тонкий, раздраженный голос Матулайтиса.

— Никто! — ответил Пиус Гловацкис. — Им тоже никто не давал! Все сделали война, жестокости, которым они были свидетелями... Они привыкли к крови... Страшно... Но этого не должно быть... Настанет такое время...

Мы разошлись по комнатам. Уроки готовить не удавалось. До поздней ночи я лежал: с открытыми глазами и глядел в темноту, а перед глазами снова и снова мелькало то, увиденное у реки. Утром друзья сказали мне: я что-то кричал во сне; они даже думали, не заболел ли я.

КАСТАНЦИЯ УХОДИТ

В Мариямполе скучать было некогда, А все-таки иногда очень тянуло домой. Особенно вечерами, сидя на своем унылом чердаке, я часто представлял себе, что сейчас делают родные. Отец, наверное, снова притащил в избу свой верстак, собрал разбросанные в войну стамески и сверла, мама готовит ужин, Пиус с Юозасом что-нибудь вырезают или приколачивают. Тетя, скорей всего, сидит за прялкой и тянет на один лад какой-нибудь священный гимн. Забеле наряжает куклу для самой маленькой — Аготеле, которая еще

лежит в зыбке и ничего-ничегошеньки не понимает. А Кастанция? Я никак не мог придумать, что делает Кастанция, наша старшая, наша любимая сестра.

Не знаю почему, но всегда, с тех пор, как себя помню, я сильнее всего любил Кастанцию. Она ведь меня таскала на руках, играла со мной, приносила мне из местечка то леденец, то глиняного петуха, который, когда я дул в его хвост, гудел так, что было далеко слышно. Она никогда меня не колотила и не давала в обиду другим.

Мне очень нравилось ее красивое, задумчивое, всегда чуть печальное лицо. Пела она редко, но если уж запоет — ее голос звучал чисто, за душу брал. Братья поступали с ней нехорошо: отбирали куклы, привязывали им на шею камни и швыряли в самую середину пруда. Куклы тонули, а Кастанция сидела на берегу пруда и до того жалобно плакала, как будто потеряла родных детей... Это было жестоко. Братья, без сомнения, получили бы ремня от отца, пожалуйся она, но она никому не говорила об этом.

Ей рано пришлось перестать играть с куклами. Она должна была помогать маме. Не помню, пасла ли она скотину. Но я и сейчас словно вижу ее: сидит на низенькой скамеечке и чистит картошку. Вижу: стройная, высокая, копает весной грядки в палисаднике и сажает вместе с мамой цветы, а потом поливает их и поет. Вот Кастанция, опустившись на колени среди грядок в огороде, обеими руками дергает сорные травы. Вот вечером сидит она во дворе и доит корову. Корова стоит смиренно, с набухшим выменем, и в подойник со звоном ударяют тоненькие струйки молока. Скоро весь двор благоухает парным молоком, которое Кастанция процеживает из подойника в ведро... Я очень люблю смотреть на все это. И я наверху блаженства, если мне случается чем-нибудь помочь сестре: принести из избы кружку, найти запропастившуюся лейку, подать с кухонного окна нож с деревянным черенком — для чистки картошки...

Кастанция уже умеет прясть, свивать пряжу на вьюшки, сновать на мотовило. Страшно интересно, когда женщины весной, едва только дни стали длиннее, приносят из сарая в избу кросна и с помощью мужчин налаживают их. Потом где-то на чердаке находят припрятанные с прошлого года берда и челноки. Долго они хлопочут, пока не натянут основу, и тогда можно садиться за стан. Ткут они то семериком, то девятней, и я никак не пойму, чем эти холсты отличаются и какой лучше.

Поначалу за кросна садится мама и, нажимая ногами на топталку, посылает челнок промеж натянутых нитей то в одну сторону, то в другую. Челнок, в котором сидит продолговатая, навитая нитками цевка, летит, она хватает его другой рукой и посылает назад.

Знай трещат набилки, и эта трескотня в открытые окна уносится даже во двор. Это добрая стрекотня: она говорит о том, что в этом доме женщины не лентяйки, что они наткут не только пестряди на штаны мужикам, но и белых холстов, узорчатых покрывал и других удивительных тканей.

Ах, и любил же я смотреть, как Кастанция, совсем еще юная девушка, проворно нажимает на топталку и, как заправская ткачиха, до того звонко хлопает набилками, что весь дом гремит...

Помню, как она трепала лен. Вровень с крепкими деревенскими бабами, пришедшими на помощь, она стояла у льномялки и, взяв половину снопа, принесенного от ямы, клала на дощечки и мяла еще пахнувший дымом лен ничуть не хуже опытных работниц.

Осенью с Пиусом и Забеле, убрав нашу картошку, они уходили в трямпиняйское поместье — надо было отработать помещику за пастьбу, да и самим хотелось заработать, ведь лишних денег дома никогда не было.

Я помню Кастанцию и на льняном поле: в синем море льна она выпальывает сурепку; и помню, как она сгребает рожь на косовице и потрескавшимися руками связывает снопы. Казалось, не

по плечу ей все это, но она работала, маялась, как взрослая женщина. Только в воскресенье она оживала. Умоет холодной водой лицо, наденет свою пеструю юбку и белую блузку, пригладит длинные, на прямой пробор, волосы да еще возьмет в руку пион или георгин (смотря по времени года) — и не налюбуйешься на нее.

Неудивительно, что на Кастанцию рано стали заглядываться деревенские парни. Больше всего внимания ей оказывал Сергеус Стасюкявичюс из деревни Будвечяй, парень сухощавый и вроде неважного здоровья, но головастый. Все уже заметили, что он непременно заговаривает с Кастанцией, встретив ее в Любавасе, и провожает домой. Если только у нас или еще у кого в нашей деревне случится вечеринка — Сергеус ни на шаг не отойдет от Кастанции. И разговор ведет и танцевать приглашает, а она, румяная словно лесная ягода, изредка взглянет на него своими редкостно синими, чуть печальными и задумчивыми глазами. Мне нравился Сергеус — он интересовался моим учением, когда я еще ходил в Любавас, частенько брал мои книги, листал их и спрашивал меня о том, что я знал и чего не знал. Сам приносил то новый календарь, то песенник. У Сергеуса была толстая тетрадь, в которую он переписывал стихи и песни, вычитанные из книг и такие, что люди поют. Мне казалось: когда-нибудь Кастанция выйдет за Сергеуса и счастью их не будет конца — я не сомневался, что они любят друг друга...

И вот получаю я из дома весточку, что нашу Кастанцию выдают замуж. Сначала я так и понял: она выходит за Сергеуса Стасюкявичюса, но кто-то приехавший из наших мест сказал, что ничего подобного. Она по-прежнему любит Сергеуса, да и он ее тоже, но отец выдает ее за другого, за какого-то поляка из деревни Рекетия. В нашем краю уже давно литовцы и поляки, подзуживаемые ксендзами, ссорились, иногда даже побоища устраивали, таким манером решая вопрос — по-литовски или по-польски петь в костеле. Дело вроде несложное, но эти недоразумения продолжались много лет. Главное, ведь отец тоже не стоял в стороне от этих раздоров, несколько раз, кажется, даже дрался с поляками и как-то целую ночь, боясь попасть им в руки, просидел в книжной лавке в Любавасе. И было странно и непонятно, как это сам отец гонит Кастанцию за нелюбимого мужа в чужую далекую деревню...

Это казалось до того ужасным, что я живо себе представил: Кастанция за слезами дня не видит, с горя ночей не спит. Видно, мама тоже согласна с решением отца, она ведь уже давно говорила, что Сергеус ей не по душе — и некрасивый, и рябой, и пьющий, а главное, хозяйство у него еще хуже нашего. Дома еще сестра, которой придется выплачивать долю... Все это давно восстановило моих родителей против Сергеуса, и они не раз давали понять Кастанции, что такой муж не для нее, что ей надо такого, у кого хозяйство крепкое, без выплат.

Я начитался рассказов Жемайте и Лаздину Пеледы, в которых так ярко изображалась жизнь девушек, насильно выданных родителями за нелюбимых мужей. Отцовское желание приговорить к этой участи Кастанцию казалось мне нечеловечески несправедливым и страшным. Что же делать? Как помочь сестре? Наконец я решил написать ей письмо. Писал я долго, черкал и снова переписывал — все не находил достаточно убедительных слов, которые вызвали бы в душе у сестры не только чувство протеста, но и неповиновение родительской воле, даже если это привело бы к уходу из дому... Уходу... А куда Кастанция денется, если уйдет из дому? Приедет сюда, ко мне? На что же она будет жить? Где я достану для нее комнату и чем она будет питаться? Все эти вопросы донимали меня, и я не мог найти ответа.

Не знаю, дошло ли мое письмо. В те времена письма редко добирались до адресата, а если и доходили, то с опозданием на добрый месяц. Во всяком случае, какой-нибудь месяц спустя я получил через людей, приехавших в Мариямполье, весточку: свадьба Кастанции назначена на следующую неделю, и меня зовут домой.

Гимназия отпустила меня на несколько дней. В городе мне встретился знакомый крестьянин

из Будвечай, и он согласился подвезти. Ехали мы долго, стояла зима, и хоть была оттепель, пока мы добрались до Будвечай, я продрог до костей. Хорошо еще, что крестьянин догадался об этом и дал мне сермягу закутаться. Приехали мы уже вечером. Из Будвечай я пешком отправился домой и через замерзший Рукав с волнением подошел к своему двору.

Через открытую дверь я шагнул прямо в избу, где ярко светила карбидная лампа (новшество военного времени), а за стоящими углом столами, уставленными всякой едой, сидело великое множество людей. В красном углу я увидел заплаканную Кастанцию в белой муслиновой фате и зеленом рутовом веночке. Рядом с ней сидел незнакомый человек в нарядной домотканой паре с рутой в лацкане, без галстука, зато с блестящей пуговкой на шее. Лицо у него молодое и довольно пригожее. Среди соседей я разглядел и гостей, прибывших издалека. Молодой Жукайтис из Граяуской, уже навеселе (на столе торчали бутылки с самогоном), заметив меня, привстал за столом и сиплым голосом прокричал:

— Не видите, что наш худент приехал! Да здравствуют ученые Литвы!

Все удивились, словно я явился из владений Деда Мороза.

Поздоровался я со своими, отогрелся у печи, и меня посадили за стол. Молодой Жукайтис снова встал, поднял полную рюмку и начал:

— Дорогие родственники и, значит, гости! Мы, значит, собрались тут отпраздновать важное, приметное событие — выдачу замуж в деревню Рекетия нашей дорогой Кастанции, по мужу, значит, Гузявичене... Вот, значит, нам всем очень приятно, что собралось столько дорогих соседей и даже наш дорогой худент приехал из дальнего своего училища, из самого града Мариямполье... Значит, вот я и поднимаю это самое, чарочку, за счастье молодых, чтоб всяких напастей, значит, горестей или прочих бед, ну, там, со скотиной или с малыми дитями или еще чего...

Рябое лицо Жукайтиса покраснелось, и я видел, что по щекам у него катятся слезы. Юозас Бабяцкас крикнул:

— Хорошая речь, чтоб его собаки... Будто калварийский настоятель в престольный праздник девы Марии...

Я сидел среди женщин и пил горячий чай. В это время в дверях появился Сергеус Стасюквичюс. Он был бледен, его губы дрожали (в ярком свете карбидной лампы это было отчетливо видно). Увидев его, все гости разом, словно в ожидании чего-то, замолчали. Отец встал за столом и сказал громким, высоким голосом:

— Тут есть гости прошеные и непрошеные... Я...

— Я-то непрошен, — ответил Сергеус, — но пускай, пускай... Мне казалось, Сергеус сейчас вытащит из кармана револьвер (про такие дела в последние годы слыхивали даже в наших краях) и уложит на месте Кастанцию и сидящего рядом с ней Гузявичюса. Но он опустил руки, подошел поближе к столу и, уставившись мутным взглядом на Кастанцию и ее мужа, сказал:

— Дайте мне чарочку, я с молодыми выпить хочу!..

Кто-то взял со стола и подал Сергеусу рюмку. Над головами других гостей он чокнулся с Кастанцией, потом с Гузяквичюсом и, опрокинув рюмку, выпил до дна. За столом все молчали в ожидании дальнейших событий.

— Музыкант, валяй! — крикнул он, увидев хромоножку, двоюродного брата отца, который, отложив скрипку, закусывал в конце стола. — Валяй, заплачу! — повторил он.

Музыкант отошел к окну и ударил смычком по струнам, а Сергеус поклонился Кастанции и

сказал тихо:

— Приглашаю на вальс...

Кастанция колебалась, но женщины зашептали: «Иди, иди, коли человек просит». Тогда она встала и вышла из-за стола. Сергеус обнял Кастанцию за талию и закружился сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Так они танцевали долго, пока Кастанция не устала. Сергеус ей все время что-то говорил, но не слышно было что. Музыкант опустил смычок, и Сергеус, стоя посередине избы, сказал:

— Вот говорил же я, что приду на твою свадьбу выпить за твое здоровье и счастье и станцевать с тобой последний танец. Вот и выпил, и потанцевал...

Кастанция заплакала и прижалась к тете Анастасии. Сергеусу никто не посмел слова сказать. Соседки, сидевшие за столом, стали вытирать влажные щеки. Сергеус еще раз поклонился Кастанции, потом всем, сидевшим за столами, и, шатаясь, как пьяный, вышел из избы. Женщины, словно желая загладить случившееся, затянули песню:

Ох, матушка, горе тебе, тебе,

Растила дочурку, да не себе:

Отдала дочурку во сношеньки,

Вложила ей руту во рученьки...

Ох, плачет дочурка во сношеньках,

Ох, сохнет там рута во рученьках...

Не плачь-ка, дочурка, проведу,

Не сохни-ка, рута, водой полью...

Я видел через стол, как Кастанция, вернувшись на свое место, вытирает слезы. Муж что-то тихо шептал ей на ухо. Он был куда красивее и крепче с виду, чем Сергеус. Я глядел на сестру и едва сдерживал слезы — до того было ее жалко.

Ко мне подсел молодой Жукайтис и, дыхнув винным перегаром, обнял меня за плечи:

— Вот, значит, мужа Кастанция получила... И хозяйство, сказывают, во какое, и земля добрая, да и поклоны бить, значит, некому... И отца и мать уже похоронил, ну еще брат остался... Подкинет ему малость, и тот, значит, в Америку укатит. А этот (он имел в виду Сергеуса) — просто побирушка. Молодо-зелено, а вышла бы за него замуж, и его сестра живьем бы ее съела, долю выколачивая...

— Дядя, но ведь они любили друг друга! — воскликнул я.

Жукайтис рассмеялся.

— Знаем мы эту любовь, значит, — сказал он. — Любовь что картошка... То есть, а то уж и след простыл...

«Нет, их не изменишь, — думал я. — Такими они родились, такими умрут... Им только дом, имущество подавай...»

— А ты, худент, вот из классов вернулся, ученый теперь, значит. Скажи-ка нам, как теперь будет. Говорят, литовское войско набирают... Не станет ли хуже с этим войском?

Услышав его слова, подскочил наш Пиус:

— А чем хуже, дядя? Литву создадим — независимую, без угнетателей, демократическую, понятно?

— Кто там ее, значит, знает... — сомневался Жукайтис. — Ведь и царя и кайзера видали — всяк норовит свое взять. Всяк только и глядит, чтоб у бедняка последний кусок...

— Больше так не будет, — утверждал Пиус. — Люди сами власть поставят, какую захотят. Германец уйдет, сами станем управляться.

— Германец уйдет, значит, — не унимался Жукайтис, — а другой дьявол придет. — Потом он обратился ко мне: — А что за коммунисты такие, не слыхивали там, в классах?

— Слышал, дядя, но точно сказать не могу, — ответил я. — Говорят, тоже против бар, против богатеев...

— А как они насчет ксендзов? — снова спрашивает у меня Жукайтис. — Говорят, здорово ксендзов не любят.

— Этого я не могу сказать, — откровенно признался я. — Говорят-то всякое, но где тут правда, дядя, не знаю...

— Вот то-то и оно, что, значит, никто не знает, как что лучше сделать. Вот и мы не пойдем, в какую сторону податься бедному человеку... Вот в чем вся загвоздка...

Музыкант заиграл на своей скрипке польку, и по избе понеслись пары. Я танцевать не умел и опасался, как бы какая-нибудь деревенская танцорка не пригласила меня. А Жукайтис все говорил да говорил... Я снова взглянул на Кастанцию. Она сидела рядом с мужем, и лицо у нее было красивое и нестерпимо печальное.

ИНЕЙ И СОЛНЦЕ

Еще только брезжил рассвет, но надо было вставать. А вставать ужасно не хотелось! Чердак остыл с вечера, и теперь в нем было холодно, как в овине. Свернувшись от холода в комочек, я лежал в железной кровати под жалким лоскутным одеялом, что сшила мама. Приближался неумолимый час, когда, хочешь не хочешь, придется высунуть из-под одеяла босые ноги, встать на холодный пол и, трясаясь всем телом, торопливо натягивать носки, штаны, башмаки, умываться и причесываться.

— Вот черт, сегодня опять пар из носу идет! — нежился в постели Васаускас, а мой богобоязненный сосед Антанас Янушявичюс, уже одетый, умытый, молился, опустившись на колени у своей кровати.

На моей половине чердака сладко спал первоклассник Каросас. Я взглянул на его маленькое личико, и мне стало жалко его будить, но, вспомнив его вчерашнюю просьбу, подошел, приложил губы к его уху и закричал:

— Крр...

Каросас перевернулся на другой бок и открыл глаза.

Как тяжело здесь умыться зимой! В сенцах на железных ножках стоял таз, а рядом — ведро с водой. К утру вода чаще всего замерзала, и, чтобы умыться, приходилось выкидывать лед. Этим утром вода вроде бы не замерзла, а может, лед уже выплеснул Янушявичюс, который умывался раньше всех...

Выпив черного кофе с хлебом, намазанным искусственным медом (такой чуть сладкий немецкий мед продавали тогда в лавках), мы отправились в гимназию.

Туман и облака, спозаранку обволакивавшие дома и небо, теперь рассеялись. На улице не было холодно, а может, так казалось, потому что мы выпили горячего кофе. За городским садом пылало яркое алое солнце, а весь сад стоял в инее, сверкая, словно белое чудо. Ни одна веточка не колыхалась, словно деревья боялись шелохнуться, чтобы с них не посыпались белые-пребелые Украшения, висевшие хрупкими, нежными, тончайшими кружевами и мерцавшие, будто кораллы. Я глядел на одетые инеем деревья, на тропинки, уходившие вдаль, которым, казалось, нет конца. Так бы и ходил тут целый день, глядел на стволы и ветви деревьев, такие белые, такие сверкающие, радовался бы и надеялся на что-то — надежда моя была смутной, но солнечной и белой, как этот сад...

Город тоже был наполнен солнцем. Деревья на Варшавской вдоль обоих тротуаров тоже стояли в инее. Побелели заборы и калитки, а окна домов сверкали и горели, как зеркала. Люди шли по улице веселее, чем обычно. С балкона комендатуры, заигрывая с проходящими девушками, смотрели литовские солдаты — уже в форме и потому, наверно, такие смелые. За городом, над кладбищем, поднявшись с военного аэродрома, клекотали немецкие самолеты и, как каждый день, назойливо стреляли из пулеметов по дощатым щитам — мишеням.

Окруженная сверкающими деревьями, удивительно прекрасной казалась сегодня наша школа. Белым-бела, она просвечивала сквозь прозрачные ветви деревьев — тоже белые, мерцающие на солнце, которое уже поднималось над домами. Веселый и счастливый, позабыв про холод и голод, я открыл дверь класса. Ученики были чем-то взволнованы, собирались кучками и беспокойно шушукались...

— На лесопилке рабочие шумят... Мой отец говорил... Вроде это дело буржуев... — сказал какой-то гимназист.

— Сам ты буржуй, — огрызнулся атейтиник Кяпярша. — Парни, кто арифметику приготовил? Дайте списать...

Я сел за свою парту и вытащил из ранца «Историю Литвы».

— Ты слышал, — сказал мне Вицюлис, присаживаясь рядом. — Говорят, поймали коммунистов, расстреляли и — под лед... — Я увидел, что у него дрожат губы.

— Кто расстрелял? Где? Каких таких коммунистов?

— Не знаю. У нас, где я живу, вчера рассказывали. Говорят, поймали их, как ехали они из Алитуса, привезли в Мариямполе, мучили страшно...

— За что? — чуть не закричал я.

— Будто я знаю, — ответил Вицюлис. — Мол, власть хотели свергнуть...

— Какую власть? Литовскую или немецкую?

— Неизвестно, — ответил Вицюлис. — Может, немецкую, а может, и литовскую...

— А кто их — немцы или наши?

— Все говорят, что наши. Немцы, говорят, не вмешивались... Наши их... понимаешь... под лед... Литовцы — литовцев, вот что страшно...

В класс вошла преподавательница истории, и начался урок. Мое радужное настроение как рукой сняло. Я сидел испуганный, взволнованный. Я вспомнил, как, у Шешупе расстреливали разбойников... Но это же были разбойники! И то я смотреть без ужаса не мог, да и позднее вспоминать было страшно, хоть много времени прошло... А теперь — снова... И все это тут, в нашем городе. Эти коммунисты, про которых-то я толком ничего и не знал, почему-то не казались мне такими страшными преступниками, чтобы мучить их и убивать. Я знал, что после тяжелых боев они пришли к власти в России и что они за простых людей, за рабочих, за голодных. А теперь повсюду было столько голодных.

На перемене выяснилось только, что коммунистов было двое, оба молодые парни, один — учитель Юлюс Зонялис, а другой, кажется, столяр Юозас Габрис. Какой-то гимназист из-под Людвинаваса сказал, что хорошо знает родных Габриса, которые-де живут в деревне Дальгине, и его самого видел на митинге в Людвинавасе или в Калварии.

Когда мы после уроков вышли на улицу, все стало тусклым, будничным, мрачным. Иней еще не осыпался с деревьев, но небо уже обложили тучи. Наверное, усиливался мороз. Весна была еще далеко — шел февраль 1919 года.

За обедом кто-то сказал, что из Людвинаваса приехали родные убитых, ищут в реке тела. Увязая в снегу, мы сразу же после обеда побежали к реке через старое неогороженное кладбище, мимо поваленных надгробий (осенью, пока еще стояли теплые дни, мы иногда приходили сюда и, усевшись где-нибудь под сиренью, готовили уроки). На берегу Шешупе толпились поджидающие кого-то люди, а на снегу лежал молодой парень с длинными темными волосами и полуоткрытыми остекленевшими глазами. Лицо у него было разбитое, иссиня-белое. На виске виднелась круглая дырочка, но крови не было.

— Вот тут, неподалеку, и нашли, — вполголоса говорил невысокий худой человек, наверное рабочий, в солдатской потертой шинели, в какой-то папахе, в толстых башмаках и зеленых гетрах. — Искали от самых казарм. Пройдем шагов двадцать, зачернеет чего-то подо льдом, мы сразу и рубим лед на этом месте...

— А сестра? Говорят, сестра приехала? — спросил кто-то.

— Это того, второго, сестра... И мать тоже не его... Когда вытащили мы, подошла она и видит, что не тот... Обе будто рехнулись...

— Тут рехнешься, дела-то какие... — сказала еще нестарая женщина в мужском пальто и цветастом шелковом платке. — Материнское-то сердце... да и сестринское... Одно слово...

— А за что это их, господи? — обратилась к рабочему старушка, приковылявшая к реке.

— За рабочих шли, о нашем благе пеклись...

— А ты там, знаешь, агитацию не разводи, — громко сказал невесть откуда взявшийся полицейский. — Известно, за что...

Рабочий взглянул на полицейского — дюжего, красномордого, с наганом на боку. И, будто не расслышав окрика, спокойно продолжал:

— Вытащили мы, а на руке, знаете, часики. Идут, понимаете. Я вот и подумал — человека нет, а время идет своим чередом хоть бы хны... Такое, знаете, впечатление...

Кто-то зажигал папироску, но спички все гасли на ветру.

— Может, почтим павшего товарища и воздержимся от курения, — сказал тот же рабочий.

Курильщик ничего не ответил и сунул папироску во внутренний карман пиджака.

А я все не мог оторвать глаз от мертвого лица. Оно не казалось мне страшным. В нем было что-то детское, доброе, открытое, только лицо это покалечили, и оно окаменело и стало нечеловечески бледным. И эта дырочка на виске... Никто про нее не говорил, но видно было, что именно в висок выстрелили ему перед тем, как бросить в прорубь вместе с товарищем, таким же юным, как и он, — этому-то было примерно лет двадцать...

Вскоре появился еще один полицейский. Увидев подкрепление, первый осмелел и снова громко сказал:

— Разойдитесь, разойдитесь, граждане... И без вас тут...

— А зачем нам расходиться? — спокойно ответил человек в солдатской шинели. — Мы пришли почтить своего товарища, павшего от руки врага...

— Ну, ну, опять ты здесь? — Полицейский схватился за наган на поясе. — Опять ты со своей агитацией? А вы, ребята, — он внезапно повернулся к нам, — какого черта устались? Домой, домой, к маминой юбке! Там ваше место, понятно? Чтоб духу вашего не было!

Нам показалось, что от полицейского можно всего ожидать. Схватит за шиворот и в тюрьму, а то еще вытащит наган и начнет в нас стрелять, будто немец какой. И мы припустили вдоль реки по глубокому снегу, в ту сторону, где над крохотными деревянными домиками в мутном, уже почерневшем небе белели две высокие башни костела.

Пошел снег, начиналась метель. Ветер нес острые снежные иглы, они кололи мне лицо, нос, уши. Я потерял одну из варежек, которые связала мне когда-то Кастанция... Наверно, варежка осталась там, рядом с этими людьми, обступившими мертвое тело. Но я не думал о ней — сунул голую руку в карман пальтишка, на другую надел уцелевшую варежку. «За рабочих шел, о нашем благе пекся...» — вспомнил я слова того, в шинели, сказанные над телом. За что же их мучили, убивали, в прорубь бросили?.. За что?

Скоро в снежном вихре ничего не стало видно. Будто сквозь густую занавеску призрачно маячили в небе лачуги предместий и дальше — сумеречный, тоскливый, беспокойный город.

КАПЕЛЬ

О своем детстве я бы хотел написать весело, чтобы читатели улыбались. Увы, я вижу, что в этой книге больше грустных страниц, чем веселых. Времена моего детства были тревожные, а иногда и страшные. И никто не мог остаться в стороне от тяжелых, жестоких событий...

Подходила к концу моя первая зима вне дома, среди чужих людей. Зима выдалась холодная и голодная. Хорошо еще, что дети обычно меньше ощущают жизненные неудобства, чем

взрослые. Мне тогда казалось: раз холодно, то так и должно быть. Если хлебаешь жидкую крупяную похлебку, пьешь черный кофе с искусственным медом, а кусочек ржавого мяса видишь в обед лишь изредка, то так и полагается.

Зато неумная радость охватывала нас, когда из-за толстой перины зимних туч, предвещая весну, проглядывало солнце. А еще веселей становилось, когда солнце просачивалось сквозь плотный туман, в котором ходили люди, катились тяжелые немецкие повозки, еле волочили копыта исхудавшие за войну, с натертыми впалыми боками лошади, и пригревало людей на улицах, стены и крыши домов.

От первого тепла уже таяли сосульки, свисающие с крыш и жестяных карнизов. Началась звонкая веселая капель. Если солнце спрячется за тучами, если туман снова обложит город — капель все равно звенит крохотными колокольчиками, и ее как-то чувствуешь, хоть и не можешь уловить слухом.

Я стоял у городского сада на главной улице и смотрел на витрину кинематографа. Там большие пестрые афиши возвещали, что показывают новую киноленту — «Аккорды страстей». Были выставлены и фотографии, на которых мужчины и женщины танцуют, стреляют из револьверов, катаются на льду. В доме, где я жил, ученики только и говорили о кинематографе. Некоторые уже видели кино и стремились увидеть снова. Увы, чтобы попасть в зачарованный зал, где показывают такие чудеса — бегающих и прыгающих людей, целующиеся парочки, солдат, которые стреляют и все остаются в живых, — нужны деньги. Да и учителя не советовали туда ходить — ведь там показывают столь непристойные вещи, что ученикам не следует их смотреть.

Услышав пронзительную военную команду, я отвернулся от афиши и увидел несколько десятков человек, которых гнали по мостовой два солдата спереди и два сзади, выставив винтовки. Люди двигались медленно, волоча ноги, и едва не падали от изнеможения. Они были тоже в солдатских шинелях, но другого кроя, чем немецкие и литовские. Эти шинели когда-то были серого цвета. Теперь они грязные, в пятнах, — видно, солдаты ходили по воде, лежали на мокрой глине и сидели у костра. Лица у солдат совсем молодые, только бледные, давно не бритые. Серая, рыжая и черная щетина покрывает эти лица, лихорадочные глаза горят. Одни из солдат — в ушанках, другие — в бескозырках. Кое у кого на шапках видны красные пятиконечные звездочки. Шли солдаты, подвязав грязным тряпьем раненые руки. Один опирался на палочку, — наверное, болела нога. У многих головы обмотаны почерневшими повязками — вроде больших мячей. Из повязок с пятнами засохшей крови выглядывают только нос, рот и глаза, смотрящие вперед с таким равнодушием, словно этим людям все безразлично.

Многие шагали по снегу прямо босиком. Ноги у них грязные, в струпьях. Я весь сжался — от страха перехватило дыхание.

Мы, деревенские дети, когда-то зимой бегали наперегонки у нас, в Трямшшяй. Оставив за хлевом клумпы и оборы, босиком по снегу домчались до Полон — а ведь туда было не меньше сотни шагов — и вернулись назад. После этого кое-кто из ребят простудился — кашлял, словно дверьми хлопал. Когда отец дознался про нашу выходку, он всыпал ремнем мне и Юозасу. И правильно поступил, сердиться не стоило, хоть эти гонки на снегу нам и казались настоящим геройством.

А солдаты ведь идут так не первый километр... Они, наверное, отморозили ноги. Вот один из них хромает, — едва коснувшись земли пальцами ног, он как-то странно подпрыгивает. У второго на одной ноге башмак, а за другой по мокрому снегу волочится грязно-серая гетра. Неловко и стыдно было смотреть на солдат. Неужели можно так мучить людей? Можно ли так их гнать — смертельно усталых, голодных, замерзших?

На тротуарах собирались прохожие, они глазели на пленных, бесконечно медленно тащившихся по мостовой. Видно, конвоиры не могли заставить их идти быстрее. Казалось, все это — кошмарный сон! И хотелось, чтобы этот сон поскорее кончился, чтобы наконец проснуться и порадоваться тому, что это был только сон. Но люди все шли и шли, словно приговоренные к смерти, и все яснее виднелись красные звездочки на их шапках.

— Красногвардейцы, — услышал я чьи-то слова. — Никак от Бутримоняй или Езнаса гонят... Говорят, там бои были...

— Русские, — злобно пробурчала какая-то баба, — так им и надо...

— Русские-то они русские, — откликнулся молодой парень без левой руки, в коротком полушубке, с черными усиками. — Но и нашего брата в ихних полках немало...

Пробравшись сквозь толпу, я стоял уже не на тротуаре, а на мостовой, залитой снежной тюрей. Мимо меня шагал молодой парень в сапогах и шинели, в фуражке, молодецки сдвинутой набекрень. Высокий ровный лоб, а лицо знакомое, вроде я его где-то видел. Конечно, я не мог видеть это лицо, но разве мало таких вокруг — на улицах, на рынках, на всех дорогах, куда ни пойдешь. Он дружески и даже как-то насмешливо глядел по сторонам, словно ему было наплевать на то, что его схватили и куда-то гонят вместе с остальными и неизвестно, где он будет ночевать, что будет есть, когда и как кончится его жизнь... Проходя мимо меня, он протянул руку к толпе на тротуаре и отчетливо произнес по-литовски:

— Товарищи, хлеба у вас не найдется?

Его голос звучал сипло. Он закашлялся и плюнул на тающий снег. Маленькая и сгорбленная бабенка протиснулась сквозь толпу и, вынув из корзинки кусок хлеба, торопливыми шажками погналась за солдатом, чтобы подать ему. Но солдат уже ушел, и хлеб взял другой, шедший позади него. Парень, сказавший недавно, что и нашего брата немало в красноармейцах, подал одному арестанту пачку сигарет. Только теперь, кажется, солдаты заметили, что пленные общаются с толпой, и я услышал низкий, сильный голос заднего конвоира:

— С большевиками говорить воспрещается... Разойдись... Разойдись!..

И я смотрел на это тоскливое, страшное шествие и все не мог прийти в себя.

Был март. Из-за тучи полыхнуло солнце — огромное и теплое. Я выбрался на улицу, на которой жил. Дойдя до кладбища, вдалеке, на Калварийском шоссе, я снова увидел колонну. Уже не разобрать было отдельные фигуры, но мне казалось, что там идут те же красногвардейцы, конвоируемые литовскими солдатами. И мне все мерещилось молодое живое лицо, и я по-прежнему слышал голос: «Товарищи, хлеба у вас не найдется?»

Еще веселее звенела капель, падая с сосулек, облепивших крыши и жестяные карнизы. Вода клокотала в водосточных трубах. Казалось, потоки ее скоро зальют весь город, но от этого потопа станет веселей — он смоеет с улиц грязь, муть, подмокший конский навоз, унесет с собой тяжелые мысли, которые так мучили меня.

Шли дни и недели. Новые события заслонили старые. Но я еще долго, очень долго, а точнее — никогда не мог забыть того, чему был свидетелем в эту первую зиму и первую весну вне дома. Передо мной исподволь раскрывался мир, в котором мало было радости и много горя. А моя душа так жаждала тепла и так мечтала о радости...

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ ЛЕЖИТ НОЧНАЯ МГЛА...

Не знаю, по какой причине родители следующей осенью поселили меня в новом месте, за костелом, недалеко от того домика, где я жил у богомолки Морты, когда сдавал экзамены в гимназию. Здесь в большой и очень холодной комнате жило несколько учеников недавно открытого реального училища. Это был народ почти взрослый, солидный и не очень-то вступавший в разговор с гимназистиками вроде меня. Когда все садились за стол, меня, можно сказать, не замечали. Моя койка стояла в столовой, и я каждое утро торопился поскорее встать и прибраться, чтобы садиться за стол вместе со всеми.

Новая моя хозяйка и ее дочка Марите не так давно вернулись из Воронежа. Марите училась уже в шестом классе. Казалось, что может быть общего у барашка-третьеклассника и красивой барышни, на которую заглядываются гимназисты последних классов, а на вечеринках даже учителя приглашают танцевать! Но Марите относилась ко мне по-дружески. Каждое утро, в своем зеленом халатике, с пушистым полотенцем на плече, она шла через столовую умываться на кухню, и, увидев, что я проснулся или встаю, она никогда не забывала пожелать мне доброго утра. Она охотно давала мне почитать свои книги (читала она, надо сказать, больше приключения или книги про любовь).

Увидев мое пристрастие к чтению, Марите однажды сказала:

— Умел бы ты читать по-русски, тогда — дело другое... Что у них за книги — просто прелесть!..

— Я чуть-чуть умею, — ответил я. — Только, правда, самую малость.

Русские буквы я вытвердил еще тогда, когда Пиус ходил в школу. Подучился русскому и у Юлюса Бутаускаса. А в прошлом году несколько русских книг брал из гимназической библиотеки. Там их остались полные шкафы с довоенных лет. Я так ничего и не понял. А теперь Марите принесла из своей комнаты учебник русского языка, раскрыла передо мной на столе и сказала:

— Ну-ка, почитай...

Читал я, разумеется, через пень-колоду, но это Марите не обескуражило. Она решила во что бы то ни стало обучить меня русскому. В тот же день я успел до завтрака прочитать с ней небольшой рассказ, и мы вместе перевели его на литовский. Марите мне сказала, что вечером обязательно спросит меня о том, что уже объяснила.

В классе я несколько раз вспоминал утренний урок и Марите, от которой пахло слабыми духами, а может быть, просто юностью. С этого дня Марите стала для меня еще прекраснее. Она была высокая, гибкая. Из-под халатика выглядывали стройные ноги, всегда в чулочках и черных туфельках. Лицо чуть бледное, задумчивое, на нем светятся приветливые голубые глаза под темными длинными ресницами. От всего ее облика веяло каким-то детским добродушием и женской таинственностью. С учениками реального, ребятами постарше ее, с которыми мы вместе столовались, Марите держалась серьезно, не хихикала, как ее подруга, что жила с ней в комнате за столовой, и это мне было по душе. А теперь она станет моей наставницей! Она научит меня русскому, и я смогу свободно читать все те книги, что стоят в шкафах в учительской!..

За обедом Марите еще раз напомнила мне, что задала утром, и я впился в книгу. Вечером Марите ушла — кажется, в кино. Я приготовил уроки, написал домашние задания, почитал давно изданную, невесть откуда мне доставшуюся книгу «Проповеди мудрости и истины, изложенные мудрецами во все века». По правде говоря, никакие это были не проповеди, а просто басни о зверях и птицах, какие были и в нашей книге для чтения... Но много в ней оказалось и неизвестных мне историй, которые я читал с превеликим удовольствием.

Марите вернулась поздно вечером. Я заерзал на кровати и открыл глаза. Она сидела со

своей подругой за столом и пила чай. Увидев, что я не сплю, она сказала мне:

— Ничего, ничего, я сейчас поужинаю. Ты выучил, что я задала?

— Выучил, — ответил я, — только не знаю, как два слова произнести.

После чаепития Марите отнесла чашки на кухню (наша хозяйка уже спала), ушла в свою комнату, переделась в халатик, распустила по плечам густые темные волосы и вернулась в столовую. Взяв со стола керосиновую лампу, она поставила ее на столик у моей кровати и села рядом со мной. Лампа сбоку освещала ее лицо. В этом свете она казалась мне невероятно красивой. И была она какая-то уютная, чуть сонная. Сидя в кровати, я читал рассказ, и Марите, кое в чем поправив меня, похвалила за рвение и сказала, что довольна учеником.

Она сидела совсем рядом. В вырезе халатика я видел красивую тонкую шею с крестиком из розового металла на тонкой цепочке, под халатиком угадывались очертания маленькой груди. От волнения у меня кружилась голова. Читая новый урок, я несколько раз ошибся.

— Но ведь это слово мы уже проходили. Ты должен знать, — с упреком качала головой Марите, а я еще больше спотыкался и путался.

Читали мы два или три раза подряд одно и то же, и Марите терпеливо поправляла мои ошибки. Потом она сказала, что читаю я терпимо, только не выговариваю твердого «ы», да и мягкий знак у меня выходит как-то не так.

Потом Марите взяла другую книгу, долго листала ее и, найдя наконец что-то, сказала:

— Послушай, что я тебе почитаю.

И она стала читать тихим, напевным голосом, а ее лицо становилось все печальней и все задумчивей:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко: печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

Стихи в устах Марите звучали так, словно она делилась какой-то сокровенной тайной. Дочитав, она вздохнула и сказала:

— Сейчас я тебе переведу... Здесь описана Грузия, знаешь, прекрасная горная страна... А Арагва, которая тут упоминается, это река, понимаешь? Но не это главное... Понимаешь, поэт пишет здесь о своей любви, как ему печально и хорошо... Ведь бывают в жизни такие

часы? Верно?

— Правда, — ответил я, хотя не столько понял, сколько почувствовал то, что думает моя учительница и что написано в стихах. Стихи, разумеется, были удивительные, они звенели и струились словно ручей, и я попросил у Марите разрешения самому их прочитать. Я читал и чувствовал, как бьется у меня сердце, а Марите вдруг провела рукавом халатика по глазам и сказала:

— Прекрасно, правда? Мне кажется, это прекрасно, как волшебство...

Я кивнул и тихо ответил:

— Да.

— А знаешь, кто написал эти стихи? Пушкин. Это был замечательный поэт. Правда, ведь никто лучше его не напишет?

— Да, — ответил я. — На самом деле не напишет...

Марите взглянула на часики на своей тонкой белой руке и сказала:

— Ну хорошо, мальчик, а теперь пожелай мне спокойной ночи, и я пойду спать, — она нежно зевнула и прикрыла ладошкой рот.

Я сказал «спокойной ночи», Марите вздохнула мне волосы, захлопнула книгу, взяла со столика лампу и ушла в свою комнату. Вскоре свет у нее погас. А я все еще чувствовал у своей кровати тень юной девушки, удивительно прекрасную, волнующую. И, пока я не заснул, у меня в голове звучали стихи, которые журчали словно ручей, хоть я и не все в них понимал...

(Много лет спустя я перевел их на родной язык.)

И вот, когда в соседней большой комнате, бывало, уже спят реалисты, а подруга Марите еще читает в постели, Марите приходит в столовую, садится на край моей кровати и сидит так, уютная, своя. Не придет она в какой-нибудь из вечеров, и мне уже не по себе — я одинок, никому не нужен, не интересен, обижен!

Так всю зиму продолжалась наша учеба. На следующий год я опять переехал на новую квартиру, и мои уроки русского прекратились. (Позднее я еще вернусь к своей жизни у матери Марите. Теперь, чтобы рассказать конец этой истории, я забегаю вперед событий.) Я уже свободнее читал и понимал по-русски. Марате я изредка видел в гимназии, в коридоре или во дворе, где она гуляла по цементной дорожке с какой-нибудь подругой. Я здоровался с ней издали, но почему-то не смел подойти, — мне казалось, она догадается, что в прошлом году она мне ужасна нравилась, да и сейчас я не могу смотреть на нее без волнения. Встретившись взглядом с ее задумчивыми глазами, я дрожал, краснел и спешил пройти мимо, чтобы Марите не поняла, отчего я так взволнован.

Не знаю, в каком я был классе, когда пронесся слух, что Марите выходит замуж. С несколькими друзьями я под вечер отправился в бывшую церковь, теперь уже костел с одной башней, на Варшавской, неподалеку от городского сада. Здесь должно было проходить венчание. Я стоял в толпе любопытных и глядел на алтарь, на котором горели все свечи. Казалось, алтарь покрылся пламенем, словно неопалимая купина, о которой говорится в священном писании.

Играл орган, а перед алтарем стояла тоненькая высокая девушка в длинной, до пола, фате. Рядом с ней стоял рослый седой офицер с крупной головой. Лицо Марите я увидел, только когда после церемонии они с мужем повернулись друг к другу и поцеловались. Я заметил, что

лицо у нее по-прежнему поразительно прекрасное, только заплаканное и совсем бледное.

Любит ли она этого незнакомого, крупноголового, седовласого и, кажется, такого грубого человека? Будет ли с ним счастлива? Сама она его выбрала или мать ее заставила выйти замуж? Ничего я не знал, но уныние охватило меня, будто я навеки потерял кого-то из близких.

Я вышел из костела и долго гулял по городу, потом забрел в весенний сад, над которым уже повис серп луны, и почувствовал, как опьяняюще пахнет земля, исполинские липы и кусты жасмина. Я шел задумчивый, грустный, и вскоре меня охватило всепрощение и примирение с судьбой. Я знал, что Марите, скорей всего, никогда больше не увижу — рассказывали, что она уезжает с мужем в Каунас. Я шел и шел по дорожкам сада, усыпанным серебристым лунным светом, и дорожкам, казалось мне, не было конца, а моя душа, все еще полная непонятной печали, повторяла полузабытые, но такие волшебные строки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла...

«ВСЕ ЛЮДИ»

Я был, что называется, старым театралом. Еще когда я частным образом учился у Бутаускаса, помню, меня как-то пригласили играть в какой-то пьесе, что по тем временам было дело диковинное и почетное. Кажется, и мысль поставить пьесу на гумне скайсчяйского Асташаускаса возникла у моего учителя, который был мастер на всякие выдумки. Я уже не помню, что это была за пьеса. Помню только, что речь шла о запрещении литовской печати. Моя роль была небольшая. Я читаю книгу, а мой несознательный отец отнимает ее из страха перед жандармами и, разорвав, бросает на пол. Я плачу и, кажется, убегаю со сцены. В антракте меня похвалил учитель, да и наши соседи, которые меня узнали (я играл без грима), потом говорили, будто я плакал до того замечательно, что они просто диву давались. Еще я помню, что в тот вечер двор крупного хозяина Асташаускаса был запружен людьми, что мне очень нравилась его дочь, которая в пьесе играла мать и, закутавшись в платок, сидела за прялкой. Представление до того понравилось зрителям, что они еще долго вспоминали это необыкновенное, невиданное событие.

Я тоже не могу забыть это представление, хотя видел его только частями, на репетициях. Мне стало понятно, «как это делается», — я знал, что перед выступлением актерам приходится долго зубрить слова, повторять одно и то же, а самый умелый из них поправляет, указывает, как надо и как нельзя ходить по сцене, говорить, смеяться и плакать. Это отнюдь не так просто, как может показаться...

Уже в Мариаполе я не раз стоял перед афишами местного любительского «Народного театра». Увы, скудость средств ни разу не позволила мне попасть на его спектакли.

А вот сейчас я стоял у двери реального училища и читал большую, красиво напечатанную афишу. На ней сообщалось, что сегодня вечером каунасский Национальный театр показывает мистерию «Все люди». Господи, до чего же хотелось мне попасть в зал реального — туда, где уже через полчаса начнется что-то необыкновенное! Ведь играть-то будут не какие-нибудь крестьяне и даже не гимназисты, а настоящие актеры, приехавшие из самого Каунаса! Событие редкое в нашей жизни, поневоле заволнуешься! Но попасть в зал и не

надейся — нужны деньги.

Однако, как говорится, нет такого положения, из которого не было бы выхода. Я увидел пронырливого паренька из нашего класса, Миляускаса, который направлялся к крыльцу реального. Он подмигнул мне и сказал:

— Хочешь попасть?

— Ужас как хочу, — ответил я. — Да вот билета нет...

— Хочешь — проведу? — не то шутя, не то всерьез сказал он. — Пошли...

Мы взбежали по лестнице на второй этаж, где у двери стояли контролеры и отрывали билеты.

— Видишь, — сказал Миляускас, — снизу несут ящики пива. Как только они до нас дойдут, мы схватим этот ящик сбоку, будто им помогаем. Вот и проскользнем...

Не было времени рассуждать, позволительно это или нет. Я понимал, что это жульничество. Но очень уж хотелось попасть в зал, и, увидев, что Миляускас придерживает ящик сбоку, я пристроился с другой стороны. Рабочие не обратили на нас внимания, а контролеры, решив, наверное, что мы служители буфета, пропустили нас без билетов. Пробравшись в фойе, мы оставили ящик с пивом и нырнули в зал. Зрители уже садились на наспех сколоченные скамьи — длинные доски на чурках. Мы с Миляускасом протиснулись вдоль стены и захватили прекрасные стоячие места у самой сцены, которая еще была закрыта занавесом. Спереди, на стульях, восседала избранная публика — учителя, чиновники, офицеры.

Зал гудел. Стены подпирали ученики нашей гимназии и реалисты. Мы стояли в тесноте, но радовались, что удалось пробраться. Только меня не оставляли укоры совести, и я боялся, как бы распорядители, увидев нас без билетов, не выдворили из зала. Но у них, наверно, хватало дела и без нас. Мы стояли спокойно, только кто-то из реалистов метал из рогатки бумажные катыши прямо в плешь толстяку, сидевшему в первом ряду. Видать, удары были слабенькие, так как толстяк только чесал плешь и ни разу не обернулся.

В третий раз прозвенел звонок, погас свет, и поднялся занавес. Нелегко мне сейчас пересказать содержание пьесы. Насколько я понял, действие происходило в древности. По сцене ходили люди в туниках, какие носили в Древней Греции или в Риме, это мы знали из книги «Восток и мифы», по которой в этом году изучали историю. Эти люди, веселые и счастливые, беззаботно ходили по сцене. Главный из них был Человек. Здесь были его любовница, толстый и худой родственники. Друзья Человека сидели за столом, пировали, целовали женщин, беседовали о вкусных кушаньях, путешествиях, лошадях и прочих приятных материях. Волосы у них были длинные, как у святых на церковных картинах, что придавало им еще более забавный вид. А края их туник сверкали золотом. То были люди далекой счастливой страны.

И вдруг, в самый разгар веселья, случилось нечто, от чего мы все вздрогнули. На сцене внезапно потемнело. Нам стало не по себе; Человек спросил: «Почему так тускло горят свечи?» Но никто ему не ответил. Закутавшись в черный саван, появилась Смерть. На ее груди торчали ребра. Она появилась внезапно, в разгаре пира, когда гости, собравшись у богатого хозяина, пили, поднимая кубки с вином, поблескивающие в лучах меркнувшего света. Появление Смерти, конечно, ошеломило пировавших — они чуть не потеряли сознание от страха, а некоторые просто бросились бежать.

Началось второе действие. Смерть пришла за богатым хозяином дома — Человеком. И тут начались волнующие сцены: Человек уговаривал своих ближайших друзей, с которыми провел столько веселых часов, оставить эту жизнь и отправиться с ним в ту... Нет, ни один из

друзей не согласился — каждый находил серьезную причину, каждый хотел остаться здесь и пожить, сколько позволит судьба. Человек уговаривал отправиться с ним свою любимую, женщину невероятной красоты, которая ведь так его любила, пока он был здоров и богат. Увы, и эта лживая женщина показала теперь, чего она стоит, — она тоже отказалась следовать за своим возлюбленным. Даже слуги, которые раньше за деньги угождали своему барину, гнули перед ним спину и лебезили, не только не согласились с желанием хозяина, но, покинув его, убежали из дому. И вот, когда все оставили Человека и перед лицом смерти он стоял одинокий и страшно несчастный, не захотели его оставить только его добрые дела. Единственным другом умирающего оказалась хилая, бледная старуха, опирающаяся на костыль, — видать, маловато добрых дел свершил умирающий за свою жизнь, но они не покинули его в горестный час, и это было единственное утешение.

Мой читатель, видевший не одно великолепное творение искусных и изысканных драматургов, наверное, улыбается, читая эти страницы. Нашел что описывать, видите ли! Какая-то допотопная мистерия, примитивная по содержанию и неизобретательная по форме, такая может подействовать разве что на гимназистов! Да, согласимся с суровым критиком. И все-таки хочется сказать, что на этой мистерии я впервые в жизни всей душой ощутил великую силу подмостков. С той минуты, когда поднялся занавес, до последних слов пьесы я жил в другом мире, ошеломленный, восхищенный, зачарованный им.

Можно ли было поверить, что все, изображенное актерами, — выдумка, иллюзия, сон? Неужели все, что взволновало нас до глубины души, — не действительность, куда более достоверная, чем та, в которой мы жили? И да, и нет. Ведь, зная, что видимое нами — правда, мы ни на миг не забывали, что это все-таки только иллюзия, что это — театр. Вот где истинная сила искусства. Хорошо ли играли актеры? Удачно ли поставил мистерию Антанас Суткус?[50] Об этом я не берусь судить.

Может быть, я не совсем точно пересказал то, что видел. Но это оказалось одним из самых ярких переживаний моего детства. Тот вечер я могу сравнить разве что с первым впечатлением от «Проклятых монахов» Венуолиса или «Аникщяйского бора».

Много я видел на своем веку театров и актеров, прославленных не только в нашей стране. Я видел на сцене пьесы великих драматургов, блещущие силой и красотой. Но мало я припомню спектаклей, которые так взволновали бы меня, которые бы так будоражили воображение, как эта давно и — кто знает, — может, на самом деле глупо написанная пьеса, которую много лет назад сыграл молодой Каунасский театр на крохотной обшарпанной сцене Мариямпольского реального училища. За этот глубокий след в душе, за первое знакомство с тем, что дает человеку театр, я благодарен всем, кто участвовал в спектакле. И эту благодарность я сохранил по сей день.

ТИФ

Приближались рождественские каникулы. Я все сильнее тосковал по дому. Я воображал, как вернусь домой, как увижу отца, который явно гордится мной — тем, что я учусь и, может быть, добьюсь большего, чем он. Увижу ласковое, доброе, усталое мамино лицо. А сколько предстоит нескончаемых, занимательнейших разговоров с братьями и сестрами! За один день всего не переговоришь — хватит на все каникулы!

Я мечтал о сочельнике, когда стол застилают сеном и под стол тоже кладут большой ворох сена. Потом на сено стелют белоснежную скатерть, а наверх ставят кушанья, такие вкусные, что, как говорит тетя Аиастазия, ненароком язык проглотишь. Слижикай[51] с маковым молоком — просто объединение! А сладкая кутья, а крохотные кусочки селедки, а кисловатый,

но чудесный, щекочущий небо овсяный кисель! Слюнки текли от одной мысли о таких яствах. Может, отец или тетя сходят в поместье и купят яблочко. Я по ним просто истосковался — бог знает, что отдал бы за самое маленькое яблочко!

Каждый день по дороге из гимназии я мечтал, что вот завтра-послезавтра увижу во дворе сани и наших лошадей, жующих сено. А когда войду в дом, со стула поднимется мой дорогой, мой любимый, мой ужасно хороший отец, который пил чай и беседовал с хозяйкой!

Я знал, что это ему я должен быть благодарен за то, что учусь. Не раз он говорил у нас дома, что все беды простых людей от того, что мы — народ темный. Сам он бегло читал, а писал с трудом, царапая пером бумагу и стесняясь своего неумения. И еще я знал, что он — а под конец войны дом был пуст, хоть шаром покати — договорился с учителем Бутаускасом и решил меня, единственного из всей семьи, отдать учиться. Как я был за это благодарен! Когда кто-нибудь из соседей упрекал его в том, что он напрасно взвалил на себя такую тяжесть, отец отвечал:

— А вот погляди, Бяндорюс из Скайсчяй! У человека-то всего два морга, а сын, как видишь, ученый музыкант...

— Музыкант, музыкант... — смеялся собеседник. — И без ученья можно на скрипочке на свадьбах пикивать...

— На свадьбах! — усмеялся отец. — Бяндорюсов Йонас может где хочешь — и в костеле, и у самых что ни на есть бар... Всюду он в почете.

Я видел, как отец почтительно листает мои учебники — «Арифметический задачник», «Географию», «Восток и мифы» и другие. Он знал, что в книгах содержится та премудрость, которая сделает жизнь его сына куда счастливее, чем у него, рядового крестьянина из темного захолустья. Да, темного захолустья, ведь в нашей округе наперечет были люди, умевшие читать, а совсем уже в диковинку — кто мог написать свою фамилию. Любавас, Калвария да еще изредка Мариямполье и Вилкавишкис — вот самые дальние города, до каких добирались крестьяне наших мест. Изредка встречался человек, побывавший в Сувалках, в Каунасе, а в Вильнюс попадали лишь самые заядливые богомольцы или люди, склонные к невероятным приключениям, которым, как говорится, сам черт не брат...

И вот сегодня я точно знал: пробежав мимо костела и по нашей улочке, уже от ворот своего дома я увижу во дворе наши сани, лошадей, заботливо укрытых попонами, а открыв дверь, услышу голос отца и припаду к его руке...

Так оно и есть: стоят сани, лошади, правда, не укрытые попонами, и жуют брошенное на снег сено, а в санях сидит, дожидаясь меня, Юозас. Он весь словно утонул в отцовской сермяге — едва видна голова в широкой ушанке, под которой сверкают темные глаза, торчит красный нос. Он замечает меня еще в воротах и кричит:

— Иди сюда! Иди сюда!

Я подбегаю к саням.

— А папа? Папа где?

— Нету папы, — говорит Юозас. — Умер наш папа...

И Юозас, скрючившись в санях, плачет навзрыд. По щекам катятся слезы, которые он вытирает длинным рукавом сермяги. Я тоже начинаю плакать, хотя все еще не сознаю, что отца, нашего дорогого, любимого отца, нету в живых!

— А что мы будем делать? — наконец спрашиваю я Юозаса, не зная, что тут сказать.

— Оденься и поедem домой, мама меня за тобой послала.

— А ты? Ты ведь замерз? — спросил я. — Пойдем в дом, согреешься...

— Я уже грелся, — ответил Юозас. — Мама сказала, дом далеко — пока приедем, и ночь наступит.

Наша хозяйка и Марите, вернувшаяся из гимназии, уже знали про наше горе.

— Сиротка! Что теперь будешь делать без папы? — воскликнула хозяйка, увидев меня.

— На самом деле, мама! — воскликнула Марите и крепко сжала мою руку.

Я снова заплакал, не в силах унять дрожь во всем теле.

За городом незаметно закрутила метель. Ветер нес снежные вихри. Хоть Юозас и закутал меня в какой-то ветхий платок, а ноги закрыл попоной и какая-то защита от ветра была, казалось, что вместе с сумерками понемногу смеркается и у меня в душе, а с темнотой наваливаются мороз и жуткая пустота.

Лошади без понуканий бежали вперед. Они, видать, чуяли, в какой стороне дом. Уже в полной темноте мы добрались до Калварии. Здесь брат поставил в каком-то дворе сани и снова бросил лошадам немного сена, а мы пошли искать сахару, чая и пирогов — мама велела Юозасу взять по дороге. Мы входили в лавки, где мерцали тусклые керосиновые лампы. В их свете за прилавками сидели лавочники, дожидаясь запоздалых покупателей. Вместо сахара нам продали сахарин, вместо чая — сушеную ромашку. «Чего вы еще хотите? — сказал лавочник. — Такой чай куда лучше настоящего». Вместо пирога мы достали связку древних сухек, но так и не довезли их до дома — сами съели в дороге.

Домой мы вернулись глубокой ночью. Однако, въехав во двор, мы увидели свет в окнах избы и горницы. Во дворе курили мужики. Увидев нас, подошел кто-то из соседей и сказал:

— Ну, наверно, промерзли до костей... Живы еще?

— Живы, живы! — откликнулся я и, выскочив из саней, поспешил в избу, где было полно людей.

Меня трясла дрожь. Мама, только увидев меня, велела поскорее забираться на лежанку. Она что-то стряпала в кухне с тетей и соседками, в избе стояли жар и духота. Я увидел своих друзей — Бабяцкасовых Альбинаса и Магдуге, Андзюлявичюсова Антанаса и прочих. Они держались в стороне — не бежали со мной здороваться. То ли они уже считали меня чужаком или стеснялись, то ли им казалось, что в такой день, когда на другой половине лежит покойный отец, не пристало заговаривать со мной, заплаканным и замерзшим...

Потом, когда я уже выпил стакан ромашкового чаю с последней купленной в Калварии сушкой, мама подошла ко мне и тихо сказала:

— Пойдем, сыночек, к папе... Все о тебе говорил... Говорил, надо в Мариямполе поехать, может, сыночек там голодает, и торфу хозяйке отвезти надо... Как мы теперь будем без папы?

Мама не выдержала и зарыдала снова, хотя, кажется, слезы она уже давно успела выплакать. Глаза у нее были красные, губы дрожали и мучительно сжимались, она старалась унять плач.

Через темные сени, где в открытую настежь дверь со двора врвался холодный воздух, мы вошли в горницу. В глубине ее, слева, я сразу увидел на скамьях белый некрашенный гроб. В

нем лежал он, мой отец! Он был чисто выбрит и, кажется, чуть улыбался. Мне, конечно, это только показалось. Его красивое лицо на самом деле было серьезным, может быть, даже суровым, как будто он на кого-то сердился. Седые волосы разделены на пробор и аккуратно причесаны. Я шел через горницу, не видя людей, которые, сидя за столом, только что кончили петь.

Я подошел к отцу и поцеловал его холодную, невероятно холодную руку. Я глядел на его лицо, такое родное, и чувствовал, что он и тот и уже не тот — смерть сковала его черты, влила в них беспредельный покой, и теперь он и родной и чужой, и знакомый и словно увиденный впервые.

Горло сдавили рыдания, и просто не верилось, что он никогда, никогда больше не встанет, не поворошит мне волосы своей большой, огрубелой от трудов рукой, больше не похвалит меня — за успехи в грамоте, за мое усердие, за все, чем я его радовал.

Это придавило меня. Я долго стоял у гроба. Восковые свечи горели в деревянных, откуда-то принесенных подсвечниках. Таял и капал воск, пламя длинными белыми языками взметалось вверх и опадало, потрескивало, притухало и разгоралось снова.

— Студент, студент приехал, — услышал я шепот соседок. — А брату-то его не под силу учить будет...

И я впервые понял, что всем моим наукам, чего доброго, пришел конец. После смерти отца Юозас, хоть и немногим старше меня, стал хозяином в этом доме — во всяком случае, до возвращения Пиюса из армии. Захочет ли он, ограничивая себя, посылать мне в Мариямполье продукты и платить за учебу? И я, хоть мало еще разбирался в отношениях людей, сразу понял, что в моей жизни со смертью отца тоже что-то переменялось — стало много, много хуже...

— А у нас-то, — прошептала Асташаускене, — народ тоже пластом лежит... Видать, поветрие нашло... Тиф, говорят, или как там еще. Мальчонка захворал, и старуха уже при смерти, мужнина мать...

— Не приведи господи, что творится, — подтвердила Стялмокене. — У нас в поместье нет такой семьи, чтоб кого не похоронили. Детей-то в Любавас даже не возим, а одних стариков... Не поспеваешь по похоронам ходить. Мы-то еще все держимся, слава богу...

Мужики Гульбинаваса снова затянули похоронную, и женщины подхватили простуженными сиплыми голосами. Песня звучала мрачно, глухо, и смотреть на отца стало еще тяжелей. Все обволокло какой-то дым, голоса доходили бессвязно, и я не сразу понимал, кто что говорит...

Вернувшись в избу, я ушел в свой чуланчик, разделся и лег. Хоть тело и ныло от усталости, но я долго не засыпал. За стеной в избе люди сидели, курили, толковали о тифе, как он пришел откуда-то из-под Пунска, как хворают целыми дворами, некому даже воды подать больным. В чулане, где я лежал, на другой кровати металась и просила пить Забеле.

Рядом на лежанке, свесив ноги, сидели женщины.

— От живности, от живности все, — в полутьме я услышал голос Адомене. — От нее ведь спасу нет... Обнищали, вот она на нас и напала...

Мама, напоив Забеле, зажгла лучину, сунула ее в светец и сказала:

— Как ей не напасть!.. Ведь мыла-то даже впринюшку сколько лет как нету... Ни за какие деньги не купишь. Говорят, другие сами мыло варят, но из чего его сварить, коли жира никакого нет?.. Мы ведь тоже пробовали, но, боже ты мой, какое это мыло...

В прошлом году перед рождеством отец где-то достал щелоку. Мама сварила тюрю и разлила ее в противни, в которых до войны по большим праздникам пекли пироги. Мыло было черное, не пенилось, щипало руки. Но можно было объявить войну живности.

В кухне мама тогда поставила бочку, налила теплой воды, и мы мылись, брызгались, плескались, как гусята. Живности вроде поубавилось, но на стирку мыла все равно не хватило. Даже кипячение белья не много помогало. Не только наш двор — целые деревни маялись немецким наследием...

...Забеле снова застонала. Накрыв ее, мама поправила горящую лучину и продолжала рассказывать:

— Уж чего мы не делали с Тамошюсом-то... Юозукас даже доктора из Калварии привозил. Кряуза по фамилии. До того старый человек, что сам не ВИДИТ, куда ползет... Тиф, говорит. Чего, говорит, раньше меня не привезли? Сердце, мол, жару больше не выдерживает... А Тамошюс, вечная ему память, перед смертью еще на меня посмотрел, снял с шеи ладанку и говорит: «Бери себе, Эльзбетеле! Я больше ее носить не буду». Я испугалась, плачу, а он знай свое твердит: «Поносил я весь свой век, хватит...» А на следующую ночь почил. Как доктор сказал, сердце не выдержало...

Я слышал мамины слова, кашель за стеной, гудение ветра на дворе. Изредка до моего слуха доносилось унылое сумрачное пение из открытой двери горницы. Потом все вдруг исчезло — я провалился в тяжелый, беспокойный предрассветный сон.

Похоронили мы отца на следующий день, перед сочельником, на кладбище местечка, неподалеку от старой часовни, под высокой березой. Провожала его вся наша деревня — кто не хворал в то время. Никто не говорил у гроба речей (да и моды такой тогда не знали), только когда вырос холмик над могилой, Андзюлявичюс промолвил:

— А похоронили Тамошюса ладно, рядом с отцом барина Аушлякаса.

— Какая тут ладность — рядом с барами? — спросил Кастантас Бабяцкас.

— Наш простой человек не хуже барина! — растолковал Андзюлявичюс, перекрестившись и напялив на голову шапку.

Мы с мамой, Кастанцией и Юозасом постояли у могилы, потом, вытерев слезы, вышли за ворота кладбища.

— Нашему папе теперь хорошо, — печально сказала мама. — А мы-то, сиротинки...

И она снова заплакала, жалобно, безудержно. Мы шли рядом с ней и думали, что вот нам придется жить дальше одним. Вьюга, притихшая было поутру, теперь снова бушевала. Конечно, она вскоре занесла снегом свежую могилу.

ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА

Рождество было унылое, как никогда. Забеле в кровати горела огнем и бредила. Хворали Пранас и Казис. Мама еще держалась, но на каждом шагу вытирала слезы, вздыхала и причитала:

— Господи, господи, как мы теперь без папы?! Где мы, сиротинки, голову приклоним?

Каникулы кончились, и снова — в гимназию. Юозас, перед рождеством впервые побывавший в Мариямполе, теперь чувствовал себя смелее. Но мама сыпала в корзину муку, заворачивала в бумагу кусок сала и говорила:

— Выезжайте, ребятки, спозаранку. В городе надо дать лошадям отдохнуть, поесть. А потом, Юозукас, пораньше трогайся домой... Теперь-то не успеешь оглянуться — и дня как не бывало...

Все еще вьюжило. Когда мы вышли из избы, на дворе не было видно ни зги. Тетя Анастасия убеждала нас:

— Фонарь возьмите! Привяжите, светлей будет!

— Тетя, будто фонарь осветит дорогу? — сомневался Юозас. — Такой буран, хоть глаз выколи...

И впрямь, с крыльца не разглядеть было хлев, клеть и гумно. Деревья в саду вырисовывались смутными пятнами, пляшущими на ветру.

Напялив сермяги, хорошенько закутав голову и шею, мы сели в сани. Тетя принесла из избы зажженный фонарь и привязала к передку саней. Фонарь не держался, свисал до самой земли. Тогда она приторочила его к концу дышла, у лошадиных морд. Мы тронулись в путь.

Странное дело, в чистом поле метель была не так страшна, как у дома. Может быть, мы просто к ней привыкли. Ветер дул в спину, лошади бежали тихо, без звука. Фонарь бросал на снег неяркие желтоватые пятна, но толку от этого света было мало. По краю Полон и через помещичье поле мы выбрались на дорогу, где сквозь метель маячили хорошо знакомые ивы. В избе Микулёнисов мелькнул в окне неяркий огонек — мы знали, что и здесь мучаются от тифа люди. От этого огонька стало чуть веселей, мы были уже не одни в бескрайних полях и ночи...

— Известное дело, фонарь пригодится, если что оборвется или расстегнется, — сказал Юозас. — В темноте-то ни черта не разберешь... А тебе не холодно?

— Не-ет! — громко завопил я, потому что слова сидевшего рядом Юозаса едва были слышны.

— Ну, смотри у меня! — сказал мне Юозас на правах старшего, но не уточнил, что случится, если я замерзну.

Метель понемногу затихала, и вроде посветлело. По деревьям и домам знакомых деревень мы угадывали, где пролегает дорога. Но фонарь горел по-прежнему — с ним нам было веселей.

— Говорят, света даже волки боятся, — снова сказал Юозас. — Только увидят свет, и несутся прочь со всех ног...

— А я слышал, они как раз на свет... Может, лучше погасим?

— Не ве-ерю! — кричит Юозас, растягивая слова. — Где свет — там люди. А волки на людей очень даже редко нападают... Ведь папа читал в газете, помнишь?

Я не помню, чтоб отец когда-либо читал про волков. Но вот Юозас сказал про отца, и мне снова до того тяжело, хоть плачь. Но я боюсь показать это брату и говорю:

— Помню, как не помнить...

— Вот видишь... Нам нечего бояться...

Я понял, что Юозас боится волков не меньше моего, только не подает виду, а может, не хочет меня пугать.

Еще затемно мы въехали в Калварию. Метель совсем утихла. Как только мы оставили позади развалины бывшей тюрьмы, то на одной, то на другой стороне улицы в окнах изб уютно засверкали огни, показывая, что люди уже на ногах. Волчья опасность миновала. Мне даже теплей стало. Как-то веселей отозвался и Юозас:

— Вот и Калвария... Не забыть бы на обратном пути купить ликстрический фонарик...

— А они тут есть? — спросил я, потому что сам давно мечтал о таком фонарике, которым можно освещать путь в темноте, взяв его в руку или прицепив на пуговицу куртки, как делают солдаты...

— Ну конечно! — ответил Юозас. — На папины похороны Скамарочюсов сын с таким фонариком приходил. Говорит, и не очень-то дорогие. А батарейка две недели горит!

Снова папа, снова папины похороны...

До Мариямполье мы добрались утром, когда по улицам уже толпами ходил народ. Увидев меня в сермяге до пят, хозяйка воскликнула:

— Бедняжка! А я-то гадаю — приедет или не приедет? Вот и похоронил, горемыка, батюшку!

Меня вдруг снова одолела такая тоска, что я не выдержал и заплакал. Кое-как я стащил с себя сермягу и стоял на кухне в пальтишке, что мне перешил деревенский портной из голубой солдатской шинели.

— Мама! — услышал я голос Марите из-за ширмы. — Что же ты, в самом деле! Когда человека постигает беда, не надо беречь душу...

Она появилась из-за ширмы — гладко зачесанные темные волосы, бледное, только что умытое лицо, вся чистая и прекрасная, словно существо из иного мира. Запахло душистым мылом. Марите подала мне руку и, дружески глядя на меня, ничего не спрашивая, принялась рассказывать:

— А я, знаешь, на рождественские каникулы в Каунас ездила. Понимаешь, тетя из Америки нам посылочку прислала.

Ехали мы, ехали через леса, колымага едва скрипит, а мы разбойников боимся, даже волосы на голове шевелятся. Одна женщина все время молилась да молилась, пока не доехали... В кухню вошел Юозас.

— Раздевайтесь и садитесь к столу, — хозяйка вытерла тряпкой стол. — Чаю попьете, согреетесь... Дорога ведь...

Марите, поздоровавшись с Юозасом, продолжала:

— И, как на грех, где-то под Вишакё-Рудой — разбойники. Остановили колымагу, открыли дверцу и стоят, все при оружии. Один спрашивает: «Нет ли тут помещика Монгирдаса? Нам сказали, что он сегодня здесь проедет». Мы говорим: «Нет», а сами все дрожим как осиновый лист. Одни женщины в колымаге, еще, правда, двое детей. Разбойники убедились, что никакого Монгирдаса нет, и отпустили нас...

— А кто этот Монгирдас? — заинтересовался я.

— Говорят, страшный негодяй, — объяснила Марите. — Батраков в своем поместье вместе с немцами усмирять, сек беспощадно, голодом морил. А теперь, говорят, стал большим начальником. Никакие, наверно, не разбойники, а его батраки хотели ему отомстить, вот что. Так говорила одна барыня из тех мест, что и Монгирдас, — она с нами ехала...

На следующий день, вернувшись из гимназии, я нашел записку. Я сразу узнал почерк и обрадовался — мне писал брат Пиус. Он сообщал, что приехал в Мариямполье и заболел — лежит в казарме, в госпитале. Я отправился проведать брата.

Меня впустили в огромную комнату, где стояло не то тридцать, не то сорок коек. Комната, как и коридоры казармы, воняла лекарствами и карболкой. Сразу же у двери я увидел своего брата. Он лежал закрыв глаза, исхудалый, небритый — подбородок зарос светлым пушком. Я кашлянул, и Пиус открыл глаза. К счастью, он меня узнал. Мне стало ужасно жалко его, а может, самого себя, но никак не мог справиться с комком в горле.

Я сел на табурет и, глотая слезы, тихо сказал:

— Мама говорила, отец тебя очень хотел увидеть... перед смертью...

Пиус провел рукой по глазам и сказал:

— Лихорадит... Может, там сестричка... Воды у нее попроси...

На окне я увидел кружку. Молодой стриженный солдатик, лежавший рядом с Пиусом, слышавший наш разговор и перехвативший мой взгляд, сказал:

— Возьми с окна и дай... Там вода...

Я поднес кружку к братниным губам. Он отпил только один глоток.

— Вчера тебе написал... — шептал он. — А сейчас бы не мог... лихорадит, жарко... мерещится всякое, едва зажмуришься...

— Откуда тебя привезли? — спросил я.

— Из Лаздияй... В Сейнах я к полякам в плен попал... В синагоге сидел... Наши пришли... выпустили...

Не помню, что он еще мне говорил, мой брат. Потом открылась дверь, и сестра, взглянув на меня, спросила:

— Брат?

— Да, — ответил я.

— Знаешь, на сегодня хватит. Видишь, как ему худо. Приходи дней через пять, авось покрепче будет.

Пиус снова закрыл глаза, и я, воспользовавшись этой минуткой, покинул палату. По дороге из казармы в город я чувствовал, что меня трясет. Спину внезапно прошиб пот. Я то и дело вытирал испарину со лба. Ноги заплетались, голова кружилась, во рту появился гадкий вкус.

«Нет, нет, я не сдамся, я не захвораю!» — твердил я сам себе, а ледяной ветер насквозь продувал худое пальтишко. Вдалеке маячила кладбищенская стена, качали сучьями деревья. Каркали вороны, несметные полчища которых взлетали в воздух и снова в страхе садились на голые деревья. Наступал вечер. Я вернулся домой, кое-как разделся и лег. Марите подошла к моей кровати, приложила холодную ладонь к моему лбу и, минутку подержав,

крикнула в сторону Кухни, где хлопотала наша хозяйка:

— Мама, он весь в жару!..

Пришла и хозяйка. Посмотрев на меня, она горестно покачала головой. Потом она тоже положила мне руку на лоб, подержала и сказала:

— Нет уж, надо звать доктора Паутенюса.

Доктор, маленький седой старичок, осмотрел меня сквозь толстые очки, прослушал легкие и сердце и сказал, как я расслышал, хозяйке:

— Пустячок, не болезнь... Простудился ребенок самую малость... До свадьбы будет здоров как бык...

Ночью я начал бредить. Я видел покойного отца, как он идет, закутав шею красным шарфом, по горке к Кастантасу Бабяцкасу... Потом тетю Анастасию — в озерце за гумном она стирала пестрые насыпки, и я отчетливо слышал каждый удар ее валька... Потом в нашем садике появился учитель Бутаускас. «А пчелиной матки нет, — сказал отец, — без нее пчелы в улье не привьются. Это же ясно как день...» Учитель Бутаускас держал в руке соты, с которых капал мед, и откусывал с краю...

Приоткрыв глаза, я вижу маму. Она сидит у моей кровати, в своей бархатной кофте, купленной еще до войны. Лицо у нее ясное и очень родное. Она долго глядит на меня и наконец говорит:

— Да вот, смотрит ребенок... Видите, уже ему лучше...

— Две недели бедняжка мучался, человека, можно сказать, не узнавал, — протяжно рассказывала хозяйка. — И доктора приводили — тот болезнь не распознал, говорит — простудился ребенок. А тут же самый что ни на есть тиф... Хорошо еще, его насильно в какой-нибудь барак не увезли... И не стало бы мальчика.

— Может, домой поедем? — спросила мама, заметив, что я ее вижу и узнаю. — Я в сани перинку положила и две подушки в придачу... Как нам твоя хозяйка письмо прислала, я сразу хотела ехать, да вот полная изба хворых, тетя и та слегла, присмотреть некому...

— Я не поеду, — сказал я сразу. — Я знаю, я замерзну в дороге и уж точно умру...

— Как это ты умрешь, сыночек? — успокаивала меня мама. — Коли не хочешь, никто ведь не принуждает... Ведь и хворь-то вроде проходит...

— Нет уж, — согласилась со мной хозяйка. — Если б сразу... Знаете, боялась, чтоб всех тут не перезаразил... если б вы сразу... А то ведь мальчик на поправку пошел... Вот увидите, скоро и кушать попросит... Я еще по России знаю — когда после тифа на поправку идут, то, кажется, невесть что бы слопали, а в особенности кисленькое...

Я и впрямь подумал, что нет ничего вкуснее на свете квашеной капусты с постным маслом.

— Мама, я ужас как хочу квашеной капусты, — сказал я.

— Ну вот, уже просит... Выздоровеет мальчик, головой ручаюсь, — обрадовалась хозяйка.

Я смотрел на маму и думал — до чего же я ее люблю. А отца нет. Я снова это вспомнил и испугался. Но я знал, что не один на свете, что у меня такая хорошая, такая удивительная мама, которая приехала проведать меня, оставив дом, полный больных.

— Пиюсу тоже лучше, — сказала мама. — Я ему еды привезла...

Я вспомнил казарму, провонявшую лекарствами, вымазанные карболкой стены палаты, длинные ряды железных коек.

— Измучило нас это поветрие, — сказала мама. — А сколько народу поумирало, — добавила она, обращаясь к хозяйке. — В нашей деревне едва пять дворов наберется, где бы человека не похоронили...

— Все война, — подхватила хозяйка. — Ослабел народ, вот и пристает всякая зараза. В других местах, рассказывают, дизентерия да испанка тысячи жизней унесли...

Я смотрел на маму, держал в руке ее прохладную, пахнущую простором полей руку и знал: все будет хорошо.

ДРУЖБА

Мое детство было бы куда угрюмее, не будь у меня друга. Любопытно, что он был старше меня ровно на год и на один день. Но это мы с ним выяснили позднее. Теперь же, коренастый, крепко сбитый паренек в голубом пальтеце, какие носили ученики, вернувшиеся из России, стоял против меня во дворе гимназии. Он тоже побывал в России, только не в Воронеже, как другие, а в самой Москве. Носил он презабавную фуражку. Фуражка, по правде говоря, была простая. Зато ее черный блестящий козырек был лихо заломлен посередине, и это придавало ее владельцу независимый вид, словно все, что он видел вокруг, — сущая чепуха, а он-то живет другим и думает о другом.

Когда мы встретились, у него в руках была невиданная книга. Он привез из России хрестоматию «Школа бедняка», в которой были неизвестные мне рассказы из «Записок школьника» — «Маленький флорентийский писарь» и множество других.

— Это твоя книга? — спросил я у нового своего приятеля. Он чуть прищурил голубые глаза, дружелюбно улыбнулся и, протянув книгу, сказал:

— Бери, если хочешь. Здесь есть неплохие вещи.

Мне понравилось, что он доверяет свою книгу мало знакомому мальчику и что он, гимназист третьего класса, по-приятельски разговаривает со мной — второклассником.

— Книг у меня много. А когда ты достанешь что-нибудь интересное — дашь мне почитать.

Так началась наша дружба — долгая, бескорыстная дружба, в которой на первом месте всегда были книги, любимые герои, литература.

Мой друг невероятно любил книги и читал их с жадностью, просто глотал. Его снедала жажда все знать, понять, выяснить. Мы стали встречаться на переменах в коридоре и во дворе. Мне уже становилось не по себе, если я целый день не видел коренастого паренька в темной гимнастерке, перетянутой пояском с блестящей пряжкой. Все эти вещи были из России, они напоминали о том неведомом мире, в котором, как мы слышали, творились великие и непонятные дела. Новый мой приятель был неизменно дружелюбен, он мне нравился такой, какой он был, — лобастый, с копной светлых волос.

Мы уже встречались не только в гимназии, но и в городе — после уроков. Жил он на так называемой Дворянской улице, позднее переименованной в улицу Кястутиса, на которой,

возможно, и встречались дворяне, но домишки, как и везде, подальше от Варшавской, были в основном деревянные. В одном из таких домишек и жил у своей бабушки мой друг.

Там же жила и его сестра, постарше его, серьезная и неразговорчивая девушка. Когда я приходил к другу, я сперва должен был миновать кухню, а потом пройти и через ее комнату, чистую и аккуратную, в которой она обычно сидела за вязаньем или чтением. У моего друга была отдельная комната, загроможденная старой мебелью. Когда я входил к нему, у него обычно пахло яблоками. Не раз друг угощал меня ими, а его бабушка приносила нам по стакану горячего чая с печеньем. Это был тот семейный уют, которого мне так недоставало в Мариямполье.

Ну, тут начинались наши нескончаемые разговоры... О чем? Конечно же в первую очередь о книгах. Книг, правда, в те годы было очень мало. Мы страдали от настоящего книжного голода. Читали раз и другой «Предания старых людей Дайнавского края», написанные Креве, [52] которые нам обоим казались несравненным по красоте произведением. Читали журнал «Радуга», издававшийся еще до войны Людасом Гирой, обнаруженный нами, кажется, в гимназической библиотеке. В нем нравилось далеко не все, но здесь печатали Майрониса, и того же Гиру, и Креве, хотя бы такую удивительную повесть, как «Кувшин, в котором король хранит свое лучшее вино». Чем дальше, тем яснее становилось для меня, что книги — это целый мир, не только тот, что мы знали, но куда шире, интереснее, с новыми тайнами и новыми откровениями на каждом шагу. Кажется, в один из первых моих приходов друг показал мне несколько книг и сказал:

— Знаешь что, тебе надо выучить русский язык... Тогда — дело другое... Почитаешь Гоголя и Тургенева... Вот это писатели!..

— Я немного разбираюсь, — ответил я, — и теперь меня учит одна гимназистка... Знаешь стихи «На холмах Грузии...»?

— А, Пушкин! Да, Пушкина тебе тоже надо почитать... Знаешь что, бери вот Гоголя — здесь его «Старосветские помещики» и «Страшная месть» — и валяй вовсю!

Я взял книгу, но с великим трудом разбирался в ней. Очень уж много было непонятных для меня слов. Я списывал эти слова в маленький блокнот, чтобы спросить у Марите, когда она вернется из города (тогда я еще жил за костелом у ее мамы). Марите удивилась, что с легкой книжонки, по которой она меня учила, я перескочил сразу на Гоголя, но не бранила меня, а терпеливо объясняла каждое слово и наконец сказала:

— Не нравится мне Гоголь — очень уж страшно пишет. Прочитала как-то «Страшную месть», иду спать и все под кровать гляжу, не забрался ли туда кто-нибудь...

— Я-то не боюсь... — ответил я.

— Ты — дело другое, — сказала она с улыбкой, то ли всерьез, то ли посмеиваясь надо мной, — ты ведь мужчина...

...Нет, на самом деле, мы больше не можем жить друг без друга. Часто после обеда мы гуляем по городскому саду, и нет конца нашим разговорам. Весной, едва только вода чуть потеплела, мы каждый день купаемся в Шешупе. Мой друг, как и я, хорошо плавает, и мы бесстрашно пускаемся даже туда, где не достаем ногами до дна. Ныряем, загибаем только ногами, не шевеля руками, плывем по течению и против него, ничком и на спине. Бывает, мой друг, забравшись в воду, кричит мне:

— Я уже знаю, почему «Мертвые души» называются поэмой, хотя написаны не стихами!..

— А почему? — спрашиваю я.

И друг, не вылезая из воды, объясняет, чем поэма отличается от романа и почему «Мертвые души» все-таки не роман, а поэма.

Мы, как говорится, учились тогда ямб от хореев отличать и блаженствовали, выяснив тонкости, разобраться в которых без нужных книг было не так уж легко. И вот настало время, когда мы однажды гуляли по берегу Шешупе, у ржаного поля, и я, собравшись с духом, выпалил:

— Хочешь, я тебе почитаю свои стихи!

— Ты пишешь стихи? — удивился друг. — Это же замечательно! Ясное дело, читай!

Я уже пожалел о своей смелости, но было поздно. Чувствуя, как краснеет не только лицо, но, кажется, и все тело, я остановился, вытащил дрожащей рукой из кармана листок и единым духом отбарабанил все стихотворение.

— Покажи-ка, — сказал друг и, взяв листок, долго рассматривал его.

Я следил за его лицом, но ничего не мог на нем прочесть — оно было спокойным, как и раньше. После долгой паузы он наконец вернул мне листок и сказал:

— Скажу откровенно — не то. Ничего нового, понимаешь? Все твои слова я где-то уже слышал. Так пишут теперь все, а многие и лучше. А ты кое-где с ритма сбиваешься, да и рифмы неважные... Нет, братец, ты уж не сердись, но это еще не поэзия!..

О, как несчастен был я в эту минуту! Над стихами я корпел несколько вечеров, писались они туго, но потом мне показалось, что звучат они отлично, почти как у Людаса Гиры или другого поэта. А тут мой лучший друг, человек, знающий в этом толки, без сомнения, доброжелательный, оценил мой труд жестоко, но, наверное, справедливо. Да, зря я писал эти стихи... Нет, хуже того! Это просто преступление, мне должно быть стыдно. Хорошо еще, что о моем позоре знает только один человек и что он никому не скажет...

Мы возвращались от Шешупе, как обычно толкуя обо всем, что нас занимало. Я все время боялся, как бы друг не вернулся к моим злополучным стихам, — теперь эти стихи казались мне позорищем. Дома я их, не перечитывая, порвал на мелкие клочья и швырнул на кухне в помойное ведро. «Туда им и дорога», — решил я, словно развязавшись с какой-то мерзостью... И после этого я долго думать не мог о писании стихов.

— Ты знаешь, кто там идет по берегу Шешупе? — однажды прошептал мне друг, показав взглядом на невысокого человека в пелерине, темноглазого, с черной бородой, который не спеша приближался к нам. — Это поэт Адомас Юодасис![53]

Я смотрел на него во все глаза. Мне казалось, что мимо нас идет необыкновенный человек, какой-то пророк. Ведь в нашей книге для чтения есть его стихи, которые мне ужасно нравятся:

Звенел ручеек, синеву завлекая

Холодным стремительным бегом...

На дно, где колышется поросль глухая

И хитросплетенье побегов.

И не чудо ли это — вот идет человек, который собственной рукой написал такие стихи!

Адомас Юодасис прошел, даже не взглянув на нас, задумчивый, вроде чуть печальный. О чем он думал? Без сомнения, о каких-нибудь новых стихах, может быть, даже прекраснее тех, из учебника, которые он напечатает в газете и все будут читать и учить их на память! «Да, это не то, что мои стихи», — с тоской вспомнил я.

— Он преподает в реальном училище, — объяснил мне друг. — Вообще он только назвался Адомасом Юодасисом, настоящая его фамилия Ластас. Понимаешь, поэты часто берут себе псевдоним.

— А для чего, как ты думаешь?

— Ради интереса. Чтоб не все знали.

— А почему другим нельзя знать?

— Это уж их дело. Не хотят, и баста, — ответил друг.

...В тусклой нашей жизни бывали и светлые часы. Одним из таких просветов оказалась «Одиссея», в то время впервые изданная на литовском языке. Эта книга меня, да, кажется, и моего друга, привязала к себе на целые недели. Поэма была издана на плохой бумаге, нечетким шрифтом, в бумажной обложке, которая тут же отклеилась, но уже первые ее строки просто ошеломляли своим великолепием, красотой, просторным ритмом:

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который.

Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,

Многих людей города посетил и обычаи видел,

Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь

Жизни своей и возврате в отчизну...[54]

К этому времени мы в классе уже прошли «Восток и мифы», имели понятие о Древней Греции, богах Эллады и их обычаях, о Троянской войне. И все сухие скучные сведения учебника ожили здесь в поразительных, волнующих картинах. О, как чудесно описан дворец Алкиноя! Какой ужас охватывает, когда читаешь о Сцилле и Харибде, мимо которых пришлось плыть хитроумному Одиссею! Как невероятно Одиссеей попал к нимфе Калипсо, какая это интересная и даже страшная история, а еще страшнее — про одноглазого великана циклопа Полифема и его жуткую пещеру, когда Одиссеей спасся от самой страшной беды, что угрожала ему и его товарищам! Да, это книга! Ее читаешь и читаешь без конца. А ночью тебе снится возвращение Одиссея на родную Итаку, беседы со свинопасом Евмеем, избивание женихов и наконец сцена, в которой верная Пенелопа узнает его. Это не книга, а чудо, самое настоящее чудо! Не забыть этих звонких и живописных страниц...

Большое влияние оказали на нас и изданные тогда произведения Путинаса[55] — два тонких томика с длиннохвостыми птицами на обложке. В первом были стихи, которые хотелось читать не переставая и учить наизусть. Уж очень они были мелодичные, ясные, красивые.

Тихую долину

Застилают тени —
Голубой равниной
Тучки пролетели,—

декламировал я, гуляя в городском саду. Снова и снова я читал слова, от которых становилось тревожно и тоскливо на душе:

За синим морем, за океаном,
За темным бором и за холмами,
За черным мраком, за ветром лютым,
Что землю снегом одел колючим,—
Теплынь и светлый полдень мая,
Цветут покосы, росой сверкая.
Пою тебя лишь я всей душою,
И на чужбине я все с тобою,
Моя родная страна отцов.

Эти книги можно было читать, откладывать и перечитывать снова — стихи незнакомого поэта, который жил неизвестно где, были так близки нашим тогдашним настроениям, что они словно лились из наших сердец.

Был еще один поэт — Балис Сруога.[56] Мы читали, хоть понимали и не все, его тоненькую книжицу — «Богиня озера». Потом нам попалась книга в желтой, странной обложке, отпечатанная крупными буквами, — «Солнце и пески». Здесь стихи были совершенно не похожи на те, что мы уже знали. Книга начиналась с торжественных, почти непонятных строф. Мы декламировали их громко, возвышенно, дивясь величественному звучанию:

И трепетная весть пришла по небу —
То Солнца голос.
Трепещут стяги, и доносит ветер
Пустыни голос...
На башне замка запылало пламя —
Сказал я слово...
Тропу во мрак, протоптанную нами,

Залило слово...

А дальше уж и не разберешь:

Иду, земным презреньем припорошен,

Помазан Солнцем...

Несу, как бога, вековую ношу — Корону Солнца.

Да, Балис Сруога — своеобразный поэт, совсем не похожий на тех, что мы уже знаем, — на Пранаса Вайчайтиса,[57] Майрониса, да и на Путинаса, наконец! Моему другу Сруога нравится, и он говорит:

— Видишь ли, поэзия должна прокладывать новые пути! Надо писать так, как никто еще не писал...

Мы уже были друзьями, когда в Каунасе начал выходить литературный журнал «Чтения». Редактировал его писатель, которого мы просто почитали, — Винцас Креве-Мицкявичюс. О, как ждали мы каждую новую книжку журнала в мягкой зеленой или розовой обложке! Журнал хоть на несколько дней утолял наш читательский голод. Правда, далеко не все нам приходилось по вкусу. Попадались стихи и рассказы скучные, толкующие о непонятных и неинтересных материях. Но бывали там и замечательные. Мы впервые прочитали в журнале несколько новых рассказов В. Креве, повесть «Дяди и тети» Вайжгантаса, из него мы узнали о Рабиндранате Тагоре, о Ромене Роллане. Затаив дыхание, следили мы за литературными спорами. Особенно интересно было, когда критики говорили о уже известных нам книгах. Мы понимали не все, но все занимало и привлекало нас.

Мой друг читал «Тропы богов» Балиса Сруоги, напечатанные в этом журнале, и говорил:

— Умело, образно пишет! И звучит просто, как песня... Посмотри, тут про любовь. А вот — картина природы:

Луна внезапно

Лучами липу

Посеребрила.

Там запах мяты,

Укропа, тмина,

Рябины тяжесть.

Я как верба, что с рассвета
Солнца ждет, а солнца нету.
Кличу в поле — нет ответа...

И брожу в полях один,
Одинокий властелин.
Звезды падают вдали...

Примерно тогда нам в руки попала на редкость занимательная книга — поэтическая антология «Первые венки». В ней были поэты знакомые и такие, о которых мы почти и не слышали. Были и портреты всех этих поэтов. Прекрасно! Стихи, ясное дело, разные — одни запоминаются, другие тут же забывается. Особенно нравились мне тогда, помню, Казис Бинкис и Юлюс Янонис.[58] По правде говоря, книги обоих поэтов и раньше попадали к нам, но все равно и теперь я читал с радостной улыбкой «Шелковистые тучки», «Травы из сена». А стихотворения Юлюса Янониса потрясали трагизмом и сочувствием к беднякам. Мы перечитывали сурового и отважного «Кузнеца»:

Видишь сам, — я кую. Так ступай себе прочь!
Недосуг мне с тобой толковать.
Кошелек твой набит — можешь вдоволь зевать,
Ну, а я, — мне невмочь нищету перемочь,
Хоть кую — день и ночь, день и ночь!
.....
Да, он рад! Хо-хо-хо! Будет рад он вдвойне,
Когда ярость охватит людей,
Когда вырвемся мы из когтей богачей...
С ним в тот день потолкуем о нынешнем дне!
Хо-хо-хо! Будет рад он вдвойне.[59]

Мой друг еще с Москвы знал подробности о жизни Юлюса Янониса и обстоятельства его трагической преждевременной кончины. Может быть, поэтому до слез трогало нас

стихотворение, которое иногда пели на мариямпольском кладбище, на похоронах революционеров:

Не плачьте над прахом друзей боевых,

Героев, служивших народу.

Мы скажем сурово за нас и за них:

Мы счастливы пасть за свободу!

.....

Мы живы борьбою — о гибели нам

Ни думать, ни петь не пристало.

Воздвигнем же памятник павшим борцам —

Свершение их идеала!

Да, это удивительный поэт, и он так отличается от других! Все поэты показывают в своих стихах мир красочным, ласковым, без горя и забот, мир, в котором нет борьбы, только любовь, песни, грезы. А Янонис пишет о нищете, горе, и просто удивительно, как все эти невзгоды жизни человеческой не надломят его — он верит в победу и заражает этой верой читателей.

Может быть, мы и не точно этими словами оценивали тогда поэтов, но они нам нравились. Мы то и дело повторяли полюбившиеся строфы — они выражали состояние нашей души, тоску по прекрасному, наше неумное желание расти, мужать, бороться против несправедливости.

Каждую неделю мы с нетерпением ждали небольшое, в четыре листочка желтой бумаги, приложение к газете, хоть сама газета нас и не интересовала. Приложение называлось «День седьмой». В нем попадались короткие рассказы и фельетоны, критические статейки, переводы.

Но особенно привлекала нас диковинная поэма «Шапшарарап», печатавшаяся из номера в номер. Нас поражал не только заголовок, но, пожалуй, еще больше — содержание и форма этого сочинения. Возьмем хотя бы такую «Идиллию»:

В полночь

Клювобородый дармод

Прибашмачился, ошапкился,

В сени выперся

И завопил:

— Кис-кис-кис-кис! —

Кошка пятки выхвостила,

Усы выпучила.

Мышку костеня,

Отрычала:

— Ням-ням-ням-ням...

.....
Башмакошапкоклювый выязычил:

— Жри и мри,

Мышей я сам очертеню. —

Сто минут

Дармоед кискисил, кошка нямнямила.

Тишь звуками искрилась.

Нервы словами бухли.

Лишь когда петухи кукарекали,

А луна зенит меряла,

Дармоед и кошка —

Кто насловев,

Кто намышившись —

В соннолежбище вернулись.

Или, скажем, там был напечатан такой «Жирносум»:

Округлый жирносум

Отрубкил зубы,

Губами дым позигзагивает

И клювотростью

Ящерохвостой

Брильянтинит тротуар...

— Это — футуризм, — сказал мне мой друг. — Новые слова, новые образы... Это, скажу я тебе, братец, не Майронис...

Потом возник «Предвестник четырех ветров», а позднее появились и «Четыре ветра». Они призывали творить новое искусство, и многие произведения в этих изданиях своей вычурностью, диковинными словами и чудовищными образами сильно смахивали на «Шапшарарап». Нравилось ли нам это? И да, и нет. Нравилось потому, что было ни на что не похоже (а все, что внове, всегда нравится молодым людям). Не нравилось потому, что многого мы не понимали и — главное — не знали, в чем смысл всей этой затеи. Казалось, будто поэты и прозаики хотят просто поиздеваться над своими читателями.

Между тем мой друг сам давно уже писал стихи и прозу. Мне он показывал не все, но я знал, что он пишет и что его стихи напоминают Балиса Сруогу, а проза — «Предания Дайнавского края». И вот как-то, получив один из каунасских журналов, я открываю первую страницу, а на ней — стихотворение Казиса Боруты,[60] напечатанное довольно-таки крупными буквами! Сейчас я уже не помню содержания, знаю только, что там была строка: «Прощай, — ответил князь». Вообще-то стихи были патриотические, чем-то связанные со сражениями под Сейнами, которым все не было конца. Под ними значились слова «Действующая армия». Когда я спросил своего друга, при чем тут «Действующая армия», он мне ответил:

— Видишь ли, теперь многие делают такую приписку! Отчего бы и мне не написать?

— Но ты же не в армии...

— Неважно... Пойми, это важно не мне, а читателям.

Ясно, мой друг лишний раз возвысился в моих глазах. Он был больше начитан, хорошо владел русским, долго жил в Москве, а теперь вот уже и напечатался!

Неудача со стихами, которые я так торжественно читал своему другу на берегу Шешупе, надолго отбила у меня охоту что-либо писать. Но все, что мы читали, чем бредили, пример друга, наконец, заставляли снова браться за перо.

К тому времени я уже переехал в мезонин на улочке Пятраса Крячюпаса. В этом доме когда-то жили писатели Пятрас Арминас и Пятрас Крячюнас.[61] Мое окно заслоняла кровля соседнего домика, и даже днем в ней стояли сумерки — солнце никогда не заглядывало ко мне.

Улучив свободную минуту, я снова садился за тетрадь и писал, писал, писал... Что же я все-таки писал? Без сомнения, на меня влияли многие поэты, так что мои стихи были похожи то на Майронпса, то на Сруогу, то, наконец, на «Шапшарарап».

Но боже ты мой, до чего они были тусклые по сравнению со стихами известных поэтов, какие громоздкие фразы рождались из-под моего пера, до чего неуклюжие рифмы вертелись в голове и лезли на бумагу! Иногда полдня прошагаешь по городскому саду или вдоль реки и вроде что-то выдумал, а вернешься домой, сядешь за тетрадь, и такие строфы поползут, что самому стыдно. И уже видишь, что в них нет ни крупинки оригинального, — сплошь чужие мысли, да и форма оставляет желать лучшего. И иногда такая тоска берет, что хоть под землю лезь. Кажешься себе дураком без малейших способностей, знаешь, что все это не для тебя, а ведь все равно тебя стихи засасывают. А изредка, гляди, у тебя получается даже некое подобие стихотворения, ты читаешь его себе великое множество раз, и вот уже кажется, что ты не без способностей, что еще сможешь написать что-то самостоятельное. А потом снова мученья и уныние...

И вот однажды под вечер в мой темный мезонин, в котором стоят моя и тетина кровати, маленький столик и печурка, на которой тетя по утрам печет мне картофельные оладьи (этот год я живу в одной комнатке с тетей Анастасией), влетает мой друг. В руке он держит какой-то каунасский еженедельник и уже с порога кричит:

— Видел?

— Что там? — спрашиваю я, в ожидании какой-то пакости.

— Смотри, твои стихи. И, знаешь ли, недурственные. Нет, совсем недурственные... Поздравляю.

Я хватаю газету, гляжу на страницу и вижу, да, мой друг говорит правду! Наверху стоит моя фамилия, а дальше — то самое стихотворение, что я послал в газету недели три назад и уже не надеялся увидеть. Я чувствую, что весь заливаюсь румянцем, как и тогда, на берегу Шешупе.

Теперь мне вроде бы нечего стыдиться, а ведь все равно стыдно, — наверное, с непривычки. Раз эти стихи разглядел мой друг, то наверняка их прочитают и гимназисты, и учителя, и — страшно подумать! — неизвестно сколько народу во всех городах Литвы! И еще у меня внутри заговорила гордость, та самая, что я испытывал на похоронах Забелюке, когда я пел вместе со взрослыми. Правда, теперь меня никто еще не похвалил, если не считать друга, но мне казалось, что увидеть свои стихи в печати — не только великое счастье, но и великая честь...

Как только друг ушел, я схватил со стола еженедельник и уставился в него, не видя ничего, кроме собственных стихов. Они показались мне интересными, свежими, — словом, стихи были как надо. Но через минуту я уже думал, что поторопился послать их в редакцию, — ведь надо было поправить одну строфу. Да и здесь неудачный эпитет (я уже знал, что это слово значит), а там — метафора, которую я уже не раз видел в стихах других поэтов. Было воскресенье. Я читал свои стихи, пока не вернулась из костела после длиннющей мессы моя богобоязненная тетушка и не принялась готовить обед. Я ведь порядочно проголодался.

— Смотрите, тетя, мои стихи в газете, напечатали! — сказал я, подсунув тете еженедельник.

— Эх, сыночек, — отмахнулась тетя, даже не взглянув на него. — Читаешь всякую белиберду.

— Я не читаю, тетя, я сам пишу...

— Пишу, пишу! — недовольно ворчала тетя. — Коли уж пишешь, то написал бы священный гимн, чтоб люди пели... Такой ведь был богобоязненный ребенок. А теперь, видать, угодил в лапы безбожников...

После обеда я не выдержал и отправился на Варшавскую.

Интересно, многие уже успели прочитать мои стихи? Но люди шли мимо, даже не взглянув на меня, как каждый день. Встретил несколько гимназистов из своего класса. Они спрашивали, как я думаю, какую классную работу даст завтра учитель литовского, рассказывали, что ходили в кино, а про мой великий успех совсем, ну совсем ничего не слышали...

СМЕРТЬ ЖЕМАЙТЕ

В Мариямполье не было человека, увлекающегося литературой, который бы не знал, что в нашем городе, после возвращения из Америки, обосновалась Жемайте. Эго ведь одно из известнейших и любимейших нами имен — отрывки из сочинений Жемайте мы изучали на уроках, а первый том ее сочинений, изданный еще в Вильнюсе, каждый из нас читал просто с наслаждением. Но увидеть Жемайте было нелегко. В маленьком городе все сразу становится

известным. И мы уже знали, что Жемайте прихварывает, что она почти не покидает деревянный дом адвоката Булоты[62] на Дворянской улице.

А увидеть Жемайте мне очень хотелось. Видевшие ее рассказывали, что с виду она — обыкновенная деревенская женщина. Но мы еще гимназистиками отлично понимали, что Жемайте — большой человек, невероятно нужный нашей маленькой Литве. Она любила учеников: гимназисты рассказывали, что в реальном училище она читала отрывки из своей автобиографии, которую опубликовали только после ее смерти.

Седьмого декабря 1921 года под вечер в Мариямполе разлетелось ошеломившее всех нас известие — великая наша писательница скончалась. Тщетно пытались мы на следующий день пробраться в дом Булоты, где был выставлен гроб: во дворе домика и в сенях толпилось много людей — не только жителей Мариямполе, но и приезжих из Каунаса и других городов, и нам, ребятам, нечего было надеяться протиснуться сквозь толпу в дом и постоять у гроба любимой писательницы, взглянуть на ее лицо.

Улицы Мариямполе заполнила тысячная толпа. Народ из мастерских, с мельницы и лесопилки и мы, гимназисты, выстроившись, побрели к кладбищу. Передавали, что Жемайте, как неверующая, не хотела, чтобы ее хоронили ксендзы, чтобы ее несли в костел. Богомолки шепотом сулили писательнице вечные мученья. Сразу за гробом шагала небольшая группа, в которой узнавали приехавших из Каунаса писателей Вайжгантаса и Венолиса. Мы видели здесь и нам известного Адомаса Юодасиса и опекуна Жемайте адвоката Андрюса Булоту, похожего на усатого крестьянина. Войдя на кладбище и кое-как пробравшись поближе к могиле, мы увидели множество белых и красных венков. На лентах были надписи:

«Твое имя мы пронесем в веках»,

«Той, что прокладывала тропу в будущее»,

«Певцу горестей и радостей народных»,

«Другу рабочего класса Жемайте»,

«Той, что искала свет во мраке жизни».

У могилы встал Вайжгантас. К тому времени я уже читал его «Просветы», хоть понимал и не все. Вайжгантас был в сутане и стихаре, но говорил он не как ксендз, а как писатель. Над толпой виднелось его румяное, пышущее здоровьем лицо, седая голова. Он просто светился молодостью, энергией, вдохновением. Вайжгантас говорил о Жемайте как о защитнице угнетенных, заступнице бесправной женщины.

— Надо сказать, она никого не щадила, — говорил Вайжгантас высоким звонким голосом, — барин не барин, ксендз не ксендз — всем от нее попадало. Частенько попадало ксендзам за их делишки. Она была великим апостолом нашей свободы, ясным светочем для широких толп бедствующего люда... Поэтому, когда она вернулась из Америки, — продолжал он, — и нашла Литву уже независимой, она не особенно обрадовалась, поскольку мечтала об ином, более совершенном обществе, о других порядках... Она написала несколько томов сочинений, но весь свой век мыкала горе и не оставила никакого имущества... В ее время были иные деятели, не то что сейчас — охотники за теплыми местечками, для которых личные делишки выше дел народа. Литва невероятно скупно вознаградила славную старуху за ее неутомимый и талантливый труд в литературе и общественной жизни. И если бы не помощь добрых людей, приютивших ее, она бы не дожила до этого часа, — так говорил Вайжгантас.

У могилы выступали какие-то незнакомые люди. Но они так глубоко врезались в память, что и сейчас стоят перед глазами словно живые. Душевно, угловатыми фразами говорил Андрюс

Булота. Он описал характер писательницы, ее жизнь в его семье, потом рассказал о последних днях ее жизни:

— В бреду она говорила о расстрелах. Особенно тяжело подействовала на нее печальная новость, которой ее встретила Литва: расстрел Смальстиса, ее близкого знакомого. В бреду она повторяла: «Ежели меня не расстреляют, то еще поживу и много чего сделаю».

Адомас Юодаснс, закутавшись в темную пелерину, держал перед собой белый лист и читал:

Взлетает топор, глухо падает — чах!

До ночи рассыплется прах!

То сумрачный стон из холодной земли.

Могильщики руки воздели вдали.

А в конце стихотворения прозвучали торжественные загадочные строки:

— О мама, куда ты от прялки летишь?

— Туда, где железо разрушило тишь!

Где пламенно-храбрым и смерть не страшна —

Туда! — отвечает из гроба она.

Было холодно. Декабрьский ветер качал голые сучья деревьев. Меня пробирала дрожь. В толпе я разглядел друга, который пришел вместе со своим классом. Казис Борута стоял мрачный — в эту минуту им владели те же чувства, что и мною и сотнями людей, столпившихся у могилы...

Гроб опустили в могилу, комья застучали по крышке гроба. Стало тоскливо, как на похоронах родного, дорогого человека.

Позже мы часто приходили на кладбище. И каждый раз останавливались у могилы. На месте многочисленных венков, которые были возложены здесь в день похорон, появился памятник — раскрытая книга.

Так на мариямпольском кладбище осталась писательница, уроженка деревни в другой части Литвы, прожившая долгие годы в Вильнюсе, ездившая по заморским странам, — осталась здесь на вечные времена, окруженная любовью и почитанием новых поколений.

КРОВЬ

Годы бегут, и пыль времени заволакивает события. Мало кто из людей нашей округи помнит

трагедию, которая случилась давно, еще в 1920 году. Хотя она меня непосредственно и не касалась, но, насколько помню, волновался я тогда без конца. Вот почему я решил обо всем этом рассказать.

В то время в наших местах было очень неспокойно. Еще в сентябре 1919 года части Польской армии, которые пригласили и содержали местные помещики, заняли почти всю нашу волость. По деревням, где мало кто говорил по-польски, разве что знал фразу-другую, теперь ходили польские солдаты. В наш дом забредали то вооруженные поляки, то литовцы. Часто на нашем или соседском поле хлопали винтовки, а то и тархтел пулемет.

Никто не знал, какого государства мы подданные, хотя население понимало, что польские солдаты держатся у нас только по милости местных помещиков, и просило бога, чтобы поскорее кончилось такое положение, когда ежеминутно тебе угрожает пуля в лоб. Помню, как я приехал на каникулы из гимназии и ко мне еще затемно пришел кузнец Юозас Бабяцкас с двумя деревенскими парнями. Запершись со мной в избе, чтобы никто не услышал, они втолковывали мне, что во всей этой заварушке виноват владелец трямпиняйского поместья Аушлякас. Он — самый рьяный сторонник польской оккупации, так как боится, что литовские хлопцы[63] разделят его поместье.

— Надо его пострадать! — сказал Юозас Бабяцкас, уставившись на меня черными как уголь глазами, сверкающими на смуглом большом лице. — Напиши записочки, чтобы он отсюда убирался, а то... — И Бабяцкас стиснул свой огромный, черный от работы в кузне кулак: — Понятно?

— Понятно... Но записочки писать не стану, — ответил я.

Кто-то все ж написал такие записки, разбросал их вокруг поместья и расклеил на деревьях. Без сомнения, они попали в руки помещику Аушлякасу. Видать, наш барин был не из храброго десятка, потому что несколько дней спустя удрал из наших мест и, как мы слышали, объявился в Сувалках.

Польские солдаты покинули нашу округу летом 1920 года. К этому времени Красная Армия отразила нападение панской Польши и, вышвырнув ее войска с Украины, шагала к Варшаве. Очевидно, Польша нуждалась в солдатах для защиты собственных земель, и оккупанты сами оставили наш край.

Примерно в это время в Любавас вернулся из Америки Йонас Раманаускас, считавший себя поляком, хоть он говорил и по-литовски. Он горделиво расхаживал по местечку, посматривая, как бы не ступить в лужу и не запачкать свои сверкающие ботинки. Курил он душистые сигары, носил шляпу из соломки или велюровую — смотря по времени года. Глядел он смело, даже нагло, всегда был аккуратно выбрит, а на пальцах сверкали золотые перстни с большими камнями. Толковали, что Раманаускас невероятно богат и собирается обзавестись крупным хозяйством или купить дом в Калварии.

Моя сестра Забеле стала уже взрослой девушкой. Она была даже красивей Кастанции, что недавно вышла замуж, так что на нее заглядывались все деревенские парни. Девушка она была веселая, любила петь и танцевать. После войны трудно стало с нарядами — денег не хватало, да и в лавках ничего приличного не было, но моей сестре шло все, что бы она ни надела, и сидело на ней ладно, как бы сшитое по мерке. Пригожее румяное лицо, голубые глаза, стройная высокая фигурка, — казалось, не для нее тяжелые деревенские работы.

И вот однажды она выходила из костела в Любавасе, и ее заметил Раманаускас. Он был старше моей сестры лет на десять. Не знаю, как они познакомились, о чем беседовали, — достаточно того, что с той поры моя сестра не знала покоя.

— Прихожу я, — рассказывала она, — в Любавас по дороге через Скайсчяй, а на краю

местечка меня поджидает Раманаускас и уже не отпускает целый день, даже домой провожает. На следующее воскресенье, чтобы его не встретить, иду другой дорогой — через Паграужяй, а он все равно стоит на улице у последних домов местечка с тросточкой, в соломенной шляпе и ждет. И нигде от него не укроешься. Если я не покажусь в местечке, глянь, он верхом прискакал к нам в Трямпиняй. Сразу на стол бутылку дорогого вина, кучу конфет, даже апельсины выложит, а ведь они невесть сколько стоят. Да и продаются только в Мариямполье. Но Раманаускас ни с чем не считается...

В это же время в Любавасе появился служащий литовской пограничной полиции Юлюс Мешлюс, молодой энергичный парень. Полиция эта следила, чтобы через польско-литовскую границу не шла контрабанда, чтобы из Польши в Литву помещикам не переправляли оружие. Свои обязанности Мешлюс выполнил усердно.

Вскоре он познакомился с моей сестрой и, видно, тоже в нее влюбился. И тут между соперниками вспыхнула ревность и ненависть. Иногда в местечке они оба гуляли с Забеле — один справа, другой слева. Мешлюс получал небольшое жалованье, и ему трудно было тягаться в подарках с поляком.

Моя сестра, которой тогда было примерно восемнадцать лет, познакомившись с Мешлюсом, стала избегать Раманаускаса, но тот и не думал отвязываться. Он говорил ей о любви, старался купить ее благосклонность платками и бусами. Сестра отказывалась от подарков. Довольно долго продолжалось это неопределенное положение. Часто в нашей избе сидели за одним столом двое смертельно ненавидящих друг друга. Казалось, только бы искра, и разгорится пожар.

Но обстоятельства сложились совершенно неожиданным образом. Однажды Мешлюс тайком сказал моей сестре, что он получил приказ арестовать Раманаускаса и доставить его в Мариямполье. Оказалось, что тот один или с сообщниками ограбил в Америке какой-то банк и сбежал в Литву. Американские власти установили виновников и в конце концов напали на след Раманаускаса.

И вот Раманаускас арестован. Дня два он сидел в любавасской кутузке, а потом его переправили в Мариямполье и там упрятали в тюрьму.

Любавас и вся округа, разумеется, терялись в догадках, почему арестован Раманаускас. Многим казалось, что Мешлюс, используя свою власть, засадил его в тюрьму, чтобы убрать с дороги. Прошла неделя, а то и две, и вот мой брат Юозас встречает в Мариямполье на рынке Раманаускаса, разгуливающего на свободе. Раманаускас говорит, что Мешлюс его арестовал незаконно — мол, тот ненавидит его как поляка, а вдобавок и как своего соперника. Раманаускас ведет моего брата в лавку и, несмотря на его протесты, покупает ему добротную шляпу, а сам берет ящик апельсинов, несколько бутылок вина, дорогих папирос для себя, и брат везет его домой.

Раманаускас снова является к нам и, усевшись за столом в горнице, потчует всех, а Забеле шепчет на ухо, что перейдет демаркационную линию и поселится в Польше, а потом и ее переправит к себе, и тогда они поженятся и заживут барами.

Моя сестра еще раз чистосердечно говорит ему, что его не любит и за него не пойдет. Но Раманаускас не может себе представить, чтобы он и его деньги не соблазнили девушку. Он прощается и, не показавшись в Любавасе, исчезает из наших мест.

Вскоре выяснилось, что в мариямпольской тюрьме Раманаускас виделся с братом и сестрой, жившими в Любавасе. Неизвестно, то ли он имел деньги при себе, то ли их доставила из дому родня, — во всяком случае, он подкупил надзирателей, а то и самого начальника тюрьмы, и тот его выпустил на волю. В те времена, когда после военной разрухи еще не устоялся порядок, не трудно было проделать такую штуку.

В Любавас снова пришла бумага о том, что разыскивается преступник Раманаускас, но того и след простыл. Дознались только, что он перешел демаркационную линию и живет где-то на той стороне, тем более что у него там была куча родных.

Границу тогда переходили без труда, так что какое-то время спустя Мешлюс, оказавшись по делу в деревне Палюбаве, увидел, что в Шешупе, у нашего берега, купается Раманаускас. Мешлюс был не один, и он легко задержал своего соперника и доставил его в Любавас.

Здесь повторилась прежняя история — Раманаускас угодил в ту самую кутузку, в которой сидел перед мариямпольской тюрьмой.

Обрадовавшись, что так удачно поймал разыскиваемого преступника и вдобавок своего врага (Мешлюс по-прежнему встречался с моей сестрой и видел, что девушка все больше благосклонна к нему), пограничник сообщил о случившемся и получил приказ доставить Раманаускаса в Калварию.

В одно прекрасное летнее утро он сел в подводу, посадил рядом Раманаускаса, на всякий случай крепко связав ему сзади руки, и отправился в Калварию. Когда от каменного дома волостной канцелярии они повернули в Кладбищенскую улочку, возница сказал, что хочет остановиться у своего луга и взять на дорогу свежей травы, которой накопил еще затемно, собираясь в дорогу. Подвода остановилась у кладбищенских ворот. Возница, обкрутив вожжи вокруг стойки, выскочил из телеги. Видно, это был условный знак. Из ржи высунул голову брат Раманаускаса. Мешлюс и опомниться не успел, как его оглушили каким-то твердым предметом и повалили на повозку. Брат развязал руки арестанта. Заметив, что Мешлюс еще жив и пытается сесть, Раманаускас вытащил револьвер из его кобуры и несколько раз выстрелил ему в голову. Говорят, на все это издали смотрела сестра Раманаускаса, хотя сама и не помогала убивать.

После этого убийства Раманаускасам пришлось как можно скорее удирать в Польшу. Раманаускас знал все тропы, ведущие на ту сторону, и его никто не задержал. Не остановили и его родных.

Убийство Мешлюса потрясло всю округу. Многие знали покойного и уважали его за обходительность, за то, что он, хоть и мог, не грабил людей. А Раманаускасы давно пользовались дурной славой. Люди они были корыстные и слишком возомнили о себе самих. Они вечно цапались с соседями из-за огородов, из-за пастбища для коровы и прочих мелочей, из которых складывается жите-бытье маленького местечка.

Смерть Мешлюса переполошила и наш дом. Все косились на Забеле, словно она была всему причиной. Забеле плакала — ведь она любила Мешлюса и собиралась за него замуж. А теперь все кончено, только пересудам и всяким нелепым слухам не было конца...

Между тем трагедия, начавшаяся у любавасского кладбища, еще не окончилась. Пограничники решили отомстить за смерть своего начальника. И вот однажды летней ночью пятеро или шестеро солдат, установив через лазутчиков и осведомителей место жительства Раманаускасов, ползком пересекают демаркационную линию. Они спокойно проходят одну, потом другую деревню. Все спят, даже пес не залает, — по правде говоря, собак почти не осталось после войны, ведь и на польской стороне побывали немцы...

Уже светало, когда они подошли к цели своего путешествия и нашли нужную усадьбу. Встреченный лазутчик сообщил, что Раманаускасов еще нет — была ночь с субботы на воскресенье, и братья с сестрой еще не вернулись с деревенской вечеринки. Солдаты легли в поле ржи у сада, а несколько из них спрятались в самом саду. Посреди сада стояла деревянная будка, в которой летом спали оба Раманаускаса. Сестра ночевала в клетке у крестьянина.

Прошел примерно час. Уже брезжил рассвет, когда на хутор вернулись все трое. Сестра ушла в клеть, а братья, прикурив от одной спички, вскоре исчезли в будке. Прошло еще несколько минут, и солдаты, по знаку старшего, со всех сторон окружили будку. Старший крикнул по-польски:

— Выходи!

В будке что-то зашуршало, раздался зевок и сонный голос сказал:

— К черту! Спать надо!

— Выходите из будки, гадины! — уже по-литовски крикнул старшой.

В конуре кто-то снова зашевелился, и оттуда высунулась рука с оружием.

— Бросай! — крикнул тот же голос. — Руки вверх!

Один за другим из конуры выползли оба Раманаускаса. В одних сорочках, испуганные внезапным нападением, они стояли, подняв руки вверх, и зубы у них стучали. Рядом с шалашом валялся брошенный револьвер.

— Ребята, отпустите! — завопил американец. — Все доллары отдам!

— А, чтоб тебя черт со всеми долларами! — крикнул кто-то из пришельцев, и в это время раздалась выстрелы. Американец упал на колени, попытался было подняться, упираясь рукой о землю. Но тут пуля угодила ему в голову. Брат пытался бежать, по и его настигли пули — он свалился на садовой дорожке под старой яблоней.

В это время отворилась дверь клетки. В саду показался кто-то белом. Будь темнее, суеверные солдаты могли бы подумать, что за ними гонится привидение. Но было видно, как в длинной, до пят, ночной сорочке выскочила из клетки сестра Раманаускасов. На садовой дорожке она сразу же наткнулась на своего младшего брата, упавшего под деревом, в луже крови. Дальше, у будки, лежал старший, американец.

Сестра не увидела солдат. Она бросилась к старшему брату, обняла его и зарыдала. Солдаты не выдержали и попятились. А сестра рыдала как-то чудно. Прислушаешься, и мороз по коже подирает — не то плач, не то хохот...

НАСИЛИЕ

Семена сомнения, посеянные в моей душе Пиусом Гловацкисом, помаленьку всходили, пускали корни, вырывались на свет божий. Мне становилось не по себе: ведь я сомневался не только в непогрешимости и святости ксендзов, в мои руки попадали книжки, убедительно доказывавшие, что сам бог, ангелы, черти, рай и ад — все, во что я свято верил по наставлениям родителей и тети Анастасии — лишь плод воображения человека. После чтения таких книжек меня охватывал ужас. Опустившись на колени у своей койки или на мессе, я пылко молился, упрашивая господу просветить мой разум, показать, где правда. Увы, бог меня не просвещал и на правду не указывал.

А в жизни было столько жестокостей и несправедливостей! Я часто думал о недавней войне. Я никак не мог понять, почему всемогущий, милосердный бог позволил убивать, расстреливать людей, лишать их рук и ног, морить голодом, болезнями — тифом, дизентерией, испанкой, которые все еще свирепствовали у нас... Если есть бог, то как он

позволял расстреливать и бросать коммунистов под лед у Шешупе, гнать босых и голодных пленников по снегу... Ведь это так жестоко!

Нет, думал я иногда, видать, мир подчинен каким-то другим законам, а не тем, о которых несколько раз в неделю на уроках закона божьего медоточиво рассказывает ксендз. Как говорили гимназисты, на уроках он надевает маску, а вообще-то он просто человек, любящий отменно поесть, выпить и повеселиться. Капеллан разглагольствует о библейских событиях как о доподлинных, хотя трудновероятно поверить, что мир создан за шесть дней, что в древности могли останавливать на небе солнце, что от звука труб рушились стены Иерихона.

От стародавних событий капеллан переходит к более близким временам. Он рассказывает о России, о революции, и здесь он не жалеет темных красок, чтобы изобразить все происходившее там. Он объясняет нам, что коммунизм — неосуществимая мечта, и твердит свою любимую поговорку:

— Коммуна... коммуна... Кому на, а кому и нет...

И капеллан уверен, что рассеял сомнения, которые породили в головах учеников сама жизнь и старшие гимназисты, особенно те, кто вернулся из России. Хотя среди них, как я уже упоминал, такая же пестрота взглядов. Некоторые записались в атейтинники и верят всему, что твердят ксендзы. Они чуть ли не каждый день забегают перед уроками в костел для утренней молитвы. Таких капеллан очень любит и, что они ни отвечай на уроке, ставит пятерку. Атейтинники спорят с теми, кто придерживается иных взглядов и обзывает их святошами. Правда, большинство прогрессивных гимназистов перешло в реальное училище, что открылось на той стороне улицы, и теперь почти не находится смельчаков, которые бы дали бой капеллану или целому отряду атейтинников.

Ученики реального училища рассказывали, что у них капеллан не знает покоя: они засыпают его такими вопросами, что он корчится как на сковороде и не может унять начитанных, довольно образованных ребят. Бывали случаи, когда капеллан, подобрав сутану, улепетывал из класса и жаловался на своих учеников епископу и в министерство просвещения.

Времена были тревожные. Еще прошлой зимой на рыночной площади собирались митинги, на которых выступали ораторы из Каунаса. Они говорили, что Литва уже независима, что ей нужна армия, и призывали вступать в эту армию добровольцами. Из дома Пликюте в армию ушел гимназист — сын арендатора поместья. Нам казалось, что он поступил благородно и даже героически. Мы шумно проводили его до комендатуры. Из нашего класса тоже ушли в армию двое взрослых парней, а в старших классах записалось даже больше народу. Учителя уважали таких добровольцев и самым последним лодырям выдавали свидетельства о замечательных успехах в учебе. Мне тоже было чем гордиться — ведь наш Пиус служил в армии. На митингах говорили, что Литву хотят захватить враги, но что это за враги, никто не знал, тем более что по Мариямполе то стайками, то поодиночке еще таскались немцы. Разве они наши друзья? Правда, немец стал иной, чем раньше, напуганный, — шли толки, что в Германии свергли кайзера и там тоже революция.

Вообще-то понять все происходящее было просто невозможно. Одни говорили, что в Литве возьмут власть коммунисты и, забрав землю у помещиков и фабрики у фабрикантов, раздадут. Другие говорили, что большевики (а это, оказывается, те же самые коммунисты) вырежут ксендзов и разрушат костелы. Дрожь пробирала при одной мысли об этом. Учителя ничего путного не могли сказать — они сторонились политики и с нами в полемику не вступали.

Да, время было такое, что все просто кипело, бурлило, словно в котле. Митингам не было конца. Они возникали часто, особенно по воскресеньям и базарным дням, когда рынок заполняли окрестные крестьяне. Ораторы выступали с балконов. Мы, гимназисты, —

непременные слушатели. Одних толпа сразу же сгоняла с балкона свистом, других просто не слушала и расходилась. Но бывали и такие, кто звонким голосом, ярким примером и картинами недалекого будущего привлекал уйму слушателей и сторонников. Выступали учителя и гимназисты последних классов, ксендзы и безбожники, приверженцы буржуазной Литвы и социализма.

— Мы создадим независимую Литву, в которой все будут свободны и счастливы! — говорит один. — Мы установим истинную демократию, без сословных различий, и все получают равные права, кроме, конечно, поляков, русских и евреев! Им-то мы не позволим хозяйничать в нашей стране! Мы устроим собственные, литовские, банки, лавки, фабрики, все в Литве станет литовским!

Толпа аплодирует оратору, и кажется, что он вроде говорит верно. Потом выходит другой.

— Выступавший до меня восхвалял буржуев! — кричит он. — Он собирается взвалить ярмо на инородцев, которые живут вместе с нами и угнетены своей да еще и литовской буржуазией. Литовские банкиры и ксендзы опять захотели сесть на шею рабочему человеку! Мы должны построить новую Литву, которой бы правили трудящиеся, а не рай для кулачья и ксендзов...

И этому оратору хлопают. Но если первого, видно, поддерживали в основном учителя нашей гимназии, атейтиники и крупные окрестные хозяева, то второму горячо аплодируют рабочие с лесопилки, с мельницы и мастеровые, реалисты, батраки и прочий простой люд.

Бывает, ноги зануют, пока стоишь на рынке и пялишься на балкон, с которого доносятся возгласы ораторов. Стараешься пробраться поближе к балкону, потому что громкоговорителей тогда не было и издали слышишь только отдельные слова:

— Граждане... независимость... социалисты и большевики... всеобщее равенство и свобода... долой евреев, русских, поляков и прочих!

Или:

— Товарищи... не дайте себя одурачить... кровопийцы... банкиры и длиннополые ксендзы... долго дурачили наш народ... создадим Литву для тех, кто трудится...

И опять:

— В тюрьму таких! На что нам, граждане, такой рай, как в России... Независимость... Немцы нам помогали и еще помогут...

И снова:

— Катись к своему Ураху!.. Наша буржуазия не постеснялась продаться империалистам... немцы пили нашу кровь, теперь эти... единство рабочего люда!..

Нет, и впрямь голова кругом пойдет от этих речей. Господи, а правда-то где? Я возвращаюсь в свой дом, и здесь снова споры допоздна. Увы, Пюкса Гловацкиса не было, — кажется, он уехал учиться в Вилкавишкис. Не было человека, который бы, не горячась, доказывал свою правоту, заражая своим тоном других, заставляя их спокойно приводить свои аргументы... Нет, теперь споры гимназистов без склада, без ладу и толку; обе стороны, раскрасневшись, машут кулаками и кричат наперебой:

— Осел, что ты порешь!..

— Заткнись, дурень!.. Иди, наябедничай капеллану...

— А ты-то? По большевистскому раю истосковался? Я бывал в России, видел, что они там творят...

— А что испокон веков творят попы?.. Инквизиторы... Кто сжег Джордано Бруно? Кто преследовал Галилея? А у нас — кто в людей стреляет и сует под лед? Разве не твои ксендзовские прихвостни?

После таких споров долго не спалось. Где правда? Правда где? Скажет ли мне кто-нибудь?

Ответа не было. И я все меньше души вкладывал в воскресные молитвы в костеле.

Время шло, и мы поневоле сталкивались с событиями, которые заставляли призадуматься даже бездумных гимназистиков, озабоченных только зубрежкой: что это творится вокруг? Куда мы идем, что будет дальше?

Больше не преподавал нам вахмистр Шульц, человек, как выяснилось впоследствии, не такой уж плохой. Он исчез из Литвы вместе с немецкой армией. Теперь немецкий язык преподавала зрелая, даже можно сказать, перезревшая барышня. Из ее рассказов мы знали, что она родом из Кибартай, а немецкий язык выучила в каком-то швейцарском монастыре, куда отдали ее богатые родители. Там, по ее словам, она была примерной ученицей. Иногда она приносила нам в класс свои монастырские тетради. И впрямь, письменные работы отличались необыкновенной аккуратностью, без клякс и перечеркивания, не то, что наши, — казалось, их писал мастер каллиграфии. Немногочисленные ошибки чуть-чуть подчеркнул учитель красными чернилами. Это должно было служить примером для нас, неслухов, сорванцов и распутников, какими несомненно считала нас барышня учительница.

Она немного смахивала на сову: большие темные, глубоко посаженные глаза оплела сеть морщинок, волосы туго затянуты на макушке. Мы не могли ей угодить ни чтением, ни письмом. Она непрестанно журила нас, и в конце концов мы привыкли не обращать внимания на ее придирки. Здоровяки переростки из нашего класса, бывало, поговаривали:

— Старая дева... Что с нее взять? Пускай себе рычит...

Но, оказывается, мы недооценивали барышню учительницу.

Каждое утро перед уроком кто-нибудь из нас по очереди творил молитву. Стояли мы в это время за партами. Учитель обычно поворачивался к доске, рядом с которой висело распятие. Перед молитвой и помолившись мы крестились. Крестился обычно и учитель. Только одиночки — кто был храбрее или независимее других — стояли спиной к классу, прижав к животу классный журнал, и не поднимали руки. Вся эта церемония проходила беззвучно. Иначе поступала лишь барышня — учительница немецкого. Она стояла лицом не к доске (или распятию), а к классу и крестилась вслух:

— Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!

Неизвестно почему это казалось нам невероятно смешным, и мы поначалу, пока не привыкли, едва удерживались от смеха.

И вот как-то учительница, перекрестившись, заметила нечто невероятное. В то время, как все прилежно крестились, ученик, стоявший перед ней за первой партой, не пошевелился и не поднес правой руки ко лбу.

— Перекрестись! — вдруг, густо побагровев, воскликнула учительница.

Ученик не шевельнулся. Он упрямо смотрел прямо в совиные глаза учительницы, и это привело ее в ярость. Она, монастырская воспитанница, так аккуратно писавшая работы по немецкому, просто не могла себе представить, что этот коренастый гимназистик, сын

работницы мариямпольской пекарни, смеет не креститься, если крестится весь класс, если, в конце концов, крестится она сама!

— Перекрестись! — снова заорала учительница, и в классе стало так тихо, как будто все вымерли.

— Ниспошли нам господь... — начал тоненьким голоском Вищюлис — сегодня был его черед говорить молитву.

— Подожди, подожди! — учительница отмахнулась от Вищюлиса. Потом, снова уставившись ненавидящим взглядом на гимназистика, который, побледнев, насупившись, наморщив лоб, стоял перед ней, закричала в третий раз: — Перекрестись!

— Я не буду! — как-то визгливо воскликнул гимназистик.

— Ах, не будешь? Ладно, не крестись! — заорала барышня учительница и, не дождавшись конца молитвы, стуча высокими каблучками, выбежала из класса.

Какой-то смельчак, подбежав, приоткрыл дверь и увидел, что барышня понеслась по пустому коридору прямо в учительскую. Видно, она решила дожидаться конца урока, когда в учительскую приходит директор.

Мы сидели в классе ни живые ни мертвые. Не перекрестившийся гимназистик преспокойно оставался на своем месте и, словно не придавая случившемуся значения, читал какую-то книгу. Он любил читать книги — и все серьезные, научные.

Вскоре класс разделился на два лагеря. Явно больше было тех, кто считал, что учительница поступила правильно, ведь не перекреститься — преступление! Но нашлись и такие, кому казалось, что креститься или нет — личное дело каждого ученика и принуждать креститься — недопустимое насилие над совестью другого человека. Я относился к числу последних. Этот спор, начавшийся на несостоявшемся уроке, продолжался после обеда и даже после того, как дело строптивного гимназистика уже было решено...

А решилось оно довольно быстро. Чуть ли не в тот же вечер по требованию учительницы был созван педагогический совет. Что происходило на совете, мы не знали, хоть кое о чем догадывались. Учительница, разумеется, изложила свою жалобу. Неизвестно, долго ли продолжались споры, но на следующий день нам сообщили, что ученик исключен из гимназии.

Когда классный наставник сообщил об этом, мы не поверили своим ушам. Атейтинки и то не все считали, что за такой проступок можно исключать из гимназии. Но решение было принято. Гимназистик, выслушав вместе со всем классом приговор педагогического совета, тихо, не протестуя и не споря, собрал свои книги и тетради. Уложив все в старый потертый портфельчик, он поднялся со своего места и тихо покинул класс.

Нашему классному наставнику тоже, видно, было не по себе. Сообщив решение и ничего больше не объясняя, он торопливо вышел из класса. А мы остались сидеть, многие, как мне казалось, сгорали со стыда. Гимназистик ведь не оскорбил учительницы. Он не сказал ей ни единого злого или невежливого слова. Он вообще ничего не сделал, только, видно, не веруя в бога, поступил так, как подсказывала ему совесть. И вот рушится самая светлая мечта его матери, для которой ученье сына было высшим счастьем. Снова заботы, куда определить ребенка, чтобы не вырос дармоедом и стал образованным, подготовленным к жизни человеком...

Примерно такие мысли приходили мне тогда в голову. Я думал: вот в нашей гимназии, где должны бы царить высокие благородные чувства, справедливость, уважение к чужим

взглядам, как ни странно, все происходит наоборот.

Впервые я с явной неприязнью подумал о своих наставниках, впервые я возненавидел их, и прежде всего учительницу немецкого. Кто-то уже давно говорил, а теперь я уже в этом не сомневался, что карточки, которые раздает ксендз перед пасхальной исповедью, придуманы только для того, чтобы проверить, кто приходил к исповеди, а кто — нет. А если кто не ходил — тогда можно на такого, как говорится, обратить внимание, вынюхать через атейтинников, что у него в голове, что он делает, а потом найти повод и избавиться от «опасного элемента»!

«Нет, ваши слова, все ваши толкования — неправильны! — Думал я. — Вы делаете все, чтобы удержаться при власти! Вы не терпите инакомыслящих. И я ненавижу вас — лжецов и обманщиков...»

А мы-то? Мы оказались трусливыми, словно зайцы. Я не мог простить себе и другим, что в нашем классе не нашлось никого, кто бы поддержал изгнанного товарища, кто бы смело и прямо сказал немке или классному наставнику, что их поступок неправилен и бесчеловечен. Нет, такого в нашем классе не нашлось! Каждый день мы приходили в школу, отвечали у доски, после обеда готовили уроки, жили, ели, спали, несли всякую чушь — про кино, про вечеринки, про девочек — как ни в чем не бывало. И это было страшнее всего...

Нет, нет! Все, что говорят нам ксендзы, — ложь! Их слова и дела лживы насквозь! И я стану подлецом в собственных глазах, если каждое утро и вечер буду по-прежнему молиться, если буду ходить в костел, приходиться к исповеди и рассказывать свои грехи этим бесчестным и безжалостным людишкам. У меня в душе происходил переворот, несправедливое исключение товарища по-новому осветило мне все — жизнь, людей и их поступки. Я чувствовал, что становлюсь другим.

А ДНИ БЕГУТ

Там, где сейчас находится здание театра, в Мариямполье когда-то стоял огромный нескладный деревянный Дом трезвости, прогнивший, покосившийся, ветхий. Много лет он не знал ремонта. Стены его покривились, пол прогнил. Но жилье в нем было самое дешевое, так что, перейдя в шестой класс, я тоже очутился в его стенах. На одной половине дома был обшарпанный зал, в котором проводились всякие собрания, а на другой — несколько комнат. За вонючей, дочерна закопченной кухней, в которой носилась босая богомолка, бледная, с жиденькими волосиками, — наша хозяйка, и темными сенями находилась комната, длинная, как гумно. В ней у стены стоял ряд железных ржавых коек. В самом углу лежал старший из нас, Казис Сенкайтис. Он успел отслужить в армии и поступил в наш класс. Жил здесь пятиклассник Винцас Жилёнис[64] и несколько гимназистов младших классов. Казис Сенкайтис был тихий и невероятно работоспособный человек. Латинские спряжения и всевозможные правила и исключения, в которые я ленился углубляться, хотя вообще латынь мне давалась, он как орехи щелкал. «Ante, apud, ad, adversus, circum, circa, citra, cis»[65] и прочие премудрости он шпарил наизусть, не глядя в книгу. Когда мне было нужно узнать что-нибудь в этом роде, я обращался к нему, словно к энциклопедии. Он увлекался и входящим тогда в моду языком эсперанто, читал книжки эсперантистов, переписывался на этом языке с кем-то в Каунасе, даже что-то переводил с литовского на эсперанто и частенько спрашивал меня:

— *Cu vi povas paroli esperante?*[66]

А я отвечал:

— Mi povas paroli esperante![67]

Дальше этого мои познания, по правде говоря, и не пошли.

Вскоре мы заметили, что Казис Сенкайтис очень нуждается. Из дому ему почти ничего не привозили. Наша хозяйка не раз, бывало, звала его к себе и требовала, чтобы его родители или братья привезли больше продуктов. И он возвращался от хозяйки неестественно красный, со слезами на глазах. Он был чувствителен до крайности. По бедности он продавал своим товарищам учебники, без которых мог обходиться. Каждый цент (вместо упавших в цене немецких марок к тому времени ввели литы) был у него на счету.

Сенкайтис то и дело кашлял и отхаркивался в свой замусоленный платок. Особенно надсадно кашлял он ночью, накрывшись поверх убогого одеяла еще солдатской шинелью, которая тоже не грела его в этой холодной, как сарай, комнате. Сенкайтис и спал-то мало, — просыпаясь, я каждый раз слышал, как он кашляет и ворочается с боку на бок. Он никогда не рассказывал о себе, о своих родителях, братьях и прочей родне, вечно чего-то стеснялся, не хотел быть другим, в тягость. Он охотно помогал младшим товарищам по комнате готовить уроки.

Винцас Жилёнис — компанейский, отличный парень. Меня занимало, что он родом из той же деревни Видгирай, где родилась моя мать. Выяснились и более поразительные вещи. Оказывается, его отец в юности был влюблен в мою мать и даже хотел на ней жениться! Свадьбу расстроил мой отец, который прибыл с дальней стороны — от Любаваса — и посватался к Эльзбете Веливюте. Как она потом рассказывала, ее родители рано умерли и она сиротой росла в чужом доме, нянчила детей у своих родных. И когда вдруг появился высокий молодцеватый парень, она, долго не думая, вышла за него и уехала в темное захолустье, в курную избу, к незнакомым людям, где ей было суждено прожить долгую и нелегкую жизнь, вырастить целый выводок детей, похоронить двух из них и, после смерти мужа, прожить еще много лет.

Насколько я помню, мы, жильцы большой комнаты, вроде бы ладили. Питались мы слабовато, во всяком случае, ощущение голода никогда не покидало нас. Но мы меньше всего думали о еде. У нас были другие, куда более интересные дела и занятия.

Мы уже не раз побывали в театре и кинематографе. Кино тогда было немое, показывали бесконечные серии фильмов о ковбоях, которые ездили на высоких крытых повозках; девочки непременно плакали на длиннющих любовных фильмах с Верой Холодной, Мозжухиным и Руничем. Мы видели «Илиаду» и несчетное множество всяческих кинолент — подходящих и не подходящих для детей. Рядом с экраном за расстроенным пианино во время сеанса обычно сидела дама и как в веселых, так и в трагических местах барабанила какой-нибудь «собачий вальс».

А каунасская труппа обычно играла в дощатом здании летнего театра, выросшем уже после войны. Там были довольно просторный зал со сценой, фойе, буфет и все необходимое для представлений. Мы радовались, попав на галерку. А вершина счастья, если придешь пораньше и займешь место у самого барьера. Сзади немилосердно напирают другие зрители — дети и взрослые, но ты все равно самым лучшим образом видишь и слышишь все происходящее на сцене.

«Сын властелина» Путинаса, как и мистерия «Все люди», увиденная когда-то в зале реального училища, запомнился на всю жизнь. Эту пьесу я уже читал, но теперь, когда слова жестокого Крушны и его военачальника Маураса, нежной Дангуоле, юношей Скайдры и Гитиса произносили настоящие актеры, это было совсем другое дело! Нам открывалась трагедия древних времен, кипящая благородными и низменными страстями, борьба которых заставляла нас забыть, что это только игра.

Помню, как мы после спектакля, зараженные его пафосом, сами поставили дома эту трагедию. Я был стариком Крушной, а Винцас Жилёнис — моим полководцем Маурасом. Увы, спектакль наш продолжался недолго, потому что некому было играть Дангуоле — с жившими в соседней комнате ученицами-дзукийками мы мало были знакомы и не посмели их пригласить. Так что представление кончилось на первых же сценах.

Нам казалось, что по сцене ходят и разговаривают какие-то особенные люди, не то что наши знакомые. И я просто остолбенел, когда на следующий день, гуляя с Винцасом в городском саду, увидел, что навстречу идут те самые актеры, которые вчера выступали на сцене. Там они были в гриме, но я все равно их узнал. Они неторопливо приближались по дорожке, а мы, удивленные и восхищенные, глядели на артистов и думали, какие они необыкновенные люди. И одевались они как-то иначе, чем было принято в нашем городе, даже шляпы лихо заломлены и непринужденно сдвинуты на затылок. Все поведение актеров просто кричало: вот идут служители муз...

С ними были и актрисы — молодые, красивые, веселые, в каких-то невиданных вычурных одеяниях, в невероятных шляпках, с разноцветными зонтиками. Мужчины что-то рассказывали, а женщины беззаботно, раскатисто и звонко смеялись. «Как интересно они живут, — рассуждал я. — Все они такие замечательные! Ведь для них существует только их искусство, радости и горести вымышленных людей, они сами, без сомнения, благородны, честны, полны возвышенных чувств!» Когда мы разминулись с актерами и еще раз обернулись, один из них, с довольно багровым лицом (мне показалось, что он слегка навеселе), отделился от остальных и обратился ко мне:

— Ты мне не скажешь, братец, где тут у вас можно...

И он произнес такое деревенское слово, что я тут же покрылся румянцем и даже не помню, смог ли указать искомое заведение.

...В гимназии я прослыл знатоком литовского языка. За письменные работы и за устные ответы я ни разу не получил меньше пятерки.

Когда наш преподаватель литовского уехал в Каунас учиться и у нас появились новые учителя, положение не изменилось. Я по-прежнему хватал пятерку за пятеркой, а мои сочинения учитель нередко читал в классе всем в пример.

Поощренный таким успехом, я серьезно заинтересовался вопросами языка. Одну из письменных работ я ни с того ни с сего написал стихами. Написал и вдруг подумал, что это учителю не понравится, но тот, как и каждый раз, оценил работу пятеркой, и еще вдобавок прочитал ее в классе, и мое самомнение еще больше возросло.

Успех в одной узкой области принес мне ощутимую материальную пользу. Какой-то врач, наверное по рекомендации учителя, пригласил меня обучать литовскому своего отстающего сына. Ребенок был болезненный, и нелегко было вдолбить ему в голову, как что пишется. Однако, получив в конце месяца несколько литов, я вдруг почувствовал себя независимым человеком. Я смог наконец купить любимые книги и тут же приобрел «Просветы» Вайжгантаёа. Книга давно манила меня своей обложкой — там была изображена женщина, державшая в руках солнце, от которого во все стороны расходились широкие лучи. Внизу обложки — еще три женщины, и каждая тоже с солнцем. Получив деньги, я расплатился с хозяйкой за квартиру и сдал ботинки в ремонт.

Так как мои уроки продолжались и второй и третий месяц, все настойчивей возрождалась моя мечта купить велосипед. Это ведь вершина человеческого счастья! Я копил деньги несколько месяцев и все время мечтал, как буду кататься на этом велосипеде не только по городу, но доберусь и до дальних мест — до Шуйского леса, в котором весной бывают гимназические маевки, а то и до Калварии. На самом деле, ведь по хорошей дороге я могу доехать до

самого дома! Ведь теперь, когда кончаются припасы или нужны деньги, чтобы платить за учебу (далеко не всегда меня освобождали от платы), я топаю пешком тридцать километров в одну, а потом в другую сторону. Нет, как ни верти, велосипед просто сокровище!..

И вот моя мечта осуществилась. Велосипед я купил у какого-то ученика реального училища. Велосипед был, конечно, не новый — рама погнулась, краска облупилась, колеса кое-где заржавели, шины и то в заплатках. Но катился он бойко, я научился рулить и теперь отважно пустился через весь город домой. Казалось, все смотрят на меня с завистью и дивятся: «Черт подери! Ну и везет же людям! Сам, без ничьей помощи приобрел велосипед и катается теперь, как настоящий барин!»

Я долго не мог вволю насладиться своей покупкой. Только вернусь, бывало, из гимназии и пообедаю, как сразу сажусь на велосипед и, гляди, уже у кладбища или мчусь по берегам Шешупе, или делаю круги во дворе, а товарищи вышли, расселись на крыльце и ждут, когда позволю и им сделать круг-другой.

На ночь я велосипед вкатывал в кухню или даже в комнату. Ведь интересно, засыпая или утром, уже проснувшись, пока лежишь на кровати, посмотреть на свой велосипед.

Велосипед, что и говорить, не новый. Руль у него сразу же заходил ходуном и при езде частенько подводил. Сиденье тоже следовало бы опустить, а то я вынужден был страшно изгибаться. Но тут нужен был специалист — сам этого не сделаешь. Камеры тоже то и дело лопались. А тогда снимай шину, латай резиной дырочки, потом надевай на колеса и накачивай. Занятие это веселым не назовешь. Но мне на помощь приходили приятели, в прошлом — владельцы велосипедов. Наконец все приведено в порядок, и снова катайся себе на здоровье.

Днем я ставил велосипед во дворе за кустами сирени. Но из окна нельзя было увидеть, стоит ли велосипед на своем месте. Моя хозяйка как-то сказала:

— Смотрите, чтоб у вас велосипед не увели...

— Если кому-нибудь он нужен больше, чем мне, пускай берет, — ответил я не то высокомерно, не то в шутку.

И, как на грех, на следующий день я оставил на время обеда велосипед во дворе, а когда через часок вышел на улицу, его и след простыл. Как обычно в последние дни, я поставил его за сиреневый куст, не запирая на замок, поскольку сразу после обеда собирался ехать к Самуолису в Тарпучяй посмотреть электрический звонок, который тот только что смастерил. Я ищу там, ищу сям, выбегаю на улицу, смотрю в сторону костела и городского сада, но мой велосипед как сквозь землю провалился...

— Видать, нашелся человек, кому этот велосипед нужен больше, чем вам, — смеялась хозяйка, — вот он и забрал. Сами же говорили...

— Да, видно, кому-то он был больше нужен, — отшучивался я, хотя мне ничуть не было смешно.

...Над моей кроватью висела картинка, на которой был изображен Христос в венке из белых роз, идущий во вьюгу впереди двенадцати революционеров по петроградской улице. Я самозабвенно декламировал поэму Александра Блока «Двенадцать», многие строфы которой нравились мне и возбуждали в моей душе протест. Картинку я вырезал из книги большого формата. Я расхаживал по нашей комнате и громко повторял:

Стоит буржуй, как пес голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

Мне было все равно, слушают меня или нет. Поэма чем-то перекликалась с моими настроениями — то лиричными, то полными смутного бунта против нашего унылого житья, против несправедливости учителей, исключивших из гимназии нашего товарища, против того, что мы голодны, плохо одеты, в конце концов — против того, что у меня украли велосипед...

Моей декламацией и вообще стихами, которые я тогда читал, очень интересовался Винцас Жилёнис. Иногда мы битыми часами разговаривали о любимых поэтах.

Я читал Блока дальше. Мне нравилось удивительное звучание стиха и сложные образы, которыми, казалось мне, так верно передана мощная поступь революции. Стих был пронизан лирикой, чистой и холодной, как призрачная вьюга.

И за вьюгой невидим,
И от пули неведим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

...Я читал «Преступление и наказание». Словно наваждение навалился на меня сон Раскольникова — дохлая кляча, которую безжалостно колотят и гонят вперед. Я воочию видел пьяницу Мармеладова, Раскольникова, который прячет под убогой одежкой топор и крадется к процентщице, видел Сонечку, несущую на своих плечах горе всего мира, и, затаив дыхание, слушал ее разговор с Раскольниковым... Эта книга мучила меня. Она распахнула мне дверь в мир обнаженных человеческих душ — страдающих, мечущихся, ищущих выхода из горя и кошмара. Я впервые приобщился к великой литературе и почувствовал ее завораживающую силу...

Из-за этого стоило изучать русский язык! И было приятно осознавать, что вдруг рухнуло какое-то препятствие и передо мной распахнулись врата в новую страну.

...Был вечер. На дворе высились пухлые зимние сугробы. А мы, самые смелые, как и каждый день, разделись догола, выбежали во двор и несколько раз перекувырнулись в снегу. Словно нас обжег огонь, мы бросились обратно и, растеревшись полотенцами, юркнули в постель.

А в углу лежал и надсадно кашлял Казис Сенкайтис, накрывшись, как каждую ночь, легким одеяльцем, а поверх него — своей солдатской шинелью. И мы уже знали, что он болен чахоткой. А от чахотки не было спасенья.

Казис Сенкайтис, тишайший, добрейший наш товарищ, умер во время каникул. О его смерти я узнал, вернувшись после каникул в гимназию, мне сказал об этом мой однокашник Казис Катилюс, который единственный из друзей проводил его до могилы...

А с Винцасом Жилёнисом я сходил все теснее. Теперь мы часто гуляли с ним по городскому саду, читая вслух любимых поэтов, вместе ходили купаться к Шешупе. Не раз мы спорили с ним о новом фильме или спектакле Каунасского театра. Винцас — как Казис и я — не мыслил жизни без патетики, без звонких стихов, без новых журналов и книг... Как когда-то я, так теперь он стал учить понемногу русский язык, и я уже был наставником. На каникулах мы часто переписывались.

Однажды летом я обрадовался и удивился, увидев Винцаса в Трямпняй, в нашем дворе. О, как радостно было нам встретиться не в опостылевшем Доме трезвости, а на холмистых полях нашей деревни теплым летом, которое звало нас то к озеру, то на Часовенную горку!

— Как хорошо, Винцас, что ты ко мне приехал! — радовался я, а мама спешила побаловать нас блинами, вареньями, медом.

Винцас рассказывал маме о Видгиряй, о ее родной деревне. Вспомнив молодость, мама, подсевшая в горнице к столу, за которым мы завтракали, вытирала передником слезы...

Я читал Винцасу новые свои стихи и куплеты «Мариямполиады». Перед его приездом, запершись в горнице, я сочинял некое подобие поэмы, назвав его «Мариямполиадой». На поэму это сочинение смахивало разве тем, что было написано стихами и к каждой его песне присовокуплены были эпитафии из «Махабхараты». В своей поэме я описывал различные похождения однокашников и учителей. Переписав всю поэму в толстую тетрадь, я теперь читал ее Винцасу. Он смеялся и говорил:

— Знаешь, а из тебя получится поэт!.. Как пить дать.

Он сам читал мне какой-то свой рассказик, который, как и мои стихи, отличался не столько мастерством и знанием жизни, сколько юношеским пылом и наивной патетикой. И его и мои тогдашние писания, скорей всего, порождены были неотвязным желанием излить кому-то свои смутные мечты, в которых реальность переплеталась с фантастикой, неопределенная радость со столь же неясной тоской.

— Правда, Винцас, как было бы здорово, если бы и Казис и мы с тобой на всю жизнь остались верны теперешней нашей мечте — писать, творить. Вот будет интересно, если мы когда-нибудь напишем не стишок, статейку, рассказик, а целую книгу, которую будут читать люди! Ведь это будет просто здорово.

— Да, разумеется, — ответил Винцас. — Это нелегко, но иногда мне кажется, что нет большего счастья в жизни, как написать что-то дельное...

Наши разговоры затягивались за полночь. Уже на гумне, лежа на сене, мы долго делились мыслями и мечтами, пока в щелях меж бревен не загоралась заря...

Жизнь казалась бесконечно долгой, замечательной, манящей. Казалось, мы вечно будем молоды, здоровы, счастливы, вечно будут переполнять нас удивительные замыслы.

ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ

Такой дружба бывает, только пока ты молод. Дня не можешь прожить без своего друга.

Каждый разговор с ним тебя обогащает. Тебе важно знать его мнение обо всем, в чем ты нетверд. А если твой друг вдобавок тебя старше, он для тебя — главный авторитет, и ты, наперекор мнению других, ждешь, что же скажет он.

Таким авторитетом был для меня Казис. Он учился уже не в гимназии, а в учительской семинарии, которая была основана в 1920 году в недостроенной казарме на юге от города. Учились мы в разных местах, но от этого наша дружба не остыла. Каждый день я бывал на Дворянской улице, в домике, где он жил, а если не мог — он приходил ко мне с новой книгой или журналом, и мы разговаривали час за часом, не замечая, как бежит время и что уже пора идти хлебать вечерний суп.

Мы никогда не спорили о мировоззрении. Мой друг, начитавшись религиозных и моралистских сочинений Льва Толстого, стал своеобразным толстовцем. В костел он ходил изредка и только по принуждению бабушки. Увидев, что мы начитанны и любим литературу больше других гимназистов, атейтиники из старших классов предложили нам редактировать журнальчик творчества гимназистов. Мы получили толстую кипу стихотворений, рассказов и прочего бреда. Стихи были то про восход или закат солнца, то влюбленные вопли, посвященные разным Марите или Оните, то вообще какое-то неясное трепетанье души. Кое-как отобрав, на наш взгляд, лучшее, мы отдали рукописи переписчику, который каллиграфически их переписал, размножил на стеклографе, сделал обложку и таким образом изготовил, кажется, экземпляров десять журнальчика «Голос будущего». Так мы издали два или три номера этого журнала. В одном из них я, помнится, поместил перевод какого-то рассказа Льва Толстого, от которого тогда был без ума. Атейтиники стали выражать недовольство по поводу этого рассказа, но мой друг сказал:

— А ну их к лешему! Не обращай внимания! Все эти местные философы по сравнению с Толстым гроша ломаного не стоят!

Между тем в учительской семинарии творилось неладное. Атейтиники, опекаемые многими учителями, изо дня в день наглели. Капеллан Пиус Дамбраускас, позднее ставший директором, на своих уроках хулил социализм, который, как ему казалось, проникает из реального училища в семинарию. Однажды Казис мне сказал:

— Тебе, часом, не кажется, что все эти «Голоса будущего» — самое что ни на есть дерьмо?

Я поглядел на своего друга и без колебания ответил:

— Вообще-то кажется...

— Ну и пошлем их к лешему! — сказал Казис.

Я согласился, и наши дела с атейтиниками пошли на убыль. Окончательно наши отношения с ними оборвало следующее событие. В Мариямпольскую учительскую семинарию поступил хромой, некрасивый лицом, но приветливый и смелый паренек, сын портного, комсомолец Витаутас Ведринайтис. Он дружил с Казисом, они даже сидели за одной партой. Встречался с ним и я. У Ведринайтиса я впервые увидел книгу Ленина. Кажется, это была «Государство и революция». Мне очень хотелось прочитать эту книгу, но не хватало смелости попросить Ведринайтиса — я знал, что книга нелегальная и что носить ее по городу нельзя.

— Вот кого надо читать! Не читать, а изучать — Ленина! — сказал мне Ведринайтис. — Вот человек, который хорошо понимает, куда движется мир. И вот почему его так ненавидят всюду, где царят реакция и гнет.

— Послушай, а вдруг у тебя найдут такую книгу? — спросил я.

— По головке не поглядят, это уже верно, — усмехнулся Ведринайтис. — Но, как бы они ни

старались, революцию остановить нельзя. Это только вопрос времени...

Вскоре нашего друга арестовали. Мы слышали, что его и других арестованных, которых увезли в Вилкавишкис, охранка жестоко мучает на допросах — избивает, ломает суставы, пытается электрическим током. Охранники отобрали у него даже «Просветы» Вайжгантаса, которые я ему давал почитать. Методы ксендзовской охранки и всей черной реакции вызывали у нас не столько возмущение, сколько омерзение. «Что ж, воскресла инквизиция!» — говаривали гимназисты левых убеждений.

Летом 1922 года Казис мне писал:

«Ведринайтиса выпустили. Он весел и радуется, что столкнулся воочию с остатками варварства. В «литовской инквизиции» (церковь ее ведь тоже считает священной, но я — нет!) нахватал оплеух, «выродков», «подлецов» (его обвиняли в коммунизме). Он желает, чтоб и я туда угодил, поскольку, как он говорит, очень уж там много интересных людей!»

После первого ареста Ведринайтис хотя и получил выговор от директора, но еще остался в семинарии. В 1923 году его арестовали снова. Когда он после заключения вернулся в семинарию, капеллан Дамбраускас вошел в класс и закричал:

— Прошу выйти! Врагам церкви и родины не место в нашей школе!

Ведринайтис — взволнованный, бледный — встал со своего места и, с иронией посмотрев на ксендза, покинул класс. Тогда вскочил и его друг Казис. Ударив кулаком по парте, он воскликнул:

— Это клерикализм! Бесправие!

И тут же обратился к ученикам-аушрининкам^[68] (они составляли около половины курса):

— Товарищи, прошу принять меня в свою организацию! Аушрининки единодушно захлопали ему. Это случилось в 1923 году, когда я учился в шестом классе гимназии, а Казис — на третьем курсе учительской семинарии.

Уже тогда у него были широкие творческие замыслы. Он писал мне:

«Своих «Людей» я напишу по-своему, как уже говорил, — философствовать, чушь нести, в подробности вдаваться не буду, — а больше общими штрихами и яркими образами. Ты, вижу, уже хохочешь! Ну его к лешему, твой смех, а я хоть лопну, своих «Людей» напишу так, как хочу. Спросишь, за какой срок. Может, хватит десятка лет, а может, и того меньше, но трудиться буду долго, пока не увижу, что ничего больше ни отнять, ни прибавить нельзя. Эх, приятель — все или ничего! — вот сейчас мой девиз. Хотя сейчас... что сейчас?.. ночь. Надо спать. К черту!»

Как и многие наши замыслы, «Люди» не увидели света. Но неужели из-за этого юношеские мечты потеряли свое очарование?

В другом письме, написанном тем же летом, Казис сообщает, что прочитал ибсеновского «Бранда», и говорит: «Мою уверенность в себе даже Бранд не поколебал». В это время он переводил «Страшную месть» Гоголя, которая так сильно подействовала на меня, когда Марите обучала русскому языку.

Летом 1923 года Казис писал мне:

«...Был в Каунасе. Купил золотые очки (которые, слава богу, уже разбил), но еще купил и книг на немецком языке: «Садовника» Р. Тагора, «Письма с моей мельницы» А. Доде и еще Ницше и Метерлинка, последнего по-русски. Книги, чтоб их леший, дорогие. За Тагора отдал

восемь литов, есть еще два тома — драмы по 10 литов.

Книги в Каунасе попадаются, но карманы дрожат из-за цен — не пойти ли, часом, камни дробить, чтоб подработать.

Книг-то у меня теперь даже больше, чем надо. Немецкий язык зубрю, авось что и выйдет. Если выучу за это лето немецкий — на будущее берусь за французский, а потом еще стоит выдолбить польский и латышский. Для чего? Исключительно для литературных надобностей».

В Мариямполе каждый месяц, а иногда и через месяц выходил тоненький журнальчик для учащихся — «Утренняя звезда». Выпускали его аушрининки.

Казис почти в каждом номере «Утренней звезды» печатал свои прозаические зарисовки и стихи. И те и другие были полны мятежной романтики, исканий и бунтарства.

Сальве, мать-земля!

Славлю я тебя, зари звезда.

В море вышел мореход отважно —

Парус выше! — Путь наш в море,

хоть ни зги, хоть волны воют,—

в море вышел мореход отважно.

Пусть корабль швыряют волны,
пусть мы — головой об стену —
не застнем, — ночь темна, но утру быть,
сердцу юному приплыть
к берегам страны рассвета!
Пусть поглотит всех нас море,—
сердце юно — кровь вскипела,
парус выше,—
слово — дело: в море вышли!

Эти более чем прозрачные аллегории подливали масла в наше недовольство жизнью, закованной клерикалами. Наверное, поэтому мы не могли тогда спокойно читать подобные стихи.

Около 1924–1925 годов до нас дошли произведения Владимира Маяковского. Какую-то книгу

мы получили из реального училища, через Ведринайтиса. Обычно книги русских классиков и современных писателей, изданные в Берлине Ладыжниковым, «Словом» или Гржебиным, доходили до нас через жену адвоката Андрюса Булоты, подругу и опекуншу Жемайте, большую любительницу литературы. Тогда по рукам у гимназистов ходили ее томики Пушкина, Тургенева, Чехова, Горького, Бунина, Андреева.

Казис переводил «Левый марш» Маяковского и начало его напечатал в «Утренней звезде». «Утреннюю звезду» конфисковали (это случалось довольно часто), но почти весь тираж успели вынести из типографии. Прокурор прислал редакции уведомление, что злопыхатель Маяковский привлечен к судебной ответственности (без сомнения, прокурор решил, что Маяковский живет в Мариямполе). А мы, услышав про это, смеялись, еще и еще читая Маяковского:

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляuze.

Тише, ораторы!

Ваше слово,

товарищ маузер.

Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу истории загоним.

Левой!

Левой!

Левой!

Журнал «Утренняя звезда» привлекал меня и раньше, потому что в нем печатали рассказы Максима Горького, Леонида Андреева, стихи Бутку Юзе[69] и начинавшего тогда Ляонаса Скабейки.[70] Мне нравились и многие статьи этого журнала.

Еще в 1919 году, едва начав выходить в нашем городе, журнал предостерегал:

«В наше время черные силы реакции не дремлют. Они стараются пустить свой зловонный яд в каждую душу, особенно в душу юношества, чтобы общественную жизнь Литвы переделать на свой лад. Они хотят одурачить народ и проложить дорогу в темное свое царство. Они засеивают почву, вспаханную немецкими империалистами.

Но народ просыпается... Он сбрасывает с себя ярмо рабства... Срывает цепи, сковывающие руки.

Наша обязанность — помочь народу. Наша обязанность — преградить путь этим врагам светлого будущего. Наша обязанность — будить молодежь, усыпленную непосильным трудом. Наша обязанность — распространять свободную социалистическую мысль».

Все это было красиво. И, возможно, для начала достаточно было подобных красивых слов.

Но чем дальше, тем туманней становился социализм «Утренней звезды». Самое странное, что, высказываясь за социализм, «Утренняя звезда» нагло нападала на Советскую Россию. Журнал много писал о развитии личности, но снова было неясно, как он мыслит развитие этой личности в условиях капиталистического гнета, когда рабочий поработан и нещадно эксплуатируется. И совсем уж было непонятно, каким представляют себе аушрининки общество будущего — как оно будет управляться, как будут развиваться экономика и культура. Позднее, когда я ознакомился с марксистскими книгами, они дали на этот вопрос ясный и недвусмысленный ответ.

Я встречался с аушрининками. Я чувствовал свою слабость в политических вопросах и не мог вступать в открытый спор, но мне казалось, что вся их идеология неясна и непоследовательна. Правда, меня восхищал протест аушрининков против клерикального режима — а режим этот из года в год пускал корни повсюду.

Ксендзы проникли в гимназии и старались воспитать учеников послушными, преданными им душой и телом. Много ксендзов было и в сейме, и здесь они решали коренные вопросы правления и устройства Литвы. Расплодилось охранники, шпики, которые не только на фабриках ловили рабочих и прятали их в тюрьму — они пробирались и в школы. Чем дальше, тем чаще мы слышали о том, что арестованы ученики реального училища и что их пытаются в охранных отделениях Мариямполье и Вилкавишкиса. О таких событиях мы что ни день говорили с Казисом и с новым моим знакомым и другом — Витаутасом Монтвиллой.[71]

Витаутас Монтвила был старше меня на несколько лет. Он появился в Мариямполье осенью 1921 года, отслужив добровольцем в армии, выходит, уже взрослым человеком. Воевал он где-то в Вильнюсском крае, как говорится, «освобождал Вильнюс», но разговорчивостью не отличался, так что о своих боях ни мне, ни, наверное, другим ничего не рассказывал. Ходил он в потертой солдатской шинели. Года два он проучился в подготовительных классах учительской семинарии и, кажется, только в 1923 году поступил на первый курс. Теснее удалось мне с ним сойтись, насколько помню, лишь в 1924 году, когда он пришел к аушрининкам.

Витаутас Монтвила привлекал меня прежде всего как поэт, стихи которого я читал в «Утренней звезде» и в некоторых газетах американских литовцев. Стихотворение «Пробуждающаяся свобода», напечатанное в «Утренней звезде» осенью 1924 года, видно, чем-то сильно перекликалось с моими тогдашними настроениями, потому что я много раз перечитывал его и знал наизусть:

Костры разгорелись,—

как ленты кровавые,

пламя багровое

тянется — хочет

земли нашей нечисть спалить.

Горит старый мир, он сгорает!

А бури свободы

летят над землею,

чтоб искры возмездья не гасли,
не падали вниз, словно перья
заклеванных коршуном птиц.

Шагаем мы с песней.

С улыбкой восходим
на гору крутую — сражаться
за наши идеи,
за честь и свободу.

Всем жаждущим крови горячей и юной,
всем, нас приковавшим к кресту без пощады,
навечно запомнить бы надо:

дела ваши тяжки — они вас задавят,
в крови ваши руки — они вас задушат.

Войдет в книгу жизни короткая запись:

«Без сердца, с пустой головой они жили...»[72]

Не помню, где мы впервые встретились с Монтвиллой. Наверное, произошло это в городском саду или на Варшавской — здесь можно было встретить кого хочешь и кого не хочешь. Меня поразили мрачность и неразговорчивость нового знакомого. Казалось, его давят какие-то заботы и от этого его плечи сгибаются под непосильной ношей. Шагал он спокойно, не торопясь, говорил, словно взвешивая каждое слово. С ним я чувствовал себя не в своей тарелке, как будто он видит насквозь твои недостатки и слабости и презирает тебя за них. Но постепенно эта холодность смягчалась, а очень голубые глаза, глубоко спрятанные под высоким лбом, не теряя своей пронизывающей силы, оттаивали, становились дружелюбнее, хотя слова звучали трагично и сурово, как и раньше:

— Ксендзы и охранники — лучшие друзья. Всей своей тяжестью они навалились на Литву. Прибавь к ним еще фабрикантов — и вот, как говорит учитель истории, настоящий триумvirат!

Прочитав какие-то мои стихи, он вернул мне рукопись и сказал:

— Как ты можешь писать о прелестях весны, когда наших товарищей в охранке избивают и пытаются электричеством?..

Мне стало стыдно за свои стихи, но я начал объяснять:

— Человек не может жить без красоты природы, без любви...

— Не это нас теперь должно занимать! — говорил Витаутас. — Ты лучше погляди, что творится вокруг... Вот была одна гимназия посвободней — реальное... Единственная на всю Литву... И ее реакция успела придушить. Мерзость... В твоих стихах вдобавок есть что-то от Сруоги, от этих его «Троп богов»... Не такая поэзия нам нужна...

Витаутас говорил очень много — обычно он отделялся коротенькими фразами:

— Надо писать ясно, а твои стихи нельзя понять...

— ...Это уже лучше: чувствуется кое-какой протест против подлецов...

Почитав стихи из альманаха «Дайнава», изданного эстетамы в Каунасе, Монтвила сказал:

— Сопли...

И не вдавался в объяснения, почему он так считает.

Однажды он повел меня в Дягучай, предместье Мариямполье, где, кажется, его дядя строил для себя деревянный домишко. На бутовых камнях кое-как держался сруб. По наклонной доске мы забрались в этот домишко, где привольно гулял ветер, сметая со стола рукописи поэта. Витаутас познакомил меня со своей матерью и сестрой — портнихой, которая, как я узнал впоследствии, помогала брату учиться, кормила его и одевала. Кажется, это был единственный раз, когда Витаутас извлек из стола толстую тетрадь в черной обложке и подал ее мне. Я полистал ее.

— О, ты уже много написал!

— Все чушь, — сказал Витаутас, и я даже не успел ничего прочитать, как он забрал у меня тетрадь и сунул в ящик стола. — Писать надо так, чтоб никто не мог читать спокойно. А как это делается — не знаю...

Он не любил почти всех наших поэтов, публиковавших стихи про любовь, природу, смутные мысли и грезы. Нравилась ему лишь поэзия Юлюса Янониса — он с восхищением читал его стихи.

— Надо писать так, как писал Янонис, но я так не умею, — говорил он.

Часто мы встречались втроем — Казис, Витаутас и я. Мы с Казисом разбирали стихи какого-нибудь поэта или говорили о свежем номере журнала, а Витаутас молчал и, кажется, думал свою все ту же сумрачную, тяжелую думу. Потом, подняв красивую голову — темные густые кудри, высокий лоб, пронзительно-синие глаза, страдальчески сжатые губы, — он коротко бросал:

— Все чушь... Не это теперь нужно...

С первого же знакомства Витаутас стал большим авторитетом для меня. Как я уже говорил, он был старше меня. Его стихи часто появлялись в печати, и, главное, они только с виду смахивали на стихи остальных поэтов, а содержание у них было воинственное, беспощадное

— молодой поэт отважно выражал свое недовольство существующим строем, духовным насилием, которые он испытал в учительской семинарии, наконец, всей Литвой, управляемой клерикалами, в которой все трудней приходилось тем, кто не плясал под ксендзовскую дудочку. Я тоже попытался было писать так, как писал Витаутас, не понимая, что подражание — еще не творчество и что этот путь бесплоден.

Видно, за Витаутасом неусыпно наблюдало бдительное око капелланов и школьных шпиков. Они ярились из-за того, что его все больше уважают учащиеся, что он на каждом шагу без оглядки высказывает свое мнение и точно характеризует каждого, будь то полицмейстер, начальник уезда, капеллан или даже сам заместитель директора ксендз Пюс Дамбраускас. В учительской семинарии Витаутас и Казис слыли самыми опасными возмутителями спокойствия, смущающими других учеников.

Совсем взбесились реакционеры, когда эти два семинариста не пошли Первого мая сажать деревца (такой уловкой Пюс Дамбраускас вместе со своими прихвостнями решил отвлечь учеников от празднования Первомая), а прицепили на грудь красные кокарды, да еще и других отговаривали от участия в ксендзовской затее... И вот Казиса после таким образом отмеченного Первомая исключают из семинарии — как раз перед выпускными экзаменами.

Витаутасу позволяют нормально кончить очередной курс. Но и его дни в семинарии сочтены... В одно августовское воскресенье комсомольцы проводят антивоенную демонстрацию. На шествие, которое от костела направилось к центру города, нападают охранники и полиция. Казис с Ведринайтисом с балкона какого-то дома видят, как полиция случайно (Витаутас не был комсомольцем), считая Монтвилу участником демонстрации, хватает его и уволокивает в участок. Вскоре мы узнаем, что Витаутас приговорен к шести месяцам заключения. Когда он выходит на волю, о возвращении в семинарию не стоит и мечтать — неужто ксендз Дамбраускас, к тому времени ставший директором, и другие клерикалы примут его после тюрьмы? И Витаутас вынужден покинуть Марьямполь. Он переселяется в Каунас и поступает вольнослушателем в университет, но вскоре уезжает в Кедайняй, в учительскую семинарию. И мы встречаемся после длительного перерыва снова в Каунасе.

Казис же, игнорируя ксендза Дамбраускаса, обращается к директору гимназии с просьбой позволить ему сдавать экзамены экстерном. Директор соглашается и предпринимает шаги, чтобы Казису разрешили сдавать экзамены в семинарии. Дамбраускас в конечном счете уступает, но ставит условием, чтобы Казис сдавал не за последний год, как остальные ученики, а за весь курс семинарии. Это — огромная разница, и не в пользу ученика. Но Казис — головастый парень, и Дамбраускас поражен — он гладко сдает все экзамены. Но Дамбраускас не сдается: он отказывается выдать Казису аттестат зрелости.

Летом Казис мне пишет:

«Экзамены сдать-то я сдал, но кто выдаст аттестат, одному лешему известно. Ксендз Дамбраускас говорит, что министр просвещения, а министр скажет — пускай черт знает кто даст. Видишь ли, братец, они только сегодня додумались, что мы, дескать, не имели права сдавать экзамены. Свиньи иезуитские! Чего они тогда не сказали, шут бы им тогда экзамены сдавал, а не я. Что-то мне кажется, они такое наврут, что я кукиш с маслом получу, но... тогда они меня попомнят. Не останется ничего другого, как выйти темной ночью на большую дорогу! Еще время есть!

...Я теперь за соломинку хватаюсь — собираюсь издавать поэтическую тетрадь...»

В приписках к тому же письму:

«До того свинское у меня положение, что теперь я ни буржуазный, ни социалистический писатель. Конгломерат — так что лучше никуда не соваться!

...Еду в Каунас похлопотать об университете, хотя аттестата все нет и я не знаю, когда будет...»

Без аттестата зрелости, представив записочку директора о сдаче экзаменов, Казис осенью 1924 года поступает в университет и переезжает в Каунас... Летом он уговаривает меня в письме тоже держаться экстерном за курс гимназии и вместе ехать в университет. Увы, я еще не был к этому готов — надо было отсидеть положенный срок в гимназии...

А мой друг уже вступил в новую, заманчивую, увлекательную студенческую жизнь!

ЛЕТО

Я лежу на своей кровати в клетке и вижу, как из чердачного лазка и из щелей в полу сочится утро. Тусклый его свет становится все ярче. Я слышу, как Пиус у гумна отбивает косу. Мама приоткрывает дверь клетки, взбирается за чем-то на чердак и, увидев, что я уже открыл глаза, говорит:

— Поспи, поспи еще... Ведь в городе-то голову утомил...

Я блаженно зажмуриваюсь. И впрямь, сон одолевает меня так, что я просыпаюсь только через час. А может, прошло лишь пять минут.

Я снова вспоминаю маму, и мне хорошо. После смерти отца она делала все, чтобы я мог продолжать учебу. Родня говорила, что меня после четырех классов надо заставить поступить в духовную семинарию, но мне мама об этом ни словом не обмолвилась. Когда Юозас, став хозяином после смерти отца, доказывал, что хватит мне учиться, что я давно свою долю хозяйства проел, что он больше не поедет в Мариямполье и ничего мне не повезет, мама вставала спозаранку, все, что могла, насыпала в мешочки, заворачивала в тряпицы и бумагу, потом будила Юозаса, а если тот не вставал — Забеле и ехала ко мне. Ехала зимой, по заметенным дорогам, привязав к дышлу саней фонарь, дрожала от страха, как бы не перевернулись сани, не лопнула сбруя или еще чего не стряслось. Вчера вечером мама, управившись с работой, пришла ко мне в клетку, села на кровать и сидела такая милая, тихая и родная, что сердце у меня заняло от преданности и любви.

— Ты по дому не тоскуешь там, в городе? — спросила она, словно собираясь начать длинный разговор.

— Сейчас — меньше, — ответил я. — Привык. А раньше ужас до чего тосковал. Казалось, мог бы — птицей бы прилетел...

— Вот и я, когда все дети дома, спокойна и довольна. А выдала замуж Кастанцию — и заснуть не могу: так и грызет меня — вдруг там ее работой мучают, вдруг муж не жалеет, а пожаловаться-то некому... Потом Пиус в армию ушел... Опять, бывало, даже заплачу, проснувшись ночью, — вдруг он там не поел, замерз, а то раненый или неживой лежит... Кажется, не знаю, что отдала, только бы увидеть... Слава богу, воротился, хоть и сгинуть на этих войнах недолго...

— Сейчас ведь вам не о ком больше заботиться, мама...

— А за тебя, думаешь, не болею? После войны-то, как ты начал учиться, до того уж трудно было, иногда ведь ни крупницы масла дома не видывали... Может, он голоден, — думаю каждый день. Бывало, никому не сказавшись, иду куда-нибудь занимать, только бы было чего повезти. Или вот с этой платой за учебу. То тебя освобождают, а то получим от тебя весточку

или сам придешь — и хоть из-под земли достань эти деньги! Отец умер, а я все его слова помню: «Ребенка надо выучить... Лучше сами потерпим, а ребенок должен науки пройти... Ведь как его Бутаускас хвалил... Говорит, ясно же как день — сыночек способный, добьется большего, чем мы могли...» Так он твоему ученью радовался....

— Я знаю, мама... Если бы папа сам мог...

— Да, он-то весь свой век к книгам тянулся... Хоть образования не получил, но голова-то у него была светлая... — И мама, вспомнив отца, вытирает невидимую в темноте, понятную только по голосу, слезу.

Я держу в руке мамину руку — небольшую, жесткую, огрубелую от тяжелых многолетних трудов. Каждый божий, день мама бегала, носила, таскала, чистила, варила, пряла, ткала, стирала, сгребала сено... Несметны дела ее рук, неизбежно тепло ее сердца...

— А с верой-то как, сыночек? — неожиданно спрашивает она. Вопрос для меня очень тяжелый. Нет, я не могу солгать, не могу сказать, что я тот, что был... Жизнь, друзья, книги сильно изменили меня. И я осторожно, не сразу, обвиняками, объясняю маме, что в мире много людей и много мнений, и не все то, что мы считаем правдой, — правда... Но нет, она хочет прямого ответа на свой вопрос, а я знаю, что своим ответом я пораню ее сердце, заставлю мучиться, может быть, даже маяться ночами без сна... И я говорю:

— Да, мама, я о многом думаю иначе... Но я был и останусь таким, каким вы меня вырастили, — ни воровать, ни лгать не стану, понимаете?..

Не знаю, удовлетворяет ли маму такой ответ. Ее огрубелая рука прикасается к моему лбу и ерошит волосы. И мне хочется целовать любимую руку, пахнущую укропом, тмином, солнечными хлебами полей.

Наконец, утомленное бесконечным летним днем, мое тело погружается в сон — долгий, здоровый, легкий юношеский сон, который несет отдых и прилив сил. И сквозь сон я, кажется, все еще чувствую прикосновение материнской руки к своему лбу, и мне спокойно и хорошо...

А лето идет... Пиус открывает дверь.

— Кажись, ты сегодня со мной на сено собирался?..

— Подожди! Я сейчас! — отвечаю я и выскакиваю из кровати. Голова еще хмельная со сна, глаза слипаются, но я выбегаю во двор и ступаю босыми ногами по сырой от росы траве.

Солнце уже поднялось над хлевом, но от изб и всех построек на запад тянутся долговязые тени. Из садика разом — словно прорвало — ударяет неслышимый в клетки птичий гомон: все наперебой, весело и бойко воркуют, чирикают, свистят.

Я умываюсь во дворе. Воду я только что зачерпнул из колодца, она приятно прохладная. Я обливаюсь, вода рассыпается звонкими брызгами. Полотенце шершавое, его выткала мама и вынула для меня из сундука в клетки. Меня здесь балуют.

Разумеется, все уже позавтракали — я встал позднее всех. Пранас с Казисом давно угнали скотину в Концы. Аготеле идет через горку, несет им завтрак. Тети нет, она не возвращалась от родных, у которых гостит с последнего престольного праздника... Юозас хлопочет на гумне, а Забеле помогает маме на кухне. Я захожу в избу. На столе дымится свекольник, а мама уже несет из кухни самые любимые с детства картофельные оладьи.

После завтрака мы с Пиусом через садовую калитку выходим на луг, который называется «У камня». Название показалось бы странным, если бы я не помнил, что здесь, у дорожки, которая спускается с горки к дому, еще несколько лет назад торчал огромный камень. Отец

решил его раздробить и использовать для погребя, который он строил на пригорке за хлебом. Я помню, как сам отец, а потом и Пиус с Юозасом в этом камне стальным долотом долбили лунки. Долбили долго — камень был очень твердый! Потом в выдолбленную лунку насыпали порох, заделывали ее так, что оставалась только крохотная дырочка, совали фитиль, поджигали, и все мы удирали кто куда. Отбежим порядочно, и тут взлетает столб дыма, осколки, и мы слышим глухой звук взрыва. Подбежав поближе, видим — откололся здоровый кусок, но сам камень все еще сидит в земле.

Теперь камня нет, даже ямину, в которой он лежал, давно сровняли с землей. Неподалеку выкопали другую яму — здесь осенью сушат лен, а потом треплют его и несут домой чесать и прясть...

— Что ж, — говорит Пиус, остановившись на краю лужка. — Отсюда начнем, что ли?

— Ладно, — говорю я, решив во что бы то ни стало не отставать от брата. Уже прошлым летом я немного пробовал косить. Теперь мне кажется, что косить я умею и что это дело для меня плевое.

Пиус ставит торчмя косу, вынимает из подвешенного к ремню лагунка брусок и звонко правит лезвие. Я держу точило в кармане, оно тяжелое и оттягивает штаны вниз, но мне-то что? Я тоже ставлю косу торчмя и точку, но брусок убегает из рук, а то и коса вдруг кренится, и я едва не разрезаю руку.

— Ты там полегче, — говорит Пиус. — Смотри, как я правлю. Он опускает косу, плюет на ладони и, взяв ее, проводит по траве. Чах-чах! Трава, ровнехонько отрезанная у самой земли, ложится пластом. Когда брат уходит на несколько шагов, я встаю в соседний ряд и замахваюсь косой. Чах! Увы, коса что-то не очень меня слушается — она идет как-то не так. Вижу, трава обрублена посередине и у земли торчат пучки.

Я еще и еще раз провожу по тому же месту, пока мне не кажется, что скошено как следует. Снова взмах. Теперь вроде лучше. Я уже чувствую, как следует держать косу. Но вдруг лезвие утыкается в мягкую землю. Мне будет стыдно, если брат увидит такое. Я торопливо вытаскиваю косу и снова машу ею, стараясь косить ритмично, в такт брату.

Пиус уже далеко. Здесь ряды не очень длинные, и он вскоре кончает свои. А я и до половины не дошел. Я чувствую, как устали руки, а солнце припекает все больше. Стараясь показать, что и я кошу неплохо, я отчаянно машу косой, а он, возвращаясь назад, говорит мне:

— Слишком широко машешь... Так долго не протянешь — руки утомишь. Гляди, твои ряды пошире моих. И косу держишь неважно...

Он берет у меня косу и говорит:

— Гляди-ка...

Я благодарен, что Пиус хоть на минутку забрал у меня косу и я могу перевести дыхание.

— Вот как надо, — говорит он. — Бери косу.

Я снова машу косой. Брат меня поправляет. Когда я поменьше замахваюсь и не тороплюсь, дело идет на лад.

Но косить наравне с братом я еще не могу. А он меня не ругает и не подначивает. Изредка, кончив свой ряд, он берет у меня косу и доканчивает мой. Потом мы ложимся на краю лужка, на густую, только что скошенную траву. У травы острый приятный запах, она холодит разгоряченное тело. В ней пестрят колокольчики и прочие луговые цветы... От поместья долетает кукованье кукушки.

— Я тебя ждал, — говорит мне Пиус. — Посоветоваться хотел. Ты ведь знаешь, я тоже мечтаю об ученье... Я же всю зиму проучился... у нас в горнице была школа... Учительница мне помогала...

— Что ж, — говорю я, — это замечательно!

— Я вот думаю, — продолжал брат, — на пятнадцати гектарах мы все не проживем... Еще бы земля была хорошая, как под Марьямполе... Тут ведь не земля, одни слезы.

— Отлично, если ты хочешь учиться, Пиус! — говорю я. — Ей-богу! А куда ты собираешься? И когда?

— Осенью. Говорят, лучше всего в Вейверяй. Далекое, зато там есть учительские курсы. Только бы экзамены сдать.

— Сдашь! — говорю я. — Ясно как день, что сдашь...

— Знаешь, мне еще в армии эта мысль в голову пришла. Свет повидал, людей, понял, что без ученья как без рук... Пускай Юозас остается в хозяйстве, а для меня тут места нет... Пойду-ка я по твоим стопам.

Я действительно обрадовался, услышав о планах брата. Без сомнения, из него получится отличный учитель. Он ведь такой степенный, незлобивый, умный.

— Правда, Пиус, ты мне мало о своем солдатском житье рассказывал...

— Что там рассказывать? Были в Сувалках, потом в Сейнах поймали нас поляки и заперли в синагогу.

— В синагогу?

— Да, я ведь говорил, кажется... Мы там целую ночь просидели. Думали, что поляки нас в Варшаву погонят в лагерь, но в это время в Сейны снова ворвались наши ребята, распахнули дверь синагоги... Мы вышли очумелые, неспавшие, голодные. В местечке начался бой. Я помню только, что увидел подбегающих польских солдат и бросил в них гранату...

— Ну и что?

— Эх, — отмахнулся Пиус и снова встал. — Лучше давай косить! Видишь, вот и обед скоро.

Да, сено косить — не орехи щелкать: к вечеру меня словно измочалили, — казалось, еще шаг, и рухну прямо на землю. Лежал ночью плашмя, не повернуться даже — ныли руки, ноги, все тело стало свинцовое.

...Косить рожь по старому обычаю созвали помочь. Пришли наши соседи — Андзюлявичюс и Юозас Бабяцкас, а из Гульбинаваса — Трячэкас и Белюнас, который на свадьбах пиликал на скрипке. Привел он и женщин. Из нашего двора были три косы — Пиус, Юозас и я. Снопы вязали мама, тетя Анастазия и Забеле. По правде говоря, поначалу мне предложили носить с Аготеле снопы и ровно их укладывать, чтоб потом проворнее было ставить в суслоны, но я не согласился.

Рожь косить оказалось куда легче, чем сено. Особенно на пригорках, где рожь жидковата, хорошо отбитой косой можешь махать, не отставая от других. И мне было приятно слышать слова Юозаса Бабяцкаса:

— Гляди, а я-то думал, что, в классах поучившись, в дело не годится... Однако рубит паренью плеча, смотреть любо...

— Он ничего? — откликается Пиус. — С ним я ведь луг «У камня» скошил. А трава там густая, стриги, как овцу, — уродилось там сено в этот год...

Помогал я и свозить домой сено и рожь. Сено мы сгружали на сеновал над хлевом. С воза на длинных вилах его подают Юозас или Пиус. Мы, младшие, хватаем сено свил в охапку, волочем и упихиваем под стреху, кладем на редкий настил, сквозь который легко провалиться в хлев. Так понемногу набиваем сено до конька. Снопы ржи с телеги, стоящей на току гумна, летят на кладь. А наша работа — подавать снопы кому-нибудь из взрослых, который плотно укладывает их в ряды — сначала в одну сторону комлем, потом в другую.

Когда носишь снопы, всякое бывает — то в руку вопьется шип чертополоха, то до крови занозишь соломинкой ногу, но ведь работаешь наравне со взрослыми! Впередышку слушаешь их рассказы, шутки и смеешься сам, а иногда расскажешь такое из городской жизни, что они слушают разинув рты, — если ты умеешь как следует приукрасить, конечно...

А летний полдень у озера... Запах аира и ила, серебряные рыбешки, кишасщие в сети, вытасенной из Рукава, брызги воды из-под ног плавающих приятелей... Теперь мы снова встретились, и они придиричиво следят, не разучился ли я плавать, хорошо ли ныряю. Они не знают, что весной и осенью я каждый теплый день бегу за город к Шешупе. Нет, моим друзьям не в чем меня упрекнуть — я не отстал от них!

А по воскресеньям... Пешком или на телегах мы отправляемся в местечко. Здесь все для меня так знакомо! Торчит обгоревшая в войну корчма. Видно пожарище на месте моей первой школы. Когда я вхожу в лавчонку, она мне кажется меньше, чем была, и не такая завлекательная, молодая еврейка говорит мне:

— Господин студент, пожалуйста в комнату... Там сможете присесть...

Краснея, я отказываюсь и говорю, что увидел за окном приятеля. Там на самом деле идет Янушавичюсов Антанас. Но не он меня волнует. Только что прошла с подругой гимназистка Стасе, приехавшая к своей сестре из Алитуса. Я знаю, что она — татарка. Ее родители перешли в католическую веру. Стасе кажется мне необычайно прекрасной. Ее лицо — кровь с молоком, глаза карие, бархатные, косы толстые, с золотистым отливом. Фигурка высокая и стройная, и мне кажется, что она с каким-то небывалым изяществом ставит ножки, выбирая сухие места после сильного ночного ливня — лужи еще не просохли.

Стасе уже прошлым летом показалась мне на редкость привлекательной. Когда мы как-то остались вдвоем, она сказала, что я уеду в Мариямполе и, конечно, тут же ее забуду, а я от всей души доказывал, что наша дружба будет вечной. Кончилось тем, что мы обменялись адресами.

Сейчас эта самая Стасе идет по местечку и смотрит по сторонам, как будто кого-то ищет. Увидев меня перед дверьми лавочки, она покраснела и как бы нарочно отвернулась. Я решил, что она за что-то на меня сердится, но все-таки смело подошел и поздоровался. Да, она на самом деле недовольна. Едва подруга куда-то ушла, Стасе спросила меня, почему я так долго ей не писал. Я сослался на то, что был занят, ведь приближался конец учебного года. Но мне самому было неловко, я ведь лгал. На самом деле я напрочь о ней забыл! И теперь отчетливо вспомнил почему.

В дом, где мы жили в городе, приехал какой-то старичок. Рассказывали, что он только что вернулся из Америки и собирается домой, в Сейрияй или Лейпалингис, а в нашем доме поселился временно. Старичок был невероятно богобоязненный и целые дни проводил в костеле. Если он бывал дома, то в открытое окно весной я видел, как он стоит на коленях у кровати и перебирает четки. Из Америки старичок привез дочку, которую звали Региной, красивую, бойкую и шаловливую девушку лет семнадцати.

Она ходит на наши вечеринки и азартно танцует с гимназистами. Прищурив большие карие глаза, она ловко перебирает крепкими ножками, а желтые как воск волосы развеваются — ну просто глаз не оторвать. Губы у нее пухлые, носик чуть курносый. Симпатичная особа!

Вскоре я с ней познакомился. Разговорчивая и приветливая, в разговоре она сыпала всякими американскими словечками: «yes, surely, going»[73] — и потому казалась мне еще интересней. Вдруг ей взбрело в голову научить меня английскому языку, и она притащила ко мне какую-то книжку и заявила, что прежде всего я должен выучить алфавит.

— Алфавит у нас, в Америке, поют, — щебетала она. — Surely, послушай!

И она запела:

— Эй, би, си, ди, и, эф, джи, эйч, ай, джей, кей, эл, эм, эн, оу, пи...

Тянул вместе с ней и я.

— Хорошо, хорошо ты поешь, very good![74] — твердила она.

Она мне объясняла, что лучше всего английский изучать, начиная с таких слов, которые скорей застревают в голове. И я вскоре уже знал и «Go to hell!»[75] и «Devil»[76] и другие подобные словечки. Когда я их повторял, Регина смеялась во весь рот, даже ее белые зубки сверкали. Помню, как-то она долго глядела на меня, а потом взяла в руки мою голову, привлекла к себе и так крепко поцеловала в губы, что у меня голова закружилась.

— Ты знаешь, как по-английски поцелуй? — спросила она. — Surely, не забывай! Kiss![77] — она еще раз поцеловала меня.

Это было до того неожиданно, что я подумал: сейчас мне на голову обрушится потолок. Но потолок не обрушился...

А однажды, вернувшись из гимназии, я видел, что комната, в которой жил американец со своей дочкой, пуста — он увез ее в Дзукию, и я никогда больше не видел Регины...

Пока вернулась подруга Стасе, мы снова пообещали писать друг другу и, как она выразилась, «делиться мыслями и чувствами». В это время зазвенел колокол нашего нового костела, устроенного в деревянной богадельне, и Стасе с подругой побежали в костел. Я же мимо каменных столбов повернул наверх, во двор костела, где мы с пареньками моих лет обычно во время мессы и проповеди толковали о том о сем. А когда народ валил из костела в местечко, мы тоже отправлялись «людей посмотреть и себя показать»...

Скоро конец лету... Конец полевым работам, зреющим колосьям и песням субботних вечеров... Конец чтению новых книг в свободные минуты и — писанию... Даже летом я не забывал этого занятия. Я сочинял стихи, пробовал писать поэму, писал письма Казису и Винцасу. Иногда и письма были стихами. В тишине полей, я лежал у озера, стоял вечером под старыми липами, глядел на загорающиеся в небе звезды и о чем-то тосковал, что-то рифмовал.

Приближался день отъезда — уже не в первый раз. Беспокойным становился не только я, но и мои младшие братья, которые успели привыкнуть к моим рассказам... Мама снова укладывала продукты — подсушенный сыр, стаканчик меду, мешочек муки.

— Когда же кончатся эти вымогательства? — говорил Юозас, с недовольством глядя на маму. — Одному все, а другому — шиш! Знай работай да работай, как последний батрак...

— Будто другие столько дают, когда пускают учиться? — оправдывалась мама. — И одеваются дети у людей иначе! А тут ребенок сколько времени новой одежи не знает... Ведь

и перед друзьями неудобно...

— А что у меня есть, хоть потею битый день, как кляча?! — огрызнулся Юозас. — Один он ишь барином заделался!.. Одному ему все!..

Мог бы, ничего не взял бы из дому. И так за последние годы, после смерти отца, помощь из дому заметно ослабела. Хорошо еще, я уроками подрабатываю.

— Пускай уж кончает гимназию ребенок... Потом сам как-нибудь... — говорит мама, а Пиус добавляет:

— Не пропадем! Летом-то ведь работал... Эх, помолчал бы ты, Юозас!

И я собираюсь в гимназию с тяжелым сердцем, словно преступник. «Скорее бы конец, — думаю я. — Только бы скорее...» Лето прошло, сгинуло...

ПОЕЗДКА К БУГЕ

Не знаю, почему все сильнее занимало меня языкознание. Казалось, эта наука полна каких-то тайн, которые в один прекрасный день засверкают передо мной такими открытиями, что я только рот разину от удивления. Все до единой книги Йонаса Яблонскиса[78] и Казимераса Буги[79] я не только прочитал, но и вытвердил страницу за страницей, строку за строкой. Внимательней всего я изучил книгу К. Буги «Язык и древность» и нашел в ней уйму ценнейших сведений. На уроках мои знания всплывали наружу и поражали друзей и учителей. Меня интересовали не только их книги: если я узнавал, что какой-нибудь журнал поместил их статью или рецензию, я не успокаивался, пока не доставал его.

Казалось, я бы стал самым счастливым человеком на свете, доведись мне увидеть живых Винцаса Креве, Людаса Гиру, Путинаса. Но теперь рядом с ними, а то и чуть выше встали для меня наши лингвисты. О, как я буду счастлив, если, подобно другим избранникам, когда-нибудь смогу не только читать их сочинения, но и слушать их, разговаривать с ними!

Когда в газетах появились сообщения, что К. Буга готовит фундаментальный литовский словарь и просит помочь ему собрать все слова живого языка, многие гимназисты решили стать его сотрудниками. В их числе был и я. Приехав летом в деревню, я стал внимательно прислушиваться к речи моих родных и соседей и на каждое интересное слово заводил карточку. Трудно было угадать, какое слово заинтересует Бугу, а какое — нет. И я старался записывать только занятные, редкие слова, которых, как мне казалось, не употребляют жители других местностей. Я долго готовился и все не мог осмелиться, но наконец все-таки собрался с духом и послал Буге несколько десятков слов. К ним я приложил письмо, в котором писал, что меня интересуют вопросы языка и что я хотел бы переписываться с ним по этим вопросам. Это, разумеется, была по-детски дерзкая просьба.

Я выслал письмо и тут же пожалел о своей наивности и смелости. Но прошло несколько дней, и почтальон принес мне ответ. Уже по конверту я понял, что письмо от Буги. С нетерпеливой дрожью я разорвал конверт. Буга бисерным, очень четким почерком писал мне, что письмо получил и постарается ответить на мои вопросы, насколько позволит время. Кажется, он благодарил меня за собранные для словаря слова. Я был на седьмом небе от радости.

Я тут же послал по почте новую кипу карточек и снова получил письмо от Буги. Да, мне непременно надо съездить в Каунас и зайти к Буге! Ведь очень важно выяснить, правильно ли я заполнял карточки для словаря. Необходимо узнать и его мнение по тем вопросам, по

которым тогда шла полемика в печати. Но главная причина была, наверное, в том, что я просто боготворил профессора Бугу и думал: раз он написал мне целых два письма, то, конечно, меня примет и со мной поговорит.

Да и вообще меня давно манил Каунас. Я побывал в нем вместе с покойным отцом несколько лет назад, в 1919 году. Тогда мы приезжали проведать Пиюса, который служил в армии. Но в казарме нам сказали, что он отправлен куда-то в Сувалки или Сейны, где тогда шли сражения с панской Польшей. Так мы и вернулись домой ни с чем.

Теперь я мечтал через год поступать в университет. Да, я уже знал, что буду изучать языковедение и слушать своих любимых профессоров и прежде всего Казимераса Бугу! О, как я буду стараться, чтобы он во мне не разочаровался! Я стану лучшим его учеником...

С такими мыслями, получив несколько литов за частные уроки, я сел в вагон (недавно, в 1923 году, построили железную дорогу через Мариямполь). Век передвижения на колыхагах кончился! После открытия железной дороги колыхаги между Каунасом и Мариямполью уже перестали ходить, да и в Калварию приходили все реже.

И вот я сижу в вагоне, в котором полно женщин, везущих куда-то кур и сыры. Два атейтинки в красных шапочках толкуют о танцуйках и девушках, чинно сидят одинокие чиновники. Поезд быстро идет по сувалкийской равнине, и я с любопытством гляжу на новенькие крохотные станции, на незнакомые деревеньки, проносящиеся мимо...

Каунас на этот раз мне куда больше понравился. Не зря он — временная столица. Правда, от вокзала по-прежнему кляча тащит по рельсам обшарпанный, набитый людьми вагон, зато на улице, что ведет в город, по которой мы когда-то шли с отцом, больше прохожих, извозчиков, крестьян и ни единого немца. Многие дома свежестены и уже не такие полинявшие, пыльные, источенные временем. Как и в Мариямполье, исчезли немецкие вывески.

И чем дальше, тем больше поразительного — уличное движение, люди, одетые богаче, чем у нас, сверкают на солнце полные товаров витрины Лайсвес-аллеи. Изредка, гудя, проносится по улице автомобиль, пуская клубы едкого дыма. Гордо вышагивают студенты в разноцветных шапочках. Все они с виду такие умные, самоуверенные, что я чувствую себя наивным, придурковатым провинциалом с необоснованными претензиями, который лезет в их общество.

Неторопливо я прохожу всю Лайсвес-аллею и направляюсь в старый город, в сторону рынка. Я уже знаю адрес профессора Буги и рядом с рынком действительно нахожу большой дом. В нем, как показывает вывеска, находится сейм. В глубине двора я вижу крохотный домик из красного кирпича. Заметив дворника, я спрашиваю, где тут живет профессор.

— А кто его не знает? — ответил дворник, скручивая из клочка газеты, сигарку. — Тут у него каждый день полно всяких студентов да писателей... Видишь, вот ихний дом! Ну и валяй прямо...

Я подошел к двери домика и остановился. Сердце сильно колотилось. Что я ему скажу? И что он мне скажет? У него ведь каждый день полно народу. Сегодня воскресенье, ему отдохнуть надо, а не терять время в разговорах со мной!

— Ну, иди, чего ждешь? Бей кулаком в дверь, чтоб услышал... — торопил меня дворник.

Делать было нечего. Я постучал в дверь раз, потом другой. Стучал легонько, но внутри кто-то все-таки меня расслышал. Громыкнула щеколда, и со скрипом отворилась дверь. На пороге стоял высокий, худой, неприятно одетый человек с высоким залысым лбом. Его печальные, задумчивые глаза скрывались за очками в тонкой металлической оправе. Он глядел на меня, о чем-то думая, словно ждал, чтобы я объяснил, кто я и чего хочу.

— Сотрудник словаря, — сказал я и почувствовал, как сорвался мой голос. Я сразу понял, что передо мной стоит Буга.

После моих слов на его лице мелькнула еле заметная улыбка, которая, однако, не рассеяла задумчивости и грусти.

— Сотрудник словаря? — спросил Буга и еще раз улыбнулся. Он протянул мне прохладную руку и добавил: — Милости просим, заходите...

Я шел по длинному коридору, вдоль стен которого был сложены дрова. Коридор, видно, давно не красили, и на меня дохнуло запахом нищеты. Профессор, пропустив меня вперед сказал:

— Налево...

В полуоткрытую дверь я вошел в комнату. Все стены был закрыты полками из некрашеного дерева, а на полках до потолка стояли книги. Здесь, как и в коридоре, было холодно. Профессор походил по комнате, наверное греясь, потер руки. В кафельной печке горел огонь (была ранняя весна), и Буга, открыв железной кочергой дверцу, сунул внутрь несколько поленьев. Огонь затрещал и загудел веселей. Профессор указал мне на стул у своего письменного стола, тоже заваленного книгами, бумагами, карточками. Я сел и почувствовал, как зашатался подо мной стул — он был такой же ветхий, как все в этой комнате. Нет, не такой я представлял себе квартиру профессора — в ней нет ни дорогих картин, ни сверкающей мебели, ни мягких кресел...

Между тем профессор сел за стол и, внимательно глядя на меня, спросил:

— Наверное, ученик?

Узнав, что я на самом деле ученик, он добавил:

— Да, растут хорошие помощники словарного дела. Уже теперь я получаю от них немало материала...

Я назваля, и профессор, глядя на меня, снова улыбнулся усталой, грустной улыбкой. Потом он сказал:

— А как же, припоминаю. Ведь я от вас уже получал слова...

— Я новые привез... — сказал я.

Мое смущение таяло. Я вытащил из кармана перевязанную ниткой стопку карточек. Профессор взял ее у меня, распутал нитку и сквозь очки стал просматривать слова.

— Любопытно. В моем говоре, под Дусятос, этого слова никто не знает.

Он говорил со мной как со взрослым, и это меня радовало. Я сказал, что через год кончаю гимназию и мечтаю изучать языкознание.

Профессор снова поднял глаза и долгим, внимательным взглядом посмотрел на меня, словно прикидывая, чего я стою.

— Хорошо, — сказал он, как и раньше, медленно, не торопясь. — Хорошо, когда в науку приходит юношество — решительное, любящее свою работу. Вот теперь у меня есть несколько переписчиц, которые мне помогают при словаре. Но они не только ни бельмеса не смыслят, но и не желают учиться. Получи я лучших помощников, я бы отпустил этих девиц на все четыре стороны уже завтра... И работа бы пошла иначе...

Не спеша профессор проверил мои карточки, похвалил меня за то, что я правильно понял, в чем нуждается словарь, попросил и в дальнейшем собирать слова. Потом со стопки на столе взял свою недавно вышедшую книжку «Прошлое балтов в свете топонимики» и надписал: «Сотруднику словаря такому-то — К. Буга».

Это было лучшее вознаграждение за мой труд.

Квартиру профессора Буги я покинул счастливым человеком — сбылась моя мечта: я увидел великого лингвиста, говорил с ним и даже получил от него такой драгоценный подарок! Да, кончены все сомнения. Будь что будет, а окончив гимназию, я еду в Каунас! Я наймусь на самую гнусную, тяжелую, низкооплачиваемую работу, но каждый день буду видеть любимого профессора, говорить с ним, учиться у него. А кто знает — вдруг настанет такой час, когда я попаду в число счастливчиков, которые помогают ему готовить к выпуску тот великий словарь, какого никогда еще не было у нашего народа. Может ли провинциальный гимназистик представить большее счастье в жизни, чем стать помощником в работе великого человека?

С такими мыслями я ходил по Каунасу, с такими мыслями я ехал домой. А перед глазами у меня стояли захламленный дровами коридор, холодная комната, полная книг, грустный, задумчивый профессор. Но мне казалось, что работать в такой комнате, исследовать языковые проблемы, искать ответы на загадки этой науки — вот где цель моей жизни...

...Стояла зима следующего года. Ветер нес холодный снег по улицам Мариямполье. В эти дни разнеслась страшная весть, что профессор Буга, надломленный нищетой и равнодушием, не найдя помощи в своей великой работе и делая ее почти один, умер от переутомления... Пожалуй, лишь смерть отца была тяжелее для меня этой смерти.

Как ценнейшую реликвию берег я его письма и подаренную им книжку. Увы, все пропало в войну... И лишь в душе сохранился образ этого необыкновенного, большого, скромного человека, который на всю жизнь остался для меня символом самопожертвования, безграничного поклонения труду и истине. Этим человеком я никогда не переставал восхищаться и гордиться.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Наши развлечения не отличались разнообразием. Только Бронюс Самуолис и еще кто-то из нашего класса изредка ходили на укромное, поросшее травой поле на краю города и гоняли там футбол. Других эта игра не привлекала. Баскетбол только-только начинал входить в моду. Во дворе гимназии в него играли несколько старшеклассников. Купаться в Шешупе любили многие. Но весной и осенью сезон короток. А что же зимой? Зима — время карнавалов, маскарадов и прочих развлечений. Наши увеселения и здесь были довольно просты.

Чаще всего субботним вечером в нашем зале устраивались танцы. Поначалу они меня не привлекали. Но настало время, когда я, скопив немного денег, приобрел дешевую серую двойку (увы, рукава пиджака были коротковаты, да и брюки могли бы быть подлиннее). После долгих мучений, при помощи всех жильцов комнаты, я завязал под гуттаперчевым воротничком (тогда были в моде такие воротнички) вязаный синий галстук. Когда я появился в зале гимназии, все уставились на меня — кто удивился, что я одет как студент, кого поразило несоответствие отдельных частей моего костюма. Вынув из кармана зеркальце, я то и дело поправлял съезжавший галстук и, поплевав на ладонь, приглаживал вихор на макушке.

Я уже знал танцы тех лет — вальс, польку, падеспань, краковяк и коробочку, но, хотя и разрядился в пух и прах, мне все ж не хватало смелости пригласить девушку. Одни девушки в перерывах между танцами гуляли парами под руку, другие сидели и разговаривали, а самые счастливые стояли с гимназистами старших классов и смеялись их рассказам и комплиментам.

Но еще счастливее, без сомнения, были те, кто сидели с молодыми учителями, с приехавшими из Каунаса студентами или — это уже просто как в сказке — с лейтенантами, которые явились на вечер из казармы. Лейтенанты мгновенно побеждали не только нас, гимназистов, но даже учителей — они все какие-то подтянутые, привлекательные, беззаботные. Кое-кто даже позванивает блестящими шпорами. Гимназисток они кружат с какой-то особенной непринужденностью, изяществом и вместе с тем — мужеством, словно танец после суровых военных упражнений — шуточное дело для них.

Я расхаживал по коридору в одиночестве, в пакостном настроении. Мне уже казалось, что своим новым костюмом я мало чего добился — длинные руки все равно торчат из рукавов. Ботинки тоже отнюдь не новые, и блеск у них не тот, что у лейтенантских сапог. Сам я очень уж худой, дохлый и весь какой-то непропорциональный. Гимназисты с гимназистками шли мимо меня по коридору, и я слышал их смех. Мне, к сожалению, совершенно не было смешно.

Неожиданно кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся и увидел Скринску из нашего класса. Это был известный лодырь, но в общем парень хороший. Он был горазд на всякие затеи: спрятавшись в уборной, курил на переменах, дулся в карты с гимназистами последних классов, торговал ножиками, книгами и прочей мелочью. Ко мне он относился хорошо, потому что я давал ему списывать задания, которые он дома не делал. И вот он мне подмигнул и сказал:

— Пошли, там наши ребята...

— Где?

— Увидишь...

Мы понеслись вниз по лестнице и вышли во двор. На дворе было темно, еще не холодно (стояла ранняя осень). Обогнули здание гимназии. Из открытых окон второго этажа доносилась музыка, там мелькали кружащиеся пары. За деревьями стояли какие-то ребята. Один был из нашего класса, двое — из восьмого.

— Я давно собираюсь угостить своего приятеля, — сказал Скринска приятелям, показывая на меня. — Налейте.

Кто-то протянул стакан, и сам Скринска, взяв у дружка бутылку, налил мне больше половины стакана какой-то жидкости.

— Пей, а то я вижу, что ты сегодня не в ударе... Потом пойдем плясать...

В своей жизни я никогда не пил, так что заколебался. Но это продолжалось лишь мгновение. Ведь на меня смотрят друзья, даже восьмиклассники! На что я гожусь, если откажусь выпить за компанию? Они же, схватившись за животики, будут смеяться надо мной, желторотым.

И я взял стакан.

— Только у нас без махинаций, — сказал кучерявый гимназист с очками на носу (я видел его лицо в полосе света из окон второго этажа). — У нас пьют до донышка...

Я поднял стакан. Хотел было сунуть его обратно Скринске, а сам удрать в зал, но не посмел.

Нет, нет, этого делать нельзя! Надо ценить дружбу и доверие товарищей!

— Я его нарочно позвал, — снова сказал про меня Скринска, закуривая сигарету. — Это парень что надо, вы уж поверьте.

Надо было решиться. И я, зажмурившись, словно погружаясь на дно, приложил к губам теплый стакан. Запрокинув его, я выпил до дна и, уже пустой, отдал Скринске.

— Молодец! — похвалил меня восьмиклассник. — Пьет как воду. Будет из тебя еще пьяница первый помер!

«Нет, нет, никогда я не стану пьяницей», — промелькнуло у меня в голове. Я закашлялся, но здесь, кажется, Скринска отломил и подсунул мне кусок хлеба:

— Закуси.

Восьмиклассник, взяв у Скрински бутылку и наливая водку, наставительно добавил:

— Настоящие пьяницы не закусывают хлебом, а нюхают... Понял?

— Ну как? — поинтересовался Скринска.

— Ничего, — ответил я, еле переводя дыхание, и почувствовал, что глаза у меня полны слез.

— Вот увидишь — сразу настроение исправится... Сейчас пойдём плясать. Когда навеселе, то от барышень спасу нет...

Восьмиклассник выпил, понюхал корку и сказал:

— Лично мне бабы, скажу я вам начистоту, просто осточертели... Поговоришь с ними, как человек, и сразу на шею вешаются...

Огненный поток, обжегший вначале глотку, вроде бы погас. Мне стало веселей. Слезы больше не текли, и я вдруг осмелел. Допив бутылку, приятели швырнули ее куда-то в глубину сада. Мы возвращались вверх. Взбираться по лестнице было до смешного легко, хоть ноги малость заплетались и чуть-чуть кружилась голова. Когда я входил в зал, как раз заиграли вальс, и я, увидев у двери тоненькую, с приветливым личиком Юзе Пакалкайте, с ходу кивнул ей. Она пошла со мной танцевать. Меня распирало желание говорить, и я читал ей сперва Балиса Сруогу, потом перешел на Блока. Она сказала мне, что по-русски не понимает, и я стал декламировать гётевское «Kennst du das Land, wo die Zitronen brauen».[80] Пакалкайте заметила, что этим ее не удивишь, поскольку ее класс тоже учил эти стихи наизусть. Тогда я рассказал ей анекдот, но она ответила, что анекдот препошлый и она его уже слышала. Я говорил и говорил без конца, и Пакалкайте заявила:

— Вот не думала, что вы такой... Вы всегда вроде немного мрачный, задумчивый, а, оказывается, вы совсем другой.

Но тут все вокруг закружилось. Я с трудом кончил танец и, усадив партнершу на свободный стул, выскочил в коридор. Вращалось все — стены, потолок, гуляющие гимназисты, учителя и лейтенанты. Заботливый Вищюлис подошел ко мне и схватил меня за руку:

— Что с тобой? Ты весь бледный... Ты не заболел?

— А пошел ты... к черту! — взревел я.

Вищюлис ошалело отскочил. Он ни разу меня не видел таким, и никогда я так с ним не разговаривал.

Я задышался. Сбежав с лестницы, я вышел во двор. Здесь подул ветерок, и стало чуть легче. Я завернул за угол — мне было так худо, что хоть на стену лезь. Но помнил я все до мельчайших подробностей — и как пили, и что говорили, и как я танцевал с Пакалкайте. А теперь вот мне худо. И этот мерзкий вкус во рту!

В это время мимо прошли два гимназиста. Хорошо, что во дворе было совсем темно, и они меня не узнали.

— Только подумай! — сказал один из них. — Надираются и еще икают! Знаешь что, пошли скажем дежурному учителю, ведь всю гимназию такие позорят...

И они побежали по цементной дорожке к открытой двери гимназии.

Нет, настолько я еще мог соображать — не оставаться же здесь! Я даже малость протрезвел. «Домой, домой!» — подумал я и, все еще пошатываясь, побрел по улице. Теперь заболела голова. Не прошло и получаса, как я уже лежал в кровати. Часа через два с вечеринки вернулись товарищи и от души удивились:

— Ты дома? А мы-то думали — в реальное или в семинарию ушел... Там ведь тоже сегодня танцуют...

— А ну их всех к черту! — ответил я и закрыл глаза, твердо решив уснуть.

...Уже в восьмом классе я завел трость и купил трубку. Трость была можжевелевая, сучковатая, ее сделал деревенский мастер. Стоила она недорого. Мой товарищ по комнате (тогда я снимал комнату на двоих около учительской семинарии) удивился, но сказал, что трость мне идет, и я, опираясь на нее, отправился на Варшавскую.

Вспомнив фотографию Маяковского с бритой головой, я вошел в парикмахерскую и потребовал постричь меня под «нуль».

Встретив меня, знакомые дивились, а кое-кто просил дать потрогать трость. Я прошелся по городскому саду, и мне казалось, что я сразу вырос и похож на фатоватого студента, приехавшего из Каунаса, на поэта или вообще на артиста. Ведь многие актеры, когда приезжают в Мариямполь, непременно ходят с тростями. У одного из них я как-то видел точно такую трость, как у меня. На следующий день учитель математики, наш классный наставник, вызвал меня к доске и, как я замечал, с трудом удерживался от смеха — словно его щекотали под мышками. Наконец он прыснул и сказал:

— Иду я вчера по городу и вижу — да вот (он назвал меня), идет себе, на палку опирается... Как по-вашему, — продолжал он, как обычно, тонким модулированным голосом. — Ну ка-а-ак по-ва-а-ашему, подобает ученику государственной гимназии имени Йонаса Яблонскиса ходить с палкой?

— У меня нога болела, — мрачно соврал я.

— Нога болела! — пел учитель. — Нога-а-а... Ежели нога, то к врачу надо... А тут — фило-о-ософ не фило-о-ософ, артист не артист, но уж не наш ученик.

— Господин наставник, у него на самом деле болела нога! — заступился за меня Вищюлис.

Класс катался со смеху. Наверное, смешон был я и уморительны завывания учителя. Трость пришлось временно отложить.

Зато я гордился новым своим приобретением — трубкой. Это была совсем крохотная трубочка. Стоила она гроши. Покупая ее, я взял пачку табака. И вот однажды вечером, выйдя в городской сад, когда там гуляли гимназисты и гимназистки — парами, поодиночке и

группками — или сидели под цветущей и благоухающей сиренью, я вынул из кармана свою трубочку, набил ее табаком и закурил. Я шел по садовой дорожке, пуская дым, и мне казалось, что все глядят на меня и думают: «Все-таки он — настоящий мужчина! Вот покуривает, как какой-нибудь адвокат, и хоть бы что! И до чего же храбр: учителей и то не боится! Да, это настоящий мужчина, а не мальчишка какой-то, как мы думали!» А я шагал как ни в чем не бывало, снисходительно кивал знакомым и, выкурив трубку, снова набил ее табаком и закурил...

Увы, докурить вторую трубку мне так и не удалось. Вдруг мне стало худо — еще хуже, чем от водки осенью. Я торопливо завернул за куст сирени. Голова кружилась, тошнота подкатывала к горлу, и я стоял за кустом согнувшись, приложив руку к груди... Ох, до чего же было мерзко...

Так я промучался добрых полчаса. Хорошо еще, что никто меня не заметил в таком жалком виде. Когда все было кончено, я вытащил из кармана свою прекрасную трубку, табак, спички и швырнул их в кусты.

...Настоящим праздником для нас была маевка. Ее обычно назначали на погожий весенний день. Прихватив кульки с провизией, которую нам давали хозяйки, мы собирались в гимназии и оттуда через мост и дальше по шоссе и пыльным проселкам толпой валили в Шуйский лес. Какая жалость, что мы так редко выбирались туда! Я навсегда запомнил лес, когда вместе с отцом под конец войны попал в Пашешупис. Никогда не забыть мне огромных, подпирающих небо сосен, елей с темными разлапистыми ветвями. Долго мерещились мне таинственные чащи, гудел в ушах стоголосый птичий хор. Стволы деревьев были в зарубках, под которыми висели жестяные лоточки — из раненых деревьев сочилась, капала смола, густая как мед. Отец сказал, что немцы собирают живицу для каких-то лекарств.

— А деревья не засохнут? — спросил я.

— Может, и засохнут, — ответил отец. — Но им-то что? Они все подчистую вырубают и везут в Германию...

Был конец войны. Я вспомнил все это, потому что мы снова вступили в лес. В погожий весенний день он встретил нас улыбкой стволов и шишек, солнечными, усыпанными цветами лужайками, далеким кукованьем кукушки. И было радостно, как и каждой весной, и грудь расправлялась, ловила чистый, густой воздух, пахнувший живицей, и становилось весело, хорошо на душе!

Учителя уже выбрали просторную ровную поляну, со всех сторон окруженную высокими елями. На одном краю ее остановилась полевая кухня, которую притащила из казармы пара лошадей, — на ней будут варить для нас кофе.

Гимназистки старших классов, любящие стряпню, громыхают кофейными кружками, привезенными вместе с кухней. Но уже играют трубы многочисленного военного оркестра. Они отдаются далеко по лесу, и сразу приходит на ум старина, войны с крестоносцами и боевые трубы. Но войны и в помине нет, только кружатся на лужайке пары. Это учитель географии, чернявый лысеющий толстячок, старый холостяк (мы называем его «бычком» за толстую шею и общее сходство с этой скотиной), пригласил восьмиклассницу Даукшюте, дочку богатых родителей. За ними следуют другие, и вот на лугу рассыпались десятки пар. Но малыши танцевать не умеют, и учительница французского, когда стихает вальс, выходит на середину луга, хлопает в ладоши и восклицает:

— А теперь — хоровод! Просим всех в круг!

Нас становится все больше. Вот на дороге, по которой мы пришли, видны новые толпы. Это валит учительская семинария. Мы криками приветствуем друг друга. Этот день отведен

радости.

Но мы знаем, что он короток и завтра нам снова сидеть в душных классах, в которых весной куда трудней вытерпеть, трудней учиться, трудней дышать.

Мы разбредаемся по лесу. Ходить бы и ходить по зеленым тропинкам, слушать далекое кукование, лежать на теплой траве, смотреть в небо — синее небо, по которому изредка проплывает легкое шелковистое облачко. И думать о том, что бывает и чего не бывает на свете, — о дружбе и любви, о дальних дорогах и волшебных городах...

Тебя что-то зовет, что-то несет на крыльях, и ты летишь над корабельными соснами, прямыми, медными, благоухающими, над светло-зелеными кустами рябины и белыми стволами берез, которые заблудились среди хвойного леса. А издали доносятся звуки труб и возгласы веселящихся друзей.

Встать бы и пойти по тропе, что ведет в неведомые дали, и не одному, а с подругой, еще тебе неизвестной, наговорить ей удивительные слова, самые редкие, какие найдешь в душе... Идти, обняв ее, шептать ей те волшебные слова, которые ты сейчас торопливо вносишь в записную книжку.

Укладываясь в строки и строфы, они звенят в тебе весь день, куда бы ты ни шел, а сосны шумят под дуновением высокого летящего ветра, как твоя душа, переполненная ожиданием счастья, которое если не сегодня, то завтра, но непременно придет...

Возвращаешься на поляну, где у полевой кухни уже стоят твои друзья с кружками в руках, а гимназистка в переднике и косынке черпаком разливает им черный кофе...

А лес ревет, гудит, шумит и вторит юным радостным голосам. Лес ведь живой, как и наша душа. Я открываю книжку и записываю в ней новую строфу.

ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР

Направляясь по улице Пятраса Крячюнаса в городской сад, я всегда проходил мимо одноэтажного кирпичного здания, которое неизменно занимало меня. В нем находилась типография. В теплые дни я видел в открытые окна простоволосых людей у наборных касс, в передниках, с засученными рукавами. Они проворно выбирают из отделений буквы и складывают их в строчки. У них необычайно интересная и таинственная работа. Ведь здесь рождается книга!

В другой комнате стояли машины. Лишь встав на цыпочки, увидишь с улицы, как эти машины хватают с большой кипы бумаги пустой лист, а выходит этот лист уже испещренный знаками. Да, интересно бы зайти в типографию и посмотреть, каким образом страничка, исписанная от руки, превращается в напечатанную, на которой все выглядит так аккуратно и красиво! А самое главное, что одна страничка здесь превращается в тысячи страниц, и эти страницы читают несколько сотен или даже тысяч человек сразу. Да, волшебное место, волшебные машины, да и работают здесь волшебники!

Но никак не подвертывался случай, чтобы попасть в типографию. А она все работала — день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И приятно бывало взять в руки книгу — «Сочинения» Жемайте, «Тоннель» Келлермана, «Тартарена из Тараскона» Доде или сокращенного «Дон Кихота» Сервантеса — и найти на ней надпись, что она напечатана как раз здесь, на улице Пятраса Крячюнаса, в нашем городе!

А вот совсем недавно в Мариямполе появилась собственная небольшая газетка, названная «Волны Шешупе». Газета выходит раз в неделю. Особенно интересна она тем, что пишет обо всем, что происходит в нашем городе. Потом на первой странице первого ее номера были портрет и биография Винцаса Кудирки,[81] второго — Пятраса Арминаса, затем — Жемайте, Вайчайтиса, Мачиса-Кекштаса... Газета смело разоблачала реакцию, засилье ксендзов, всякие неурядицы нашей жизни.

Написав заметку из жизни нашей гимназии, я долго ходил у каменного здания, окна которого на сей раз были закрыты (стояла еще зима), наконец открыл дверь и, увидев женщину с черными сатиновыми нарукавниками поверх платья спросил:

— Где мне найти редактора «Волн Шешупе»?

— А, Кастаса Стиклюса![82] — несколько не удивившись, посмотрела на меня женщина. — В корректорской. Прямо! — еще добавила она.

Я постучался в указанную дверь, но ответа не было. Наконец я отворил ее и увидел за столом, заваленным кипами рукописей и уже набранного текста, человека лет сорока пяти с серыми глазами на сером, бледном лице, с ежиком серых же волос. Он поднял голову от бумаг, снял очки, взглянул на меня, указал на свободный стул, а сам снова принялся читать и править красными чернилами большой, пахнущий краской лист. Меня занимало, что это за лист, но я терпеливо сидел и ждал, пока он закончит. Из соседней комнаты вышел человек с закатанными рукавами и в фартуке. Кастас Стиклюс сказал ему:

— Набор — будто курица ногой карябала... Смотрите, на что полоса похожа...

— Ученик набирал... — оправдывался рабочий.

— Дело ваше, — сказал Стиклюс. — Но весь текст придется, можно сказать, заново... И шрифты переврал — смотрите, в одном слове и корпус и курсив... Черт те что...

— Ничего, научится! — снисходительно усмехнулся рабочий. — Не святые горшки обжигают.

Рабочий унес страницу, вдоль и поперек исчерканную красными чернилами. Теперь сидевший за столом человек снова снял очки и вопросительно уставился на меня.

— Для «Волн Шешупе» принес... Вот, — сказал я, вручая исписанную страничку. — Вы, кажется, редактор?

— Редактор. А ты кто будешь?

— Ученик. В этом году кончаю гимназию...

— Ну, тогда нам стоит познакомиться, — сказал Стиклюс, кончив читать, и подал мне крупную волосатую руку. — В газеты уже писал?

— Немножко, — краснея, ответил я.

— А знаешь, ты неплохо пишешь, коротко, ясно... И сразу видно, чего хочешь. Ладно, оставь, поместим!

— Я еще стихи... — добавил я, все пуще краснея, и, вынув из другого кармана, вручил редактору еще один скомканный листочек.

Он снова надел очки, быстро пробежал глазами и это мое творение.

— Оказывается, ты еще и поэт!.. Ну что ж, пока молоды, все мы поэты, — добавил он, и я не

понял, ругает он меня или хвалит.

Выйдя из типографии, я радовался, что познакомился с редактором, и придумывал, о чем бы еще написать в его газету. Вернувшись домой, я взял копию оставленного в газете стихотворения и сразу же увидел, что зря поторопился — одна строфа явно лишняя, а в другой никуда не годится метафора. Что делать? Ведь если стихи напечатают в таком виде, самому стыдно будет! Два дня я не решался заходить в редакцию. Что подумает обо мне редактор, увидев, что я подsunул ему незаконченное произведение? Но на третий день я не выдержал — снова открыл дверь редактора.

— А, наш поэт! — весело сказал Стиклюс. — Хорошо, что зашел. Можешь посмотреть свою корректуру...

В ворохе бумаг он нашел мою заметку и стихи. Они уже были набраны и вместе с какими-то статьями отпечатаны на длинной полосе бумаги. О, как интересны были для меня эти полосы!.. Они пахли краской и, кажется, керосином, и от этого были еще привлекательней. Я видел, как рождается газета, — то, что недавно было у меня в голове, теперь уже напечатано, хотя еще и не окончательно... Я тут же увидел ошибки в набранном тексте.

— Корректуру держать умеешь? — спросил редактор.

— Нет, — ответил я.

— Тогда смотри, — сказал он. — Вот здесь не на месте буква «б». Мы ее вычеркиваем и пишем нужную нам «м». Здесь два слова набраны не в том порядке, их мы меняем местами — вот так...

Довольно скоро я постиг все хитрости и, взяв перо, красными чернилами выправил свои корректуры.

— А стихи я бы хотел поправить по существу, — сказал я наконец, глядя с отвращением на неудачную строфу и метафору. — Вот здесь и здесь...

— Эге, братец, это плохая привычка! — сказал мне редактор. — Очень даже плохая привычка... Я — старый корректор, может, целую библиотеку книг и газет за свой век выправил... Запомни — что написано пером, того не вырубишь топором... Ну, здесь-то еще можно, но помни, что твои буквы набирал рабочий. Теперь он будет исправлять не только свои, но и твои ошибки, должен будет шилом выковыривать каждую букву и заново набирать все, что тебе сейчас взбрело в голову... Надо уважать труд человека, понял?

Если б я знал, что это так трудно, ни за что бы не выправлял, хоть эта строфа на самом деле никуда не годится, да и метафора! Но редактор, увидев мое смущение, наверное, пожалел меня и сказал:

— Что ж, исправим, но запомни на будущее. Рукопись приноси только тогда, когда ничего в ней не можешь исправить... Это не раз я слышал от Йонаса Яблонскиса.

— Вы знаете Яблонскиса? — удивился я.

— Разумеется! Мы когда-то работали с ним в одной газете, в Вильнюсе. Он всегда правил рукописи Жемайте, конечно, вместе с ней и с ее согласия, но в печать давал уже такую рукопись, что ни единой запятой в корректуре исправлять не приходилось...

— А Шемайте? Вы видели когда-нибудь Жемайте?

— Отчего ж, — усмехнулся редактор. — И Жемайте, и Лаздину Пеледу... Все они в Вильнюсе бывали, часто видывал.

— Как интересно! — не выдержал я. — А какая она была, Жемайте? Я вот только на ее похоронах был...

— Жемайте? Совсем, знаешь ли, простой человек. Демократ, понятно? Всяких там господ да ксендзов, как говорится, не переваривала... Когда наши Сметоны и Вольдемарасы начали титуловать друг друга превосходительствами, она, бывало, поморщится и скажет: «Восходительства, ишь восходительства... Дерьмо вы, а не восходительства!..» Вернувшись из Америки, она жила у меня в Каунасе. Как сейчас помню, вернулась как-то из города и говорит: «Встретила сегодня Бите-Пяткявичайте.[83] Это моя старинная и лучшая подруга. Обнимались, целовались мы с ней и... плакали, что столько кругом несправедливостей... Будьте осторожны, говорит, берегите себя и свое здоровье на старости лет... Не боюсь! За правду ничего не боюсь! Пускай арестовывают, пускай казнят! Молчать не буду, все опишу!» Такая была, светлая ей память... А ты, как вижу, всем интересуешься, не то что нынешние сонные молодые люди...

— Да, мне многое интересно, по я не все понимаю... — откровенно признался я. — И лицемерие, чванство ненавижу, — добавил я. — А у нас в гимназии не все правду любят...

— Я думаю! — сказал редактор. — Правда, она глаза колет.

— Ох как колет, — ответил я. — Вот прошлой осенью доктор Шлюпас приезжал и в зале реального училища читал лекцию об атеизме. Собрались чуть ли не все мариямпольские ксендзы и уселись на первых скамьях Мы, ученики, конечно, подальше. И как задал им Шлюпас!..[84] Мы хлопаем, кричим «браво!», а ксендзы знай краснеют и бледнеют. А Шлюпас и про библейские несуразицы, и про инквизицию, и про нынешних ксендзов, как они обделывают дела, людям голову морочат, в сейм пролезли — словом, сели на шею народу.

— А ты, знаешь, сознательней, чем я думал!.. — с теплотой улыбнулся редактор. — О таких лекциях надо в газету писать, пусть все прочитают... А как ксендзы — так и слушали Шлюпаса до конца?

— Нет, — ответил я. — Смотрим, один за другим встают со скамей и улепетывают из зала. До конца лекции ни один не выдержал...

— Ха-ха-ха, — от души рассмеялся редактор. — Говоришь, ни один? Эх, везде бы так...

...Мы встречались довольно часто, почти для каждого номера газеты я приносил то заметку, то стихи, то наконец первую прозаическую картинку. Очень уж слабы были эти мои «творения».

Господи, до чего детские были писания, как наивно смотрел я на жизнь!

Но некоторые строки даже теперь удивляют меня. В зале летнего театра выступал знаменитый тогда сатирический театр «Вилколакис». Этот каунасский театр показывал острые, злободневные пьесы — «Политику» — «трехактную комедию из высших сфер», «Вне законов» — «крик в одном действии», «Миллионы» — «шевертку в трех актах», как писали в афишах театра. В спектаклях была хорошая сатира на бюрократизм, чванство, расхищение казны и на другие пороки «независимости». За последние центы мы пробивались на галерку летнего зала и хлопали каждой острой реплике до боли в ладонях. Теперь меня удивляет, как связно я описывал в газете эти спектакли.

«Театр «Вилколакис» подарил Мариямполье, — писал я, — здоровый смех, доброе настроение и представил случай взглянуть на жизнь Литвы с другой стороны, чем обычно».

Посмотрев спектакль «Вилколакиса» «Западня», я писал:

«Когда наука служит не высокому своему призванию — дать человечеству благосостояние, а вынуждена служить узкоутилитарным целям, она перестает быть наукой. Когда наукой по своему усмотрению управляет полиция, ученый, ощущая на своей шее жесткую лапу насильника, должен погибнуть, должен сойти с ума!

То же можно сказать и о печати. Тяжка жизнь печати, когда газетчик вынужден каждый день думать о том, как поймут и оценят его слова власти, а не сами люди. И мы вместе с «Вилко-лакисом» кричим: «Дайте нам свободу! Свобода — необходимое условие прогресса мысли!»

Может быть, в этом нет ничего особенного, но это характерно для моих тогдашних настроений.

Кастас Стиклюс стал моим другом, хотя у нас и была такая разница в возрасте и жизненном опыте. Он участвовал в революции 1905 года, написал множество книжек, популярных в народе. Меня поражало, что он знал многих знаменитых писателей и деятелей, о которых мы слышали в гимназии и читали в книгах. Этот благородный человек, который любил простой люд и ненавидел угнетателей, мне, никому не известному гимназисту, одним из первых протянул дружескую руку в самом начале пути, — и за это я всегда испытываю к нему глубокую признательность и любовь...

По сей день, получив корректуру новой своей книги, когда в комнате стоит устойчивый запах типографской краски, я непременно вспоминаю первые корректуры, которые я правил, красными чернилами в мариямпольской типографии, на столе Кастаса Стиклюса. Я вспоминаю его подбадривающий взгляд, дружескую улыбку, которая, кажется, говорит мне и поныне:

— Учись, работай, гляди, что творится вокруг тебя. И помни, что ты работаешь для простого трудового человека. Он, этот человек, — основа жизни! На нем держится все!

ВЕСЕННЯЯ РЕКА

Жизнь человека разве не похожа на реку? Текут часы, дни и месяцы, течет радость и горе, и ничто не возвращается вспять. Детство и юность — разве не похожи на весеннюю реку, когда она, стремительная и солнечная, а порою мутная, несется вперед, а на берегах уже цветут луга и в волне отражается высокое небо?

Семь моих лет прошло в этом городе. Когда-то он казался мне чужим и негостеприимным. Теперь, когда я знаю, что через месяц-другой покину его, чтобы не вернуться никогда, он добр для меня. Я забываю и холодные зимы, и голодные дни, и те жестокие события, которым здесь был свидетелем...

Я приехал в этот город деревенским мальчиком, для которого все было интересным, хоть и непривычным, неприятным, а подчас даже страшным.

Насколько я изменился за эти годы? Что нового появилось во мне?

Во-первых, я вырос. Когда я гляжу на свое отражение в окне лавки или в зеркале парикмахерской, я вижу, что я невероятно вытянулся. Я слишком долговязый и тощий. Я даже сам себе кажусь смешным. Стесняюсь девушек, — ведь не могу же я им нравиться такой, какой я есть, да еще с несоразмерно длинными руками. Мне даже странно, что, когда я заговорю с девушкой, она отвечает мне серьезно, как учителю. Мне, конечно, нравится, что

они надо мной не смеются, но ведь было бы куда лучше, если бы они не вели себя со мной так чинно.

Без сомнения, за эти годы я кое-чему научился. Прежде всего, я стал лучше писать. Теперь для меня сущий пустяк написать сочинение, и я заранее знаю, что получу пятерку. Мои писания принимают некоторые газеты, и это, конечно, тоже показывает, что в голове у меня завелись кое-какие мысли и я научился излагать их на бумаге.

Когда я попал в этот город, я был знаком со случайными книгами, которые читал без всякого порядка и системы. Книги давно манили меня, но я еще не понимал, какая из них лучше, какая хуже и почему. Теперь нет ни одной серьезной литовской книги, которую я бы не прочитал. Я уже вижу разницу — поначалу я ее не ощущал — между рассказом Жемайте и зарисовкой какого-нибудь начинающего писателя. Я понял, что есть разница между стихами Майрониса и Маргалиса.[85]

Я неплохо научился русскому языку. Правда, говорить по-русски было не с кем, да я и стеснялся своего произношения. Но я уже довольно свободно читал русских классиков и видел, что понимать их не одинаково легко. Тургенев казался мне куда легче Достоевского, а тем более Лескова. Я уже имел кое-какое понятие о Толстом — я читал «Войну и мир» и «Воскресение». Постепенно я проникался не только красотой «Капитанской дочки», но и очарованием «Евгения Онегина», которое поначалу было мне недоступно — я слабо знал русский. Я любил Гоголя, особенно его фантастические повести. Читал рассказы Чехова и чувствовал их грусть и нежность. Мне попадались рассказы Горького. Читал я Александра Блока и Сергея Есенина. Пытался читать в подлиннике Маяковского, хоть с трудом вникал в его сложные метафоры.

Русский язык открыл передо мной новый, величественный мир мысли и красоты. Этот мир безудержно влек меня! Мне хотелось узнать его много полнее и глубже. Каждая книга великих русских писателей ставила передо мной уйму вопросов, на которые не сразу находился ответ. Книги будоражили мысль, заставляли читать снова и думать, искать. Они вызывали желание больше знать, жить более осмысленно, чем я жил до сих пор. И я знал, что с этим так недавно открывшимся мне миром мои связи не порвутся до тех пор, пока я жив.

Гимназия дала мне знания из различных областей. Эти знания были довольно поверхностными. Все ж приятно было знать хотя бы основное об античной Греции и Риме, об эпохе Возрождения и о великих ее представителях, о наполеоновских войнах, которые я по-детски представлял себе, прочитав когда-то дома старый календарь... Увы, история казалась нам собранием событий без ладу и складу. Эти события вызывали отдельные личности, такие, как Цезарь, Витаутас, Наполеон. Но почему в различных государствах история сложилась так, а не иначе — мы не понимали. Мы думали, что миром управляет чистая случайность.

Знания физики и химии были отрывочные и не объясняли, как возник видимый нами мир — Земля и планеты, как возникла жизнь, как она развивалась, что возвысило человека среди других тварей. Зато о лошади и кроте я знал много и твердо — подними меня среди ночи, и я сразу скажу, сколько зубов у крота и сколько ребер у лошади. Много делалось для того, чтобы в наши головы не ворвались теории, идущие вразрез с разглагольствованиями капеллана, основанными на библейских легендах. И лишь случайные книжонки, тайно попавшие в наши руки, пытались дать материалистическое толкование мира.

Немало времени мы уделяли изучению иностранных языков. Закончив гимназию, мы без труда понимали несложные книги на немецком или французском языках. Особенно усердно учили мы латынь.

Уроки латинского языка позволили мне почувствовать ясность, строгость и простоту античной литературы, ту спокойную красоту, которой наполнена римская проза и поэзия. На всю жизнь остался у меня интерес к античной древности. Возможно, что уроки латыни позволили мне лучше понять многих западных писателей, особенно тех, в чьих книгах, как, скажем, у Анатоля Франса, — глубока античная традиция, много реалий и литературных реминисценций, античности.

А остальное... Математика всегда мало интересовала меня. Если, особенно в старших классах, она все-таки неплохо мне давалась, то лишь потому, что преподаватель умел добиваться от нас знания своего предмета. Но она никогда не вызывала у меня новых мыслей и не служила толчком ни для интеллектуальных, ни для эстетических переживаний.

Всю жизнь я был обижен на гимназию за то, что очень мало получил музыкальных сведений и почти никаких — из теории и истории искусства. Позднее я с трудом познакомился с живописью, а в музыке, увы, на всю жизнь остался дилетантом, для которого то или иное произведение только «нравится» или «не нравится», а вот почему — не знаю по сей день.

Годы в городе очень сильно изменили мое детское мироощущение. Случилось это, разумеется, никоим образом не по вине учителей. В этой книге я вообще мало говорю о своих учителях. Это, конечно, не значит, что я не благодарен им за время и энергию, которые они теряли, обучая нас.

Я сознательно не говорю — «воспитывая», поскольку воспитание наше было более чем поверхностным. Следили за дисциплиной в классе, за тем, чтобы на улицах ученики не курили, не появлялись в пьяном виде, чтобы вежливо здоровались с учителями. На этом воспитание и кончалось. Поинтересоваться, чем мы живем после уроков, что читаем, что нас волнует, чем мы мучаемся, есть ли у нас еда и одежда, — все это, кажется, и не приходило в голову нашим наставникам.

Когда я думаю, кто же из учителей оказал на меня самое большое моральное влияние, кто произвел на меня самое глубокое впечатление своими словами или поведением, увы, не могу вспомнить ни одного. Все они старались вложить в наши головы столько знаний, сколько требовала программа, и больше ничего. Если мы интересовались и другим, если мы росли и развивались наперекор программам, за это мы должны быть благодарны не учителям, а времени, друзьям, книгам.

Весенняя река... В городском саду, на кладбище, в садиках вдоль реки уже цвела черемуха и качались лиловые гроздья сирени. Встав спозаранку, я приходил в сад готовиться к экзаменам. Утреннее солнце, зелень и птичьи голоса рассеивали сосредоточенность, и мысль невольно убегала вдаль — в неведомое будущее.

Многие мои друзья, сдав экзамены, собирались поступать на Учительские курсы. Закончив их за лето, они осенью разъедутся по деревням — уже учителями. Меня такая перспектива не привлекала. Я рвался в Каунас, в университет, где, казалось мне, собрались все умы и таланты Литвы. Я знал, что в Каунасе живут такие люди, как Винцас Креве и Людас Гира, как Майронис и Вайжгантас, как Йонас Яблонские, Винцас Миколайтис-Путинас, Балис Сруога — многие из тех, чьи стихи и рассказы заполняли страницы газет и журналов. Как жаль, что среди них уже нет Казимераса Буги! Если я попаду в Каунас и поступлю в университет, я каждый день буду видеть этих людей, слушать их лекции, набираться ума... Главное — попасть туда.

Наконец экзамены позади. Я вернулся в деревню. Из Вейверяй, с учительских курсов, приехал Пиус. Мы снова работали вместе, но меня все больше тревожил Каунас. «Если я уеду туда осенью, когда все уже соберется, мне будет трудно найти комнату и куда-нибудь пристроиться, — думал я. — Надо ехать уже сейчас, подать в университет документы и

заняться поисками работы. Работать я буду, — рассуждал я, — где придется — в учреждении, в конторе, да и черным трудом не погнушаюсь, если только найду...»

Для поездки в Каунас нужны были деньги. Ведь понадобится комната, надо будет как-то питаться. Придется купить кое-что из одежды. А в этом году, как нарочно, готовясь к экзаменам, я почти не давал уроков. Мои сбережения подходили к концу — из всех карманов я с трудом наскреб восемь литов.

Юозас сказал, что все мне причитавшееся я уже давно из дому получил и что он не видит никакого смысла снова мне помогать, ущемляя себя и других. Пиус мне сочувствовал, но он-то ведь тоже еще учился и помочь не мог. И вот однажды вечером мама, как и каждое лето, пришла в клеть и тихо села на край моей кровати.

— Не спится? — спросила она.

— Нет, мама, — ответил я. — Не берет меня сон...

— Наверное, все об учении думаешь?

— Да, мама. Надо уже ехать в Каунас. Да вот не знаю, как я туда доберусь.

— А может, хватит голову забивать? Был бы учителем, как другие, получал бы жалованье, зажил бы неплохо...

— Нет, мама. Я серьезно решил. И Пиус думает, что так будет лучше... Мне надо учиться дальше...

— Но на что, сыночек? Слышал ведь, что Юозас говорит... И его ведь правда. Отец умер, а кто хозяйство на своем горбу тасчил? Пиус в армии служил, теперь учится, а ему ведь тоже нужен хлеб, да еще с маслом, и лита лишнего у него нет.

— Я понимаю, мама. Но меня никто не переубедит. Я лучше голодать буду, в лохмотьях буду ходить, а все равно пойду в университет, буду учиться, работать.

— Только хворь схватишь, сыночек... Мало ли народу умерло от чахотки? Все по бедности...

— Нет, мама. Я ни за что не откажусь... Мне непременно надо в Каунас!

— Знаешь что, — сказала мама. — Вот, долго не думая, иду завтра в Граяускай к старику Жукайтису. У него двух сыновей в войну убило, теперь ему за них из Америки деньги присылают. Поклонюсь в ноги, попрошу — авось даст хоть сотню. Вернем ведь, когда сможем. Человек Жукайтис не злой. Говорят, за те деньги, что получает, теперь костелам алтари покупает, часовенки у дорог ставит...

И мама ушла. Ушла она, никому не сказавшись. Вернулась на следующий день в сумерках. И когда я снова лежал в клетке, она под села ко мне и сказала тихо печальным голосом:

— Нет у людей сердца... Сказала я, для чего прошу, а Жукайтис мне и говорит: «Не могу жаловаться, денюжки у меня водятся. И ежели бы твой сын в ксендзы пошел, чтоб мне умереть на этом месте — бери и неси. И другая родня бы сложилась. Можно сказать, в молоке бы купался. А он, слышал я, с безбожниками водиться стал... Ежели я тебе деньги дам, что ведь получится? Грех на свою совесть приму!» Вот что он мне сказал.

— И не дал? — спросил я.

— Даст он! Ни гроша не дал... А ведь отцовская родня! Эх, что и говорить — отец умер, вот и родни больше не родня...

Нет, мне надо в Каунас. Хоть лопни, а я на своем настою! Я уже не маленький. И я говорю:

— Ничего, мама. У меня в Каунасе знакомые, друзья есть. Не пропаду...

И на следующее утро я беру несколько самых любимых книг (у меня уже целая библиотечка — в ней книг пятнадцать, а то и двадцать) и заворачиваю их в бумагу. Надеваю костюм, что покупал в прошлом году. Надо возвращаться в Мариямполе. Там я что-нибудь придумаю... До Мариямполе-то я доберусь. Сегодня в Калварии базарный день, кто-нибудь меня немножко подвезет, а там уже и Мариямполе близко.

Да, восемь литов у меня есть. На них я каких-нибудь три дня проживу, а если буду питаться раз в день — то и дольше. Правда, в Мариямполе один врач должен мне за обучение ребенка двенадцать литов. Я деньги не взял только потому, что врач был в отъезде. Будем надеяться, он уже вернулся... Нет, конечно же унывать не стоит... На эти деньги я как-нибудь доберусь до Каунаса. А там поживем — увидим...

Узнав, что я собрался в такую дальнюю дорогу, меня провожают почти все. У гумна стоит мама и плачет — она босая, маленькая, и мне почему-то больше всего жалко ее. Я оборачиваюсь и вижу, что Пиус машет мне фуражкой. Вот замахали и младшие — Пранас, Казис, Аготеле. Забеле побегала в клеть за своими сбережениями — там у нее три лита, но я уже не жду — нет, отсюда я больше ничего не возьму! Юозас (его что-то не видно) верно говорит, что все, что мне из дому причиталось, я давно забрал и прожил...

Идя через Полой, еще раз оборачиваюсь. К горлу подкатывает твердый комок, но я стараюсь думать о другом. Перед глазами у меня огромный город. Да, это Каунас! Я вижу Неман и Нерис, их берега, железнодорожный вокзал, Лайсвес-аллею. Я знаю, что я во что бы то ни стало должен жить в этом городе. В моей жизни что-то кончилось, переломилось. Но я не могу сдержаться и оборачиваюсь еще раз. Увидев, что я обернулся, родные еще раз машут мне. Пиус что-то кричит, но его голос до меня не доходит. Прислушавшись, я слышу:

— Пиши из Каунаса...

— Напишу! — кричу я в ответ и чувствую, что мои узы с людьми, с которыми я рос и которых так любил, не порвались и, видно, никогда не порвутся.

А весенняя река текла. И уносила меня вдаль.

Примечания

1

Перевод стихотворений В. Чепайтиса.

2

Скиландис — копченый свиной желудок, начиненный грубо рубленным окороком.

3

«Сим победиши»

(лат.).

4

«Аникщяйский бор» А. Баранаускаса. Перевод Н. Тихонова.

5

Иди, Антек, принеси рыбы, будет для меня лекарство!

(польск.)

6

Гира Людас (1884–1946) — народный поэт Литовской ССР.

7

Ну, дети, идите ко мне!

(нем.)

8

Кушать, кушать

(нем.).

9

«С нами бог»

(нем.).

10

Нет, нет...

(нем.)

11

Нет, нет, мать...

(нем.)

12

Нет, мать, нет...

(нем.)

13

О, да, да, большое спасибо!

(нем.)

14

«Яйца», «масло», «сыр», «молоко», «сало»

(нем.).

15

Командир

(нем.).

16

День рождения

(нем.).

17

Праздник

(нем.).

18

Весьма

(нем.).

19

Слава, слава, слава, победа!

(лат.)

20

Ура, ура, ура!

(нем.)

21

Да здравствует!

(лат.)

22

На, пей!

(нем.)

23

Пей, пей, малыш!

(нем.)

24

Кзаки!

(нем.)

25

Мать, воды!

(нем.)

26

Проклятье!

(нем.)

27

Вон, вон! Быстрее!

(нем.)

28

Да, да!..

(нем.)

29

Шутить не любят

(нем.).

30

Мать, вода, яйца, хлеб

(нем.).

31

Я читаю. Я пишу

(нем.).

32

Майронис (Йонас Мачюлис) (1862–1932) — крупнейший поэт периода национально-освободительного движения в Литве (сборник «Голоса весны», поэма «Молодая Литва» и др.).

33

Тумас-Вайжгантас Юозас (1869–1933) — крупнейший прозаик эпохи национально-освободительного движения (эпопея «Просветы», повести «Дяди и тети», «Немой» и др.).

34

Жемайте (Жимантене Юлия) (1845–1921) — народная писательница, прозаик и драматург, классик литовской литературы.

35

Лаздину Пеледа — псевдоним сестер-писательниц Софии Пшибиляускене (1867–1926) и Марии Ластаускене (1872–1957).

36

Шатрийос Рагана (Печкаускайте Мария) (1877–1930) — писательница («В старом поместье», «Иркина трагедия» и др.).

37

Баранаускас Антанас (1835–1902) — поэт, классик литовской литературы (поэма «Аникгцяйский бор»).

38

Венуолис (Жукаускас) Антанас (1882–1935) — народный писатель Литовской ССР, классик литовской прозы (роман «Усадьба Пуоджюнасов», сборник «Кавказские легенды» и др.).

39

Арминас Пятрас (псевдоним Трупинелис) (1853–1885) — поэт, переводчик, народный просветитель.

40

Атейтиники — члены католической молодежной организации «Будущее» («Атейтис»).

41

Гловацкас Пюс (1902–1941) — участник революционного движения, в 1940–1941 гг. председатель Госплана Литовской ССР.

42

Лис, верни гуся сейчас же,
Что у нас украл!
Иль тебя убьют, несчастный,
Пулей наповал!
(нем.)

43

К черту! Эта собака могла всех взорвать!
(нем.)

44

Большое спасибо!
(франц.)

45

Так-сяк...

(франц.)

46

Правосудие — основа правления

(лат.).

47

«От начала», «Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют», «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», «о, святая простота», «городу и миру»

(лат.), «свобода, равенство, братство», «поживем — увидим», «правовернее папы»

(франц.).

48

Младолитовцы — молодежная организация националистической партии.

49

Лучше меньше, да лучше (

лат .).

50

Суткус Антанас (1892–1968) — режиссер, основатель Каунасского драмтеатра.

51

Сухарики, выпекаемые на сочельник.

52

Креве-Мицкявичюс Винцас (1882–1954) — виднейший прозаик и драматург (рассказы «Под соломенной стрехой», повесть «Колдун», драмы «Шарунас» и «Скиргайла»), умер в США.

53

Юодасис Адомас (Ластас) (1887–1961) — поэт.

54

Перевод В. А. Жуковского.

55

Миколайтис-Путинас Винцас (1893–1967) — народный писатель Литовской ССР, поэт, прозаик, драматург, литературовед (роман «В тени алтарей», сборник «Дар бытия» и др.).

56

Сруога Балис (1896–1947) — поэт, драматург, литературовед, во время фашистской оккупации узник концлагеря в Штуттгофе (исторические драмы, репортаж о концлагере «Лес богов» и др.).

57

Вайчайтис Пранас (1876–1901) — поэт, деятель эпохи национально-освободительного движения.

58

Янонис Юлюс (1896–1917) — пролетарский поэт.

59

Перевод А. Кочеткова.

60

Борута Казис (1905–1965) — советский поэт и прозаик (роман «Деревянные чудеса», повесть «Мельница Балтарагиса» и др.).

61

Крячюнас Пятрас (1850–1916) — педагог, деятель культуры.

62

Булота Андрюс (1872–1941) — адвокат, общественный деятель.

63

Мужики

(польск.).

64

Жиленис Винцас (1905–1964) — советский прозаик (роман «Школа в Будвечай»).

65

Группа предлогов, требующих винительного падежа

(лат.).

66

Говорите ли вы на эсперанто?

(эсп.)

67

Я говорю на эсперанто!

(эсп.)

68

Аушрининки — ученическая организация социалистического толка.

69

Бутку Юзе (1893–1947) — поэт-антифашист.

70

Скабейка Ляонас (1903–1936) — поэт-символист, антифашист.

71

Монтвила Витаутас (1902–1941) — один из основоположников литовской советской поэзии, расстрелянный гитлеровскими оккупантами.

72

Перевод Л. Озерова.

73

Да, конечно, иду

(англ.).

74

Очень хорошо

(англ.).

75

Иди к черту!

(англ.).

76

Черт

(англ.).

77

Поцелуй

(англ.).

78

Яблонскис Йонас (1860–1930) — языковед, педагог, публицист, переводчик, общественный деятель эпохи национально-освободительного движения.

79

Буга Казимерас (1879–1924) — крупнейший литовский лингвист.

80

Ты знаешь край, где зреет померанец
(нем.).

81

Кудирка Винцас (1858–1899) — писатель и крупный общественный деятель эпохи национально-освободительного движения.

82

Стиклюс Костас (1880–1962) — прогрессивный журналист.

83

Пяткявичайте-Бите Габриеле (1861–1943) — писательница, общественная деятельница.

84

Шлюпас Йонас (1861–1944) — либеральный общественный деятель, публицист.

85

Маргалис (Шнапштис Юозас) (1877–1921) — незначительный поэт.